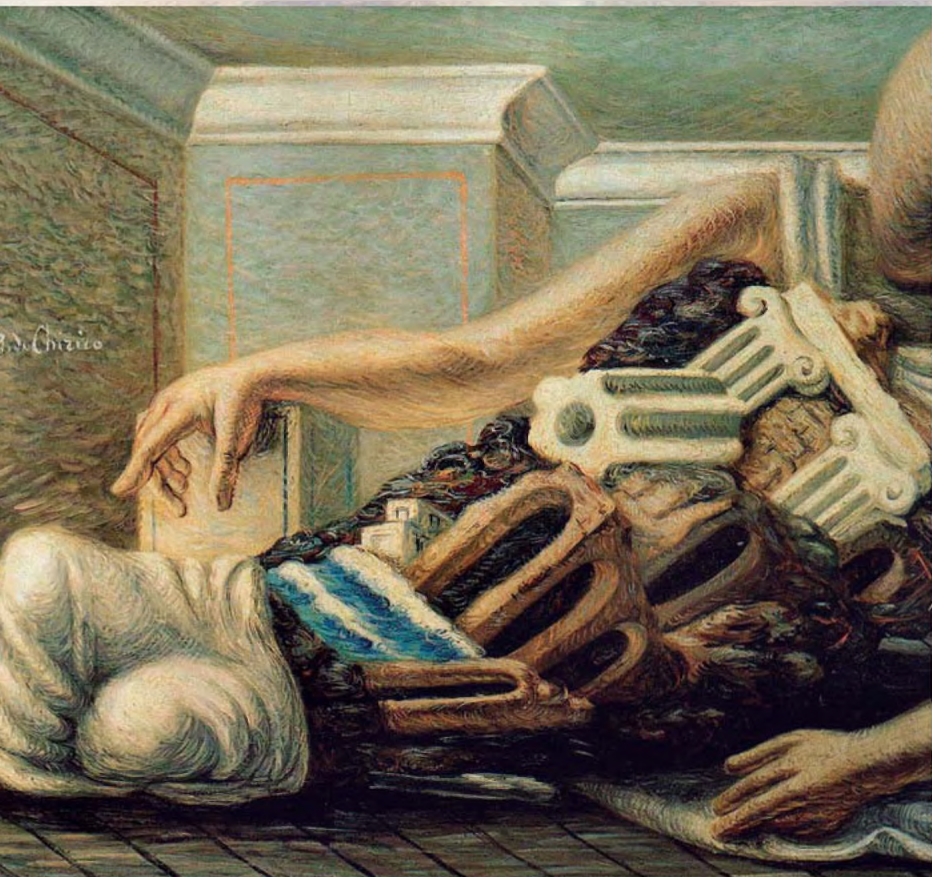




# ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ В СВЕТЕ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ



STUDIA PHILOLOGICA

STUDIA PHILOLOGICA





ИНСТИТУТ РУССКОГО ЯЗЫКА им. В. В. ВИНОГРАДОВА  
РОССИЙСКАЯ АКАДЕМИЯ НАУК

# ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ В СВЕТЕ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ



ЯЗЫКИ СЛАВЯНСКИХ КУЛЬТУР  
МОСКВА 2012



УДК 80/81  
ББК 81.2Рус-03  
Э 11

Ответственные редакторы:  
*В. М. Живов, Ю. В. Кагарлицкий*

Э 11 Эволюция понятий в свете истории русской культуры / Отв. ред. В. М. Живов, Ю. В. Кагарлицкий. — М.: Языки славянских культур, 2012. — 328 с. — (Studia philologica).

ISSN 1726-135X  
ISBN 978-5-9551-0558-1

Книга является плодом коллективных усилий исследователей различного профиля — лингвистов, историков, философов. При значительной разнице в методологических подходах авторов объединяет общая цель — дать очерк эволюции различных понятий и связать трансформации понятийного аппарата, смысловые сдвиги с широким контекстом истории русской культуры.

Работа авторского коллектива поделена на три тематические части. Первая часть посвящена теоретической рефлексии по поводу истории понятий, делаются попытки определить ее место по отношению к классической философской традиции, к философскому анализу повседневных коммуникативных практик.

Во второй части эволюция понятий рассматривается в перспективе исторической семантики, причем подробно исследуется взаимодействие языковых механизмов и культурных процессов; изучается широкий спектр явлений: история отдельных слов и целых концептуальных сфер, виды языковых заимствований и грядущие тенденции в развитии языка.

Наконец, в третьей части меняющие свое содержание понятия анализируются на фоне обслуживаемых ими нелингвистических парадигм: политической истории, науки, истории фольклорных форм.

Издание представляет интерес для лингвистов, филологов, историков культуры, социологов, политологов, а также для широкого круга читателей, интересующихся историей русского языка и культуры.

ББК 81.2Рус-03

*В оформлении переплета использована картина  
Дж. де Кирико «Архитектор»*

ISBN 978-5-9551-0558-1

© Авторы, 2012  
© Языки славянских культур, 2012

Электронная версия данного издания является собственностью издательства, и ее распространение без согласия издательства запрещается.

## СОДЕРЖАНИЕ

### Теория

О. В. Хархордин	
История понятий как метод теории практик. . . . .	7
Ф. Н. Блюхер	
Зачем исследовать истории «понятий»? . . . . .	24

### Историческая семантика и история понятий

Б. П. Маслов	
«По закону языка нашего»: семантические заимствования как предмет истории понятий. . . . .	39
С. М. Толстая	
К семантической истории слав. * <i>mitь</i> и * <i>svěť</i> . . . . .	58
Ю. В. Кагарлицкий	
<i>Отвага</i> : слово и понятие в историко-культурной перспективе . .	75
А. А. Плетнева	
<i>Скоморох</i> и <i>скоморошество</i> : К истории слов и понятий. . . . .	93
А. Г. Кравецкий	
<i>Кликуши</i> : к истории слова и понятия . . . . .	109
В. М. Живов	
Суеверия и забобоны . . . . .	130
Е. П. Спелова	
От позорища до перформанса: Номинации со значением «представление развлекательного характера» в русском языке XVII—XXI вв. . . . .	151
И. Б. Левонтина	
К истории слова <i>субъект</i> в русском языке . . . . .	168

В. Н. Калиновская

Дифференциальный словарь

«Словаря русского языка XIX века»

как материал для истории слов и понятий . . . . . 184

Е. Я. Шмелева

О словах *компромисс* и *бескомпромиссный*. . . . . 196

## История понятий и экстралингвистические парадигмы

Ингрид Ширле

Понятие «Россия» в политической культуре XVIII века . . . . . 207

Е. Н. Марасинова

«Государева воля» и «закон» в общественном сознании

второй половины XVIII века. . . . . 233

Клаудио Серхио Нун Ингерфлом

Историографический миф о верности «государству»

при Петре Великом. Опыт применения *Begriffsgeschichte*

к русской истории . . . . . 252

Е. М. Смирнова

Диахронный анализ понятия *опыт*

и становление естественных наук в России . . . . . 279

И. Б. Дятлева

«Идеология гомеопатии»: к истории одного понятия

в русском языке XIX века . . . . . 297

А. Д. Шмелев

Русский взгляд на «западные» концепты: языковые данные . . . . . 306

# Теория

---



О. В. Хархордин

## **История понятий КАК МЕТОД ТЕОРИИ ПРАКТИК**

В данной статье я не буду заниматься лингвистическими или историческими изысканиями, не чувствуя себя специалистом в этих областях. Моя задача в этом тексте — не практиковать историю понятий, а описать этот подход как прагматический метод для философского или социально-политического исследования. Как у академической истории есть вспомогательные исторические дисциплины, так и у философии или различных теорий практической жизни могут быть вспомогательные методы. Их задача — родовспоможение, практикуемое при порождении новых понятий или вопросов, поставленных по-новому. Иными словами, если сократовская майевтика позволяла в результате искусного вопрошания актуализировать знание, уже имеющееся у человека, то история понятий имеет более скромные цели. Она лишь позволяет задать вопрос по-новому; ответ же представит дальнейшее теоретическое или практическое исследование, разбухшее этим вопросом. Поэтому история понятий особенно продуктивна, когда она применяется в исследовании того, где, как кажется, все совсем не проблематично и ясно, — то есть в сфере устойчивых и рутинных операций нашей повседневной жизни, коими занимается теория практик [Волков, Хархордин 2008].

\* \* \*

В теории практик действие часто исследуется через его разного рода нарушения — поломки, осечки, задержки и т. п. Во-первых, многие повседневные и рутинные действия часто только и становятся заметными в результате того, что нарушается их плавный ритм; например, именно нехватка чего-либо или, наоборот, чрезмерное изобилие делает его заметным. Во-вторых, именно в это время как бы приот-

крываются «черные ящики» механизмов наших рутинных операций; мы замечаем, — например, через отсутствие — характеристики того, присутствие чего гарантирует успешное и непроблематичное исполнение рутинной деятельности [Волков, Хархордин 2008: 52—53].

В этом отношении история понятий дает нам целый набор практических приемов выявления и анализа таких положок. Если рассматривать историю понятий как историю типовых речевых актов, схваченных в типичных примерах зарегистрированного словоупотребления, то ясно, что она помогает социологу заметить те аспекты стандартных ситуаций повседневной жизни прошлого, которые послужили прагматическим контекстом или фоном для типичных примеров словоупотребления, теперь опубликованных в историко-этимологических словарях, подобных Oxford English Dictionary. Иными словами, антураж или предметы и существа, задействованные в таких ситуациях, помогают заметить скрытые от нас ныне характеристики рутинного действия: ведь когда-то они были открыты вниманию, их эксплицитно проговаривали, причем в странных для современного пользователя языка условиях. История понятий, таким образом, — еще одно средство острашения нынешней повседневности.

\* \* \*

Мой основной тезис, однако, будет несколько удивителен для тех, кто считает, что есть две основные школы истории понятий — немецкая традиция, сложившаяся вокруг трудов Райнхарта Козеллека и его коллег, и кембриджская школа, лучшим методологом которой традиционно считается Квентин Скиннер. Анализ речевых актов, который практикуется и теми и другими, во многом покоится на трудах Хайдеггера и Витгенштейна. Я же попытаюсь показать, что труды Джона Л. Остина дают нам не менее, а может, и более удобный набор инструментов для истории речевых актов, и потому они очень полезны с эвристической точки зрения для анализа, проводимого в рамках теории практик. В рамках короткой статьи я не буду, конечно же, обсуждать все творчество Остина, а остановлюсь лишь на пересказе тех возможностей и продемонстрирую те примеры хода мысли, которые предлагает чтение его знаменитого методологического эссе «A Plea for Excuses» [Austin 1961; Остин 2006].

Остин начинает свое изложение с противопоставления оправданий (justifications) и извинений (excuses) как двух способов подойти к систематическому рассмотрению вопроса о том, что такое действие, или

точнее, — к вопросу о том, что подпадает или не подпадает под категорию совершенного и случившегося действия [Остин 2006: 201—203]. Оправдание требуется, когда некое прискорбное действие совершено, но описывается как необходимое; извинения требуются, когда такие действия вроде и не сделаны, или не совсем сделаны, или сделаны не тем, кому приписываются. Вот примеры, которые мы можем дать вслед за Остином. Если было совершено убийство, то оно может быть оправдано как, например, совершенное на поле боя в целях защиты родины; извинения же лишь помогут нам сказать, что убийства не было, а была, например, халатность или неосторожность. Или другое: мы смотрим на девушку, уронившую поднос с посудой. Фраза «да, я его уронила, зато я разрядила семейную напряженность за столом, и никто не перешел на личности, а это было бы еще хуже!» есть оправдание; фраза «да, уронила, но меня укусила оса!» есть извинение.

Анализ оправданий лежит в основе современной французской прагматической социологии. Название главной книги Болтански-Тевено — «*De la justification*»; предмет ее исследования — 6 миров оправдания, в рамках которых современные французы делают свои упреки или защищаются от критики [Волков, Хархордин 2008: глава 13]. Анализом же извинений занялся Остин. Он, конечно, сделал это в первом приближении, и книга «*De l'excuse*», которая бы использовала эмпирическую базу, сравнимую с той, на которую опирались французские авторы, все еще ждет своего дня.

Исследование действий через извинения за них позволяет с помощью анализа пролетов и промахов рассмотреть особенности самого действия. Например, мы можем отметить досадающе тонкие детали того, какие наречия могут применяться при извинениях, — ведь не все наречия и не всегда уместны при всех глаголах. Можно ударить стоящего напротив вас собеседника по лицу, если вдруг вы решили перейти от словесной перепалки к кулачному бою — и сделать это «внезапно», «намеренно» (если говорить по-философски) или «умышленно» (если говорить по-юридически). Но сделать это «невнезапно», «ненамеренно» или «неумышленно» — уже потребует дополнительных объяснений, как такое могло случиться, — ведь обычное использование таких наречий в паре с фразой «ударил по лицу собеседника» является неуклюжим и достаточно страшным для типовых ситуаций словоупотребления.

Можно ли вообще сказать, не создав еще больших проблем между нанесшим и получившим удар по лицу: «Извини, я ударил тебя случайно»? Ответом может быть: «Как это — случайно? Такие случайности недопустимы», — и извинение не удастся так же, как невозможно изви-



ниться (пример Остина), сказав: «Ой, извините, я случайно наступил на вашего годовалого ребенка». Проведя анализ того, какие наречия и в каких ситуациях непроблематично употребляются с данным глаголом, а какие нет, мы больше узнаем о центральных характеристиках исследуемого действия. В пределе мы вообще можем подойти к классификации актов по тому, какие типовые наречия могут к ним применяться, а какие нет; это — одна из новых возможностей для социологии действия.

Остин называет подобное исследование «лингвистической феноменологией»: «мы используем наше обостренное внимание к словам для того, чтобы обострить наше восприятие феноменов (но при этом мы не используем его в качестве последнего судьи)» [Остин 2006: 207, перевод подправлен]. Задачей для Остина здесь является *field work in philosophy*, полевые исследования в философии, которые позволяют получить прямой доступ к самим феноменам, т. е. доступ, не замутненный вскаки философских размышлений о них. Наверное, поэтому Остин считает оправданным использование термина «феноменология» — ведь он, как и Гуссерль, находится на пути *zu den Sachen selbst*, «к самим вещам». Главное — исследовать те ситуации, где «обыденный язык наиболее богат и пронизителен», и это, конечно же, касается такой темы, как извинения за действия, но не касается такой философской темы, как, например, время: «Мы можем предпринять обсуждение неуклюжести, рассеянности, необдуманности и даже спонтанности (действия. — О. Х.), не думая о том, что говорил по этому поводу Кант» [Там же: 208]. Иными словами, в анализе обыденного языка извинений за действие X можно найти много четко сформулированных различий, сопоставлений и противопоставлений, которые помогут ответить на вопрос, что значит «сделать X».

Доступ к самому феномену X обеспечивается тем, что если мы обнаруживаем устойчивое употребление фраз с искомым X, то контрарсты и различия, зафиксированные в примерах этого словоупотребления, есть результат застывшего опыта многих поколений. И что особенно важно, этот опыт — не результат уединенного разглядывания предмета под микроскопом или продукт фантазий кабинетного философа, он возник в заботах практической жизни, с которыми сталкивались миллионы. Возможно, в некоторых наиболее типичных примерах словоупотребления даже схвачены парадигматические аспекты ситуации, в которой регулярно практиковался и закреплялся данный опыт — т. е. в них упоминаются те обычные для данного действия люди и вещи, а также типы их связки или конфигурации, когда этот опыт сложился.

\* \* \*

Вторая причина, по которой подобные полевые исследования в философии нужны были Остину — терапевтическая. С помощью анализа обыденного языка можно прояснять, если не разрешать великие философские вопросы, и тем самым лечить людей от заболевания под названием кабинетная философия.

Возьмем снова пример с анализом наречий, используемых в извинениях за действия. Он показывает, что очень немногие из пар наречий-антонимов применимы к одному и тому же глаголу. Кабинетная философия заставляет нас верить, что любое действие можно сделать как М-но, так и не-М-но. Например, в философских трактатах мы можем прочесть, что всегда можно сделать что-то свободно или несвободно, по собственной воле или нет. Но случаи конкретного словоупотребления показывают, насколько сложно приписать одному действию как характеристику М, так и не-М: что значит «он ударил его по лицу свободно»? А «ударил несвободно»? Несколько более приемлемо звучит «он ударил его по лицу по своей воле» и «он ударил его по лицу не по своей воле». Но неуклюжесть подобных фраз на русском подсказывает: Остин подчеркивает важный аспект, когда говорит, что великая философская проблема свободы воли возникла из-за того, что нам навязали мнение, что наречия-антонимы, например английские слова *voluntarily* и *involuntarily*, могут равно применяться ко всем действиям. В практических ситуациях жизни это не так: если можно легко икнуть *involuntarily*, то есть таким образом сложно. Общий же анализ использования этих английских наречий показывает, что глаголы, которые модифицируются наречием *voluntarily* имеют антонимом *under duress* (под принуждением), а те, которые модифицируются *involuntarily*, имеют антонимом *on purpose, deliberately* (намеренно, с целью). Проблема *voluntary action* или *free will* — надуманная проблема, которая возникает, когда кабинетный философ говорит, что для целей абстракции любой глагол Х мы можем заменить глаголом «сделать», и к «сделать» представить как наречие «М-но», так и наречие «не-М-но». В практической жизни такие надуманные вопросы не возникают, и терапия на базе остиновского метода может излечить от склонности задаваться пустыми кабинетными вопросами — например, такими как «что такое свобода в своей сущности?». Ведь только в конкретных случаях (и очень специфических) можно сказать, что что-то было сделано «свободно».

Почему эти вопросы волновали Остина — понятно; это следствие его профессиональных интересов. Для людей же, занимающихся тео-

рией практик, не так важно повторить его философские экзерсисы, идя тропками русского языка, — например, исследовать примеры словоупотребления, чтобы показать, что можно сделать нечаянно и почти никогда нельзя сделать «чаянно» (пролить чай на соседа), или что почти никогда нельзя сделать случайно, и почти всегда делается неслучайно (случить двух дорогих породистых собак со знатной родословной). Для теории практик важно идти к самому феномену — действию X — через исследование модификаторов и выявляемых ими значимых для действия контрастов. Паречия и дополнения здесь первые по значимости. Именно с подчеркивания внимания к модификаторам глаголов начинается список 13 остиновских методических пунктов исследования, благодаря которому особенно знаменито эссе «A Plea for Excuses». Я не буду пересказывать их — читатель их легко найдет сам (правда, английский оригинал будет более ясен, чем русский перевод), но рискну добавить 14-й.

\* \* \*

Дело в том, что для теории практик особенно полезны не примеры нынешнего или недавнего стандартного словоупотребления, а примеры из древней истории слова, схваченные в словарях или самих первоисточниках. И именно такие источники, а не судебные кейсы (где четко устанавливается, сделал ли человек А действие X, или нет) или наблюдения за поведением животных (которые показывают пределы применения привычных distinctions нашего языка), на которые указывает Остин, дают нашим исследованиям особенно много. Ведь подмечать диахронные контрасты — это один из основных инструментов для остранения практик.

Мы почти не замечаем сейчас, например, такое распространенное действие, как «общаться», особенно потому, что, как кажется, это делают все и почти всегда. Но в древнерусских источниках оказывается, что это действие контрастирует с «вести беседы» и может как раз и не подразумевать только словесную коммуникацию. Как говорится в послании митрополита Киприана игумену Афанасию (1390 г.): «Черпцам же с женами опичитися и беседы с ними творити бедно есть». Прочитав в разделе 3 словарной статьи «общатися» «Словаря русского языка XI—XVII вв.», что этот древнерусский термин имел и прямые сексуальные коннотации (пример из этой статьи: «А двадцеть деветь [блюд] велить несть к женскому полу, сиречь с султанкамъ, с которыми общается») [СлРЯ XI—XVII вв., 12: 191]), можно реконструировать

для себя смысл этого запрета. Однако такое понимание заставляет по-новому оценить и нашу нынешнюю жизнь и задать вопрос, насколько в нынешнем общении можно все еще найти и элементы того «опечення» XIV века.

В приведенном примере все же «общаются» с людьми, с чем наша языковая интуиция мирится достаточно спокойно, но ей становится немного не по себе, когда в Лаврентьевской летописи (список 1377 г.), в записи под 1015 г. об убийении Святополком св. Бориса цитируются притчи Соломона из Библии (I:18): «О сяковых ибо Соломон рече; скоры суть пролити кровь без правды. Те ибо общаются крови, собирають себе злая»<sup>1</sup>. В текстах XIV—XV веков общаются, как оказывается, не только с людьми, а еще и общаются крови. Так и хочется ввести другое глагольное управление, чтобы передать странную фразу немного по-другому — те, кто приобщается к крови, собирают себе зла, — трансформируя текст притчи по модели цитаты из «Златоструя», приводимой в статье «общаться» «Словаря русского языка XI—XVII вв.»: «пс общуйтесе к деломъ тьмы» [СлРЯ XI—XVII вв., 12: 192]. Но во всех этих случаях странность исторического словоупотребления подталкивает современного читателя спросить: может, некоторые проблемы нашего нынешнего общения будут по-новому осмыслены, если мы поймем, что внутри него истари был не только потенциал безобидной беседы, но и возможность начать «общаться крови»?

\* \* \*

Глагольное управление в исторических источниках, которое отличается от ныне распространенного, позволяет заметить обычно пропускаемую деталь в Остине — кроме внимания к модификаторам глаголов, он требует внимания и к предлогам. Как он пишет:

Ибо мы непременно сталкиваемся с вопросом о том, почему существительные, принадлежащие к одной группе, управляются предлогом «под», принадлежащие к другой — предлогом «на», а принадлежащие

---

<sup>1</sup> Переписчик Лаврентьевской летописи написал «общаются» через ъ (стб. 133 стандартного издания ПСРЛ) — настолько, возможно, был странным оборот «общаться крови» и для него, а перед цитатой из притчи стояло описание того, как вышегородцы «общацяся» Святополку убить Бориса (стб. 132); Геннадиева Библия 1499 года, однако, четко перевела текст притчи: «ногы бо ихъ на зло ринууть, и скоры суть на пролитіе крове... тии бо общающесе крове ихъ събирають себе злая». Все примеры из «Словаря русского языка XI—XVII вв.», статья «общаться» [СлРЯ XI—XVII вв., 12: 191].

к третьей — предложениями «у», или «по», или «для», или «с» и т. д. Было бы в высшей степени прискорбно обнаружить, что подобный способ группировки не имеет под собой никакого реального основания [Ос-тин 2006: 213].

Действительно, не является ли эффект острания, который сообщает историческое словоупотребление современному читателю, результатом столкновения с фундаментально другим образом жизни, когда вещи переплетались с людьми совсем другим образом, чем сейчас, а предлоги это отчасти фиксировали?

Например, возьмем известные строки из Новгородской первой летописи, запись за 1230 год:

И послаша по Ярослава на всеи воли новгородстєи: Ярослав же на ны въбързе прииде въ Новѣгородъ мѣсяца декабръ въ 30, и створи вещь, и цєлова святую Богородицю на грамотахъ на всехъ Ярославлихъ [НПЛ: 70].

Почему к нему посылают «на» всей воле, а не «по» всей воле, и почему он совершает крестоцелование «на» грамотах, можно, навсрно, объяснить следующим образом: новгородцы делают НА воле, а не ПО воле очень специальные вещи. НА употребляется при указании на условия заключения договора или осуществления чьих-то полномочий. Похожим образом мы и сейчас можем сказать: «Мир заключен НА условиях победителя. ПО этим условиям проигравшая сторона не имеет права и т. д.» — и никогда не поменяем предлоги местами. «Воля» и «грамоты» в приводимой цитате — это именно условия, принимаемые или предлагаемые; при этом речь идет о заключаемом именно в данный момент времени договоре. Поэтому в докончаниях Новгорода с князьями часто стоит: «НА том целуй крест», — но там, где речь идет о действиях, совершаемых согласно договору, будет: «ПО грамоте отца твоего Ярослава». И схожим образом, когда в грамоте Новгорода с готским берегом и немцами 1189—1199 гг. сказано «послать есмь посла своего Григу НА еси правде», это значит не «послал согласно этому договору», а «послал заключать договор на этих условиях»<sup>2</sup>.

Такая интерпретация средневековых текстов показывает, как сложилась разница глагольного управления «на воле» и «по воле», «на грамотах» и «по грамотам». Однако остается вопрос, почему исполь-

---

<sup>2</sup> Я благодарен Алексею Гиппиусу за эту интерпретацию. Текст грамоты Ярослава Владимировича цитируется по [Грамоты 1949: 55].

зовался именно предлог «на» для описания dokonчания, т. е. свершения договора, а не «под», например, или «у» — почему мы не находим «под / у всеи волей / и новгородстен»? Последний вопрос может показаться темного сумасшедшим, но с существительным «воля» в НПЛ действительно употребляются только «на» и «по», редко — «в», как в записи под 1375 г. о переговорах Михаила Тверского с Дмитрием Донским о передаче себя в его волю: «И виде князь Михаилу грядущу силу новгородскую на ся, и посла къ князю великому владыку Еуфимиа, а дая ся въ всю волю великому князю». Интересно, что новгородцы, помогавшие Донскому взять Тверь, как всегда, dokonчали мир под стенами Твери «на всеи воли князя великаго и на новгородчкои» [НПЛ: 373].

Вообще, если посмотреть на предлог «на» в летописных фрагментах, упоминающих «волю», то видно, что он, конечно же, часто употребляется для указания места. Так: «В лето 6736 [1228]. Поиде архиепископ новгородчкы владыка Антоний на Хутино къ святому Спасу по своен воли». Под 1196 годом читаем:

А Ярославъ княжаше на Торъжку въ своен волости, и дани поимаше во всеи волости: по Верху, Мьсте и за Волочкомъ возме дань: а новгородцовъ изызыма Всеволодъ за Волочкомъ и по всеи земли своеси, держаше у себе, не пустя ихъ в Новы ород; но хожашу по граду Володимиру по своен воли [НПЛ: 270, 236].

В 1270 г.:

...бысть мятежь в Новгороде: начаша изгонити князя Ярослава из Новгорода, и созвонивша вече на Ярославле дворе, и убиша Иванка, а инии вбегоша въ Николу святыи; а заутра побежаша к князю на Городище тысячкои Ратиборъ и Гаврила Кыяниновичъ а инии приятели его.

Учитывая частое употребление оборота «на все», понятно, что речь здесь тоже может идти о месте. В 1324 г.:

...Тогда же сдумавши новгородци, игумены и попове и черници и весь Новыградъ, възлюбивша вси богомъ назнаменана Моисея, преже бывша анхимандритомъ у святого Георгия, потомъ бяше вышелъ по своен воли къ святен Богородици на Коломци въ свои монастырь, и возведоша на сени, и посадивша и во владычии дворе, дондеже позоветь его митрополить [НПЛ: 319, 340].

Пошел на Хутино, княжил на Торжке, созвонили вече на Ярославле дворе, побежали к князю на Городище, возвели владыку на сени —

так неужели фраза «на всей воле новгородской» не содержит никаких отсылок к пространственным коннотациям? Ответить на этот вопрос смогут профессиональные филологи, но даже неискушенный читатель может уже почувствовать разницу между такими действиями, как ходить по своей воле (в монастырь или по Владимиру), отдать себя в волю великому князю и договориться с очередным князем на всей воле новгородской. И тогда опять встает вопрос не о прошлом, а о современности: если мы сохранили способность передвигаться в пространстве по своей воле и — хоть немного — отдавать себя в волю другому, когда, например, вверяешь себя чему-то или кому-то дорогому или высшему, почему мы совсем не сохранили способность приглашать правителя на нашей воле? Может быть, исчезло то место или пространство, где раньше можно было это сделать? Конечно, приводя подобные вопросы, я не хочу указать на ответы, к которым они приводят (ответы требуют отдельного исследования), а лишь то, как логика остиновского ostracism даст возможность хотя бы задать эти вопросы, которые иначе было бы трудно и сформулировать.

\* \* \*

Интерес к списку первичных и типовых прагматических условий ситуации, закрепившихся со временем в устойчивом словоупотреблении (в нашем пример — в идиоме «на всей воле новгородской»), движет Остином и тогда, когда вслед за исследованием модификаторов действия и предлогов он предлагает сконцентрироваться на *trailing clouds of etymology*, остаточных облаках этимологических подсказок. «Углубляясь в прошлые истории слова, часто доходя до его латинского корня. — пишет он, — мы всегда возвращаемся к изображениям или моделям того, как нечто случается или совершается» [Остин 2006: 229]. Конечно, здесь есть опасность, что мы, следуя философской моде Нового времени, захотим увидеть за латинским корнем слова очень простое физическое действие и все интерпретируем по этой модели вместо того, чтобы реально исследовать, в каких древних прагматических ситуациях реально складывалось историческое слово. Другая опасность — что этимология незначима, так как использование термина привело к радикальному дистанцированию от первоначального прагматического контекста, и поэтому исследовать ее не стоит. И все же чаще кажется, что это не так. Как замечает Остин, английское слово *accident* по своей латинской этимологии означает, что что-то выпало тебе (от *cadere*, лат. «падать»); а два типа ошибки

в английском языке не совсем равнозначны: *mistake*, понимаемое как *mis-take*, взятое не так, мимо или как промах при попытке взять, — это не совсем *error*, производное от английского глагола *err*, сбиться с пути, свернуть с тропинки.

Русское слово «ошибка» в этом отношении, наверное, ближе к *mistake*. Если верить Фасмеру, этимология русского слова тоже указывает на про-мах, ведь церковнославянское «ошибати» значит «промахнуться, ударить мимо цели» и связало с «шибати». Шибануть не туда, промахнуться во время удара — эта базовая метафора напоминает тот образ, что лежит в основе новозаветного греческого слова для обозначения греха — *hamartia*, который также употреблялся, когда стрела прошла мимо цели<sup>1</sup>. Но ударить не туда, промахнуться мимо цели — это несколько другая прагматическая ситуация, чем застывшая в структуре английского слова *mistake*: взять не то, или не так, или промахнуться при попытке схватить — не значит все же ударить мимо. Говорит ли что-то интересное о русской культуре тот факт, что корневая метафора термина «ошибка» связана с ударом, шибанием, а не с взятием или блужданием, как нам это представлено в центральных английских терминах для обозначения, как кажется, того же самого феномена неудачи действия?

Для того, чтобы оценить всю силу шибания, зафиксированного в корневой основе русского слова «ошибка», приведем следующий пример с однокоренным ему словом. В известной берестяной грамоте № 954 читаем:

От Жирочька и от Тешька къ Вдовиноу. Миви Шильцевн: Цемоу пошибаеши свиные щюже? А пьпесла Ньдрька. А еси посоромить коньць вьхъ Людннъ: со оного полоу грамата про кьши же та быс, оже еси гако сътворишь.

А. А. Зализняк и В. Л. Янин интерпретируют ее следующим образом:

Общий смысл документа достаточно ясен: авторы Жирочко и Тешко поручают некоему Вдовицу предъявить человеку по прозвищу Шильце обвинение в том, что он «пошибает» чужих свиной. Осно-

---

<sup>1</sup> «Ошибка» — чисто русское слово среди славянских языков, но связь ее с грехом очевидна в терминах, обозначающих ошибку в болгарском — «грешка», сербско-хорватском — «погрешка», и в украинском — «помилка», напоминающем «смыльное заставание» древнерусских уставов. Однако П. Я. Черных, приводящий эти данные, также напоминает, что термина «ошибка» русский язык не знает до XV—XVI вв.: а первое значение «ошибиться» — это «отшибиться», т. е. «отпасть, оказаться на отшибе» [Черных, I: 614].



ванием для этого послужили рассказы некоей Ноздрыки. Это дело означает позор для всего Людина конца, поскольку оно приобрело общегородскую огласку — с Торговой стороны пришла грамота, где сообщается, что то же самое Шильце проделал и с конями [Зализняк, Янин 2006: 5].

Основной аргумент последующего изложения сводится к тому, что «пошибати» не означало здесь сексуального действия, а именно так часто интерпретируется тот же самый термин, встречаемый в древнерусских княжеских уставах. Конечно, мы знаем, что в латинском переводе XVIII века термин устава Владимира «пошибание» был переведен на латинский как *stuprum*, т. е. «бесчестье, срам, разврат»; но авторы доказывают, что слово «пошибка», зафиксированное в народных говорах и означающее 1) «инфекционная болезнь скота, эпизоотия» и 2) «болезнь, порча, напускаемая колдуном», лучше объясняет происходящее — поэтому причиной конфликта стали колдовские действия Шильца, приведшие к мору свиней, а потом и коней [Там же 2006: 6—7]<sup>4</sup>.

Другие однокоренные слова почти все подразумевают мощный удар. В словаре Срезневского «зашибати» употребляется для описания удара молнии или другого удара, приведшего к смерти, «шибание» и «шибение» означает раскат грома, а сам глагол «шибати» в новгородской и псковской летописях означает либо удар стенобитного орудия в стену крепости, либо удар камнем, брошенным защищающимися со стены [Срезневский, 2: 959; 3: 1592]<sup>5</sup>. Похоже, что легкость, с которой извиняются за ошибки в сегодняшнем поведении, была явно несвойственна извинениям за случаи пошибания, зашибания или просто шибания, если вообще извинения в этих случаях были возможны<sup>6</sup>.

---

<sup>4</sup> Эта интерпретация, естественно, оспаривается в ЖЖ, где приводятся все аргументы за то, чтобы переводить «пошибати» как *fulmere*, и тогда грамота — про скотоложество (<http://kassian.livejournal.com/48390.html?thread=579846>), или переводить как «бить» ([http://community.livejournal.com/old\\_rus/13089.html?thread=76065#t76065](http://community.livejournal.com/old_rus/13089.html?thread=76065#t76065)).

<sup>5</sup> «Ушиб» я не упоминаю, так как это слово фигурирует в словаре [Срезневский, 3: 1343] только в смысле «головное покрывало», ср. древнерусское «ушьвъ».

<sup>6</sup> Можно ли вообще представить себе ситуацию извинений за пошибание? Это преступление было предметом церковного суда, который назначал, например, по уставу князя Владимира, серьезные денежные штрафы в случае, «аще кто пошибать боярскую дочь или боярскую жену» (цит. [Зализняк, Янин 2006: 5]).

\* \* \*

Насколько примеры исторического словоупотребления из других языков, а не русского, помогают теории практик? Остин [2006: 230] пишет, что с латинскими корневыми моделями английских слов обычная проблема заключается в том, что «значение слова распространилось на такие случаи, связь которых с исходной моделью едва ли различима — и это становится источником появления все новых заблуждений и предассудков». То есть слово сохранилось, но от модели практики, когда-то схваченной корнем, уже давно отказались; по меньшей мере, именно то, как сейчас используется данное слово, уже никак не указывает на первоначальную модель. Для русского языка в этом отношении будет уместно указать на случаи, когда мы тоже пользуемся словами с латинскими корнями или вообще латинскими кальками: те практики, в которые вписано русское слово «республика», например, не имеют, возможно, ничего общего с практиками, в которые было вписано «достояние народа», как иногда переводят Цицероновское выражение *res publica* сейчас, или были вписаны «вещи гражданские», как переводили этот термин в XVIII веке<sup>1</sup>. Тем интереснее остранять наши обыденные представления о республике с помощью примеров исторического словоупотребления.

Мы часто, как советские переводчики и читатели Цицерона, думаем, что *res publica* — это форма государства. Например, римское выражение *dicere de re publica* часто переводится как «говорить о государственных делах», и как кажется, именно серьезность этого действия придавала торжественности таким актам, как «State of the Union address» американского президента или нашему аналогу одного — ежегодному обращению Президента РФ к Федеральному собранию. Серьезность эта пронизывает из того, что *dicere de re publica* — это устойчивая идиома, можно сказать, штамм делового языка римского сената [Дрекслер 2009: 132]. Выступать о *res publica* имели право члены сената; они могли прервать ход заседания, потребовав внеочередной речи о *res publica*. Препятствовать подобному говорению было делом из ряда вон выходящим, это приводило к серьезным конфликтам. Ливий [III.39.2; 1989: 42] приводит, например, следующую сцену эпохи

---

<sup>1</sup> Полное Собрание законов Российской империи IV: 67: «Воля учинилась, дабы покой обновился и права дружбы и употребление древняго соседства постановлены были, которые причиною суть согласия ашей гражданских» (цит. по статье «вещь» в Словаре русского языка XVIII века [СРЯ XVIII в., 3: 100—104]).

узурпации власти децемвирами: «По преданию, после выступления Анния Клавдия, и прежде чем по порядку стали высказывать мнения, Луций Валерий Потит потребовал, чтобы ему дали говорить о *res publica*, а в ответ на грозный запрет децемвиров вызвал их замешательство, объявив о своем намерении [тогда] обратиться к плебейам». Сенатор угрожал, что будет апеллировать к народу, если его законному праву говорить о *res publica* в сенате воспрепятствуют. Положение Рима в целом — серьезный повод для высочередной речи, которая и попытается определить это положение. Пыне мы имеем не сенаторов, а президентов, и говорящих раз в году, а не время от времени (когда того требуют серьезные угрозы), но перформативная оценка происходящего, как кажется, свойственна и сценам из жизни римского сената и нынешних парламентов.

Тем интереснее те латинские фразы, которым мы не можем так просто найти параллели в современной жизни, так как либо глагольное управление другое, либо обращение, с которым сталкивается *res publica*, отличается от того обращения, к которому привыкло сегодняшнее государство. Например, близкое к *dicere* выражение *sentire de re publica*, в смысле *sententiam dicere*, т. е. «высказывать мнение, суждение», Цицерон использует, когда говорит в речи против Писона о своих разногласиях с Цезарем по поводу *res publica*: *ego C. Caesarem non eadem de re publica sensisse quae me scio*, «я знаю, что Гай Цезарь думает о *res publica* не то же самое, что я». А в речи о провинциях консулов им используется схожее выражение: *ego me a C. Caesare in re publica dissensisse fateor et sensisse vobiscum*, «я признаюсь, что я не согласен с Гаем Цезарем по поводу *res publica*, а с вами согласен» (цит. по [Дрекслер 2009: 137]). Если использовать русские слова с латинским корнем, то можно передать эти высказывания так: консенсус с Цезарем по поводу *res publica* для Цицерона невозможен, возможен только диссент. Но интересно глагольное управление: римляне республиканского периода способны *sentire de re publica* и *dissentire in re publica*. Переводя немного неуклюжим русским языком, можно сказать, они способны чувствовать о республике и способны не соглашаться в чувствах по поводу нее.

Действительно, глагол *sentire* без предлога чаще всего означал просто «чувствовать что-то, ощущать что-то». Конечно, вместе с предлогом *de* он превращается в «думать» и «иметь мнение, считать», как, например, в диалоге «De Re Publica», где Цицерон вкладывает в уста Лелия фразу: *de re publica quid sentias, explicaris, nobis gratum omnibus*,

«ты, изложив свое мнение о *res publica*, обяжешь нас всех» [Cic. De Rep. I:34, Цицерон 1966: 18]. То же значение очевидно и в другом месте этого диалога, где Сципион говорит: *cum de illo genere rei publicae, quod maxime probo, quae sentio, dixero*, «Когда я выскажу свое мнение о том виде *res publica*, который считаю наилучшим» [Cic. De Rep. I:65, Цицерон 1966: 30]. Однако базовая коннотация чувствования не до конца стерлась даже в этих фразах с предложениями. А в третьей речи против Катилины Цицерон прямо апеллирует к первому значению *sentire* в выражении *sentire de*:

Поэтому я вчера призвал к себе преторов Луция Флакка и Гая Помпидна, мужей храбрейших и преданнейших *res publica*. Я изложил им все обстоятельства и объяснил им, что нам следует делать. Они, как честные граждане, одушевленные великой любовью к *res publica* (*qui omnia de re publica praeclara atque egregia sentirent*), без колебаний и промедления взялись за дело [Cic. Cat. 3. II:5, Цицерон, I: 313].

Латинско-английский словарь Льюнса и Шорта, который приводит эту латинскую фразу в разделе о третьем, переносном значении глагола *sentire* (в смысле «to think, deem, judge, opine, imagine, suppose»), переводит это трудное место так: «were full of the most noble and generous sentiments»<sup>\*</sup>. Граждане любят *res publica*, они полны сантиментов по ее поводу; иными словами, они что-то чувствуют о ней, а не просто высказывают мнения о ней.

\* \* \*

Подведем итоги. История понятий как история записанных речевых актов помогает нам остротить наше современное словоупотребление и тем самым позволяет заметить некоторые странности нашей нынешней жизни. Она позволяет задать новые вопросы и вследствие этого начать новые исследования.

Например, следующие. Почему мы имеем теперь право на ошибку и «ошибание», безумно легкие по сравнению с пошибаниями и зашибаниями прежних веков? Кто и как дал нам это право на ошибку, когда за (низкие) пошибы и зашибы ранее неумолимо наказывали? И почему для нас модель извинимой неудачи действия — это о-шибка, шибание или удар мимо цели, т. е. про-мах? Иными словами, почему базовая практическая метафора неудачи действия в русской культу-

---

<sup>\*</sup> Последний раз проверено 12.7.2010 по <http://www.perseus.tufts.edu/hopper/morph?l=sentire&la=la#lexicon>.

ре — это промахнуться при ударе или (если брать первые по времени зарегистрированные словарем значения «ошибати») — отшибиться, отскочить после удара на отшиб? И если проводить кросс-культурные сравнения, то почему наша базовая метафора — это, если ее перевести на английский, *miss*, а не английское *mistake* или французское *se méprendre*? Конечно, среди двух основных типов неудач, перформативов по Остину, первый звучит очень близко к русскому — *misfire* [Остин 2006: 267]. Но значит ли это, что у нас легко извиняют за это и с трудом извиняют за второй тип неудач перформативов — за *abuses*, «злоупотребления»?

Но все эти казуистические вопросы о более свойственных россиянам типах пролета действия не так интересны, как поставленные нашей краткой статьей вопросы о свободе. Например, не имеем ли мы теперь очень специфическую свободу, потому что народ теперь делает все якобы по своей воле, но никогда не заключает контракт с правителями на своей воле? И не имеем ли мы очень странную республику, потому что мы до сих пор можем без проблем что-то считать о ней, говорить о ней или иметь мнение о ней, но совершенно утратили базовую способность что-то чувствовать о ней и не соглашаться с другими в этих чувствах?

## ЛИТЕРАТУРА

- Волков, Хархордин 2008 — Волков В., Хархордин О. Теория практик. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2008.
- Грамоты 1949 — Грамоты Великого Новгорода и Пскова. М.: Л.: АН СССР, 1949.
- Дреклер 2009 — Дреклер Х. «Res publica» // Res publica: История понятия / Ред. О. Хархордин. СПб.: Изд-во ЕУСПб, 2009.
- Зализняк, Янин 2006 — Зализняк А. А., Янин В. Л. Берестяные грамоты из новгородских раскопок 2005 г. // Вопросы языкознания. 2006. № 3.
- Ливий 1989 — Тит Ливий. История Рима от основания города. Т. 1. М.: Наука, 1989.
- НПЛ — Новгородская первая летопись старшего и младшего изводов. М.: Языки русской культуры, 2000.
- Остин 2006 — Остин Дж. Три способа пролить чернила. Философские работы. СПб.: Алетейя, 2006.
- СлРЯ XI—XVII вв., 1—28 — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1—28 — (издание продолжается). М., 1975—2011—.

- СРЯ XVIII в., 1—17 — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1—17 — (издание продолжается). Л., СПб., 1984—2011—.
- Срезневский, 1—3 — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древнерусского языка по письменным памятникам. Т. 1—3. СПб., 1893—1912.
- Цицерон 1966 — *Цицерон Марк Туллий.* Диалоги. М.: Паука, 1966.
- Цицерон, I—II — *Цицерон Марк Туллий.* Речи. Т. 1—2. М.: Наука, 1993.
- Черных, I—II — *Черных И. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I—II. М.: Русский язык, 1994.
- Austin 1961 — *Austin J. L.* *Philosophical Papers.* Oxford: Oxford University Press, 1961.

## ЗАЧЕМ ИССЛЕДОВАТЬ ИСТОРИИ «ПОНЯТИЙ»?

Определение понятия есть специфически научная работа, протекающая в соответствии со строгими правилами логики. Точное родо-видовое понятие есть совмещение объемов двух понятий, более широкого родового и более узкого видового. Более подробно об этом можно прочесть в любом учебнике логики. Там же, чаще всего, приводятся и основные ошибки, возникающие при дефинициях, которые сводятся в основном к нарушениям соразмерности объемов определяющих терминов. Но вот что любопытно. Понятия могут быть точными или ошибочными, но они не могут быть истинными или ложными. Потому что истинность или ложность относится к другому разделу логики, к учению о суждениях.

Данная ситуация имеет длительную историю, идущую, по существу, еще от теории идей Платона. Анекдот про Аристотеля, принесшего на занятие к Платону ощипанного петуха, который соответствовал платоновскому определению человека (двуногий, без перьев), тому подтверждение. Мир, описанный через понятия, может иметь мало общего с реально существующим миром вещей. Более того, идеализированные понятия науки, например «материальная точка» в физике Ньютона, описывают абстрактные объекты, которые не могут существовать в действительности. Понятия вообще не соотносятся напрямую с действительностью, они созданы для уточнения наших познавательных средств, конструктивных особенностей нашего разума. А вот то, насколько эта конструктивная работа оказывается правильной или ошибочной, то есть, в конечном счете, истиной или ложной, выясняет многократно проводимая эмпирическая проверка результатов (законов), полученных в теории.

Данная ситуация позволяет ученым создавать описания предмета своего исследования в относительной независимости от сиюминутных потребностей политической или идеологической конъюнктуры. Ответ Лапласа: «Я в этом понятии больше не нуждаюсь» — на вопрос,

где же место Бога в его концепции возникновения Солнечной системы, иллюстрирует не столько «атсизм» ученого, сколько его отношение к смыслу любого понятия как к термину, выполняющему особую конструктивную функцию. Точно так же критика Кантом использования понятий «Бога» и «души» при эмпирически-ориентированных исследованиях и введение им этих понятий в этику обуславливается не «скрытым» атеизмом философа или религиозностью его ближайшего окружения, а конструктивными особенностями синтетических способностей человеческого разума.

В естественнонаучных областях, ориентированных, в конечном счете, на эмпирическую проверку и эвристическую процедуру конструирования экспериментально просчитываемых результатов, понятия, выходящие за границы конструктивных способностей нашего разума, оказываются лишними. Не ложными, а скорее ошибочными, или, говоря языком теории понятий, превышающими по объему возможную область определения. Так, если мы в известное определение человека как «примата с мягкой мочкой уха» вместо родового признака «примат» вставим признак «Божья тварь», то задача нахождения видового признака окажется неразрешимой в силу принципиальной бесконечности объема родового понятия.

С другой стороны, область автономной воли, обуславливающая необходимость *должного* поведения индивида в соответствии с его «человечностью», предполагает введение теоретически *возможных* конструкторов. Эти конструкторы призваны обосновывать: а) «собственно человечность», то есть «Бога» как гаранта взаимосвязи индивидуальной воли в рамках некоего предположительного «культурного» единства человечества и б) «индивидуальность», то есть «бессмертие души» как непрерывности личностного начала в человеке, обосновывающего единственность его духовного опыта. Заметим, что обе конструкции вводятся как «эмпирически обусловленные», необходимые дополнения, обосновывающие эффективность «долженствования», вытекающего из первичной бесконечности «свободной» воли.

Данные иллюстрации, характеризующие отношение к понятиям, возникшее в век Просвещения и передавшееся нам, современным ученым, как духовным наследникам этого века, показывают определенный дуализм в оценке понятия. С одной стороны, мы разделяем идею об относительной ценности исследований, основанных на частотности употребления тех или иных понятий. В конечном счете, даже в филологической среде «спор идет не о словах». С другой стороны, относимся к понятию как к случайному образованию и, даже более



того, наставив нас, что, покуда человек мыслит, — он мыслит, создавая понятия. Если мы обратимся к истории европейской философии, то легко найдем подтверждение этого тезиса.

Так для Гегеля понимание оказывается синонимом мышления при помощи понятий.

В рассудочной логике понятие рассматривается обычно только как простая форма мышления и, говоря более точно, как общее представление; к этому подчиненному пониманию понятия относится так часто повторяемое со стороны ощущения и сердца утверждение, будто понятие как таковое есть нечто мертвое, пустое и абстрактное. На деле все обстоит как раз наоборот: понятие есть принцип всякой жизни и есть, следовательно, вместе с тем всецело конкретное... постольку, поскольку оно содержит в самом себе в идеальном единстве бытие и сущность [Гегель, III: 341—342].

В переводе с языка Гегеля на понятный это означает, что развитие науки, которая обеспечивает раскрытие сущностных связей вещей, процессов, состояний, находит свое бытийственное (реально существующее) воплощение в последовательном развитии своего понятийного аппарата. Именно поэтому при профессиональном овладении научной дисциплиной изучается история становления ее понятийного каркаса. Из гипотезы единства бытия и сущности возникает концепция *Begriffsgeschichte*, в соответствии с которой мы можем судить о степени развития научного (истинного) отражения действительности на основании изучения истории становления понятийного аппарата конкретной научной дисциплины. При этом проблема истинности, обозначенная выше, снимается тем, что «наука» объявляется единственной областью, имеющей монополию на истину. Наследуют у Гегеля данную концепцию «научные» философии XIX—XX вв.: марксизм и... неокантианство.

Собственно говоря, в неокантианстве и выкристаллизовывается проблема двух типов понятий: естественнонаучных и *Geistwissenschaft* — «гуманитарных», сказали бы мы сегодня, или «исторических», как их называет Г. Риккерт. Любопытно, что и марксизм вынужден в конечном счете признать существование той же проблемы. Просто в нем речь идет о существовании двух уровней науки: теоретического и эмпирического. Теоретическое исследование наследует не только научную монополию на истину, но и концепцию *Begriffsgeschichte*, эмпирическое — признается важной подготовительной стадией теоретического, но не достигающей определенного истинностного стандарта. В конечном счете, все эмпирические факты науки

должны быть теоретически интерпретированы, то есть привязаны к логике развития понятия. Таким образом, философские течения, культивирующие сциентизм, были вынуждены вводить рядом с логически сильной концепцией «собственно научного» понятия концепцию «особенного» понятия, ведущего к пониманию истинности, но как бы не доходящего до него.

Одновременно с этим в философских направлениях, ориентированных на гуманитарное познание (В. Дильтей, герменевтика), вводится категориальное различие понимания (*verstehen*) и объяснения (*erklären*). Начиная с учения о внутренней форме языка В. Гумбольдта, в которой «понятие» является производной не от полной и точной передачи истинного знания, возможного только в форме науки, а возникает в результате коммуникативного акта, в котором люди «взаимно затрагивают друг в друге одно и то же звание в цепи чувственных представлений и начатков внутренних понятий... благодаря чему у каждого вспыхивают в сознании соответствующие, но не тождественные смыслы» [Гумбольдт 1984: 165—166], у данного направления в гуманитаристике было множество адептов. Из их исследований вытекает противоположность «понимания» как метода, присущего гуманитарно-историческому знанию и «объяснения» как методу естествознания. Распространив же данное различие на анализ существующей системы наук, мы получили уже знакомую нам по работам неокантианцев дихотомию «наук о духе» и «наук о природе». Мы не будем описывать почти 150-летний спор философов, это уже не раз успешно проделано. Сошлемся на выводы, которые не разъединяют объяснение и понимание, а связывают их в рамках одной процедуры интерпретации текстов. «Текст» — автономный продукт, находящийся на стыке понимания и объяснения.

Если интерпретация не может быть понята без этапа объяснения, то объяснение не способно стать основой понимания, которое составляет существо интерпретации текстов. ...Понимание предполагает объяснение в той мере, в какой объяснение развивает понимание. Это двойное соотношение может быть кратко выражено девизом: больше объяснять, чтобы лучше понимать [Рикёр 2001: 284—285].

Итак, с одной стороны, мы не желаем отказываться от строго логической процедуры определения понятия, усматривая в этом отказ от собственно научного содержания самого характера нашей работы. С другой стороны, анализ предмета нашего исследования — «языка», со всей очевидностью указывает нам на преобладание в реальном

языке коммуникативных стратегий с их логически несовершенным обращением с понятиями. Да и сами мы, за пределами профессионального подхода, остаемся обыкновенными обывателями и используем понятия, не имеющие ни малейшего отношения к науке. Однако заметим, что в обоих случаях мы исходим из анализа самого предмета нашего исследования, просто в первом — мы рассматриваем логическую форму «понятия», а во втором — его реальное осуществление.

Безусловно, редукционизм, и особенно редукционизм к предмету, является естественной формой существования научного знания. Но, иногда, когда внутринаучные споры приводят нас к противоречиям, например между «что мы исследуем?» и «как мы исследуем?» — самое время задать вопрос «зачем мы исследуем?». Ответ на этот вопрос нужен нам, чтобы понять, какие эмпирические следствия должны подтверждать истинность нашей работы.

Тем самым мы возвращаемся к началу нашей работы, где утверждали логическую независимость «понятия» от истинности. И если мы признаем, что одной из целей человеческого существования является культурная коммуникация, то есть «понимание другого человека», по крайней мере, в рамках своей культуры, а не познание истины самой по себе, то нам остается только допустить, что эта коммуникация достигается путем естественного создания «логически неправильных понятий» — тропов.

Мы предполагаем, что предметом историко-филологических исследований должно быть исследование возникновения и использование тропов (логически неверных переносов смыслов отдельных понятий при создании устойчивых фраз идеологического дискурса) как коммуникативных средств. И если мы согласимся, что с помощью использования тропов достигается некий устойчивый стиль коммуникации, «по определению неотделимый от своего контекста» [Общая риторика 1986: 275], то остается допустить, что художественная литература, политическая публицистика, государственные акты и правовые документы могут создавать тропы для принципиально разных целей, и функционирование этих тропов может иметь различную историю. При этом многие художественно-поэтические тропы, несмотря на различное отношение к ним в рамках различных литературных жанров и школ (например, отношение А. С. Пушкина к романтизму во время создания «Евгения Онегина»), чрезвычайно устойчивы. В то время как тропы, созданные для общественно-политических дискуссий, довольно быстро утрачивают свой обозначающий смысл, например «военный коммунизм», «либерал-демократ», «суперсенная демократия».

Видимо, это связано с тем, что в мировоззрении людей вопросы властных отношений являются более значимыми в эмоциональном и практическом смысле, чем вопросы эстетического восприятия литературных произведений. А раз так, то и деконструкция смыслов общественно-политических тропов производится с большей заинтересованностью. Можно предположить, что поэтическая и литературная метафора не первична и является скорее поздним продуктом развития иных коммуникативных сред.

До сих пор риторический анализ высказываний не позволяет выявить специфичность поэзии, которая в каких-то других своих измерениях противопоставлена арго и рекламе [Общая риторика 1986: 266].

Итак, нам нужно ответить на вопрос, «почему люди используют неправильные понятия»? Рискнем предположить, что потребность замешать «истину» иллюзией не нова. Она вытекает из двух атрибутов, присущих человеку, как родовому существу. Человек — социален и целесообразен. В качестве целесообразного существа он должен иметь представления о мире, в котором существует (или мировоззрение), в качестве социального существа он должен согласовать это свое представление с другими людьми. Общение между людьми происходит не столько в форме передачи конкретных научных знаний, сколько в символической форме передачи узнаваемого образца, «поскольку социально детерминирована не природа идей, а средства их выражения» [Гирц 2004: 243]. А так как нахождение смыслов своей жизнедеятельности для последующей самоидентификации — «процесс социальный, протекающий не в голове, а в том коллективном мире, где “люди говорят, дают вещам имена, делают утверждения, и в какой-то степени друг друга понимают”» [Там же: 244], то и анализировать нужно не столько процесс идеализаций, происходящих при познании мира, сколько процесс идеологизации наших знаний, позволяющий людям создавать необходимые им в реальной жизни ориентиры. В этом плане любая идеология должна рассматриваться как культурная схема — «программа», снабжающая нас «шаблонами и чертежами для организации социальных и психических процессов» [Там же: 247]. В конечном счете, объясняя мир, люди выбирают себе идеологии, исходя из удобства в объяснении реальности. Потребность в идеологии наступает для индивида тогда, когда он, в силу каких-либо причин, не в состоянии ответить сам на смыслообразующие вопросы своего существования.

Мы предполагаем, что этих вопросов ограниченное число. Отношений, которые обуславливают факт длительного существования

человека «как существа, задающего осмысленный вопрос», немного. Первое — это отношение человека с природой или внешним для него миром, в состав которого могут входить даже другие люди, если отношения между человеком и этими людьми подчиняются исключительно природным законам (все, что не такое, как «Я»). Второе — это отношения между человеком и другими людьми, которые основаны на признании того, что другие люди тоже такие же человеки, при этом «человеческое» отношение может распространяться на все, что человек «приручил», будь то домашние животные, растения, машины и другие предметы, не имеющие никакого отношения к собственно социальной сфере (все, что такое, как «Я»). И, наконец, последнее — это саморефлексия по поводу собственного «Я»; оно вторично, так как возникает лишь в те моменты, когда в первых двух отношениях возникают проблемы, и достаточно устойчиво, потому что, будучи установленным, существует до следующих серьезных проблем в первых двух сферах<sup>1</sup>.

Вступив в эти отношения, человек вынужден отвечать на ряд вопросов. При этом истинность ответа обуславливается определенной процедурой проверки как осмысленности самого вопроса, так и адекватности полученного на него ответа. Первичная дихотомия «не Я» и «Я» оказывает непосредственное влияние на эти процедуры, постепенно формируя две не зависящие друг от друга области исследований: науку и этику. Сложнее с третьим отношением: человека к самому себе как к «Я». По большому счету, никакой процедуры установления объективной истинности данное отношение не предусматривает. Изменение «Я» происходит в результате внутреннего переживания, которое принципиально недоступно процедурам эмпирических проверок. Однако вторичность саморефлексии, порожденной либо внешними по отношению к моему «Я» проблемами, либо проблемами моего «Я» с «Другими как Я», порождает две близких, но отличных друг от друга формы самосознания человека: искусство и религию<sup>2</sup>.

Вопрос об отношении к внешнему для «Я» миру можно представить как вопрос «как устроен этот мир?». Очевидно, что любая попытка ответить на этот вопрос должна проводиться с помощью конструирования таких категорий, как объект (количество, качество),

---

<sup>1</sup> «Представления, которые создают себе эти индивиды, суть представления либо об их отношении к природе, либо об их отношениях между собой, либо о том, что такое они сами...» [Маркс, Энгельс, II: 19].

<sup>2</sup> «Бог как дух должен быть постигнут как присутствующий в своей религиозной общине» [Тегель, III: 383].

причина или отношения, в которых он (объект) взаимодействует с другими объектами. Единицей анализа должен быть подтвержденный наукой факт, а любое теоретическое построение должно рано или поздно быть подвергнуто эмпирической проверке. Из идеального исследования должны быть удалены антропоморфизмы, а результат сформулирован либо в виде эмпирической закономерности, либо теоретического закона. Соблюдение всех этих правил позволяет получить ответ на вопрос, «как именно функционирует предмет», который мы исследуем. В конечном счете, предсказать, как он будет функционировать в дальнейшем. В силу того, что научное знание преимущественно направлено на независимый от человека объект, наиболее важной для ее функционирования становится корреспонденцная концепция истинности.

Этические вопросы есть парафраз проблем, которые возникают у человека при констатации несправедливости человеческих отношений. Как вести себя с другим человеком, чтобы при этом оставаться человеком самому? Необходимыми категориями, описывающими эти отношения, являются: субъект, который берет на себя ответственность за свои действия по отношению к другому субъекту; поступок, в котором происходит взаимодействие с другим субъектом; оценка поступка с точки зрения цели или идеала и дескриптивное определение правильности или неправильности данной оценки. А так как последствия любого человеческого поступка нам неизвестны в силу невозможности просчитать вариативность будущих событий, субъекту приходится конструировать мотив, помогающий оправдать возможные будущие негативные оценки последствий поступка. В данном случае мы не хотим сказать, что любой человеческий поступок мотивирован исключительно задним числом, нашей целью не является опровержение психологии и юриспруденции. Наоборот, само существование в этих дисциплинах проблем выявления «истинности» или хотя бы единственности мотива того или иного поступка показывает нам отсутствие однозначно принятого на сегодняшний день ответа на этот вопрос. Возможно, это не случайно. Возможно, никакой мотивационной «однозначности» просто не существует, и в своих поступках человек руководствуется сиюминутной смесью рациональной или интуитивной, психологической или культурной установки. У нас нет ответа на вопрос: «как это происходит на самом деле?». В чем мы уверены однозначно, что покуда этот поступок социален, в силу социальности любого этического поступка, у субъекта поступка возникает потребность в объяснении своих действий, в том числе в категориях «добра»

и «зла». А так как объяснение дается «соучастникам» поступка, идеологический шаблон выступает достаточно эффективным средством. Таким образом, естественная моральная установка, возникающая в узком кругу культурно образованных «своих», может заместиться ценностно ориентированной, идеологически «правильной» установкой, ориентированной на взаимодействие с «чужими». В силу того, что граница между «своими» и «чужими» непостоянна, а в большинстве случаев вообще неопределенна, «естественной общечеловеческой» системой моральных ценностей оказывается утилитаризм. По крайней мере, он помогает избегать крайностей субъективизма, присущих гедонизму и перфекционизму. Возможно, именно в силу этого прагматическая концепция истинности оказывается естественным регулятором этически спорных положений.

Переходя к третей составляющей мировоззрения, мы хотели бы отметить тот факт, что этическая составляющая этоса может не совпадать с эстетической. Если выразиться точнее, этически правильный поступок или действие почти всегда получает и положительную эстетическую оценку, но эстетически положительное восприятие не всегда коррелирует с положительной этической оценкой. На данный факт указывал еще Конфуций: «Тот, кто краснivo говорит и обладает привлекательной наружностью, редко бывает истинно человеком». В современной этике широкое распространение получил тезис об автономности морали. Условно назовем его тезисом Канта—Мура, в соответствии с ним мораль должна быть принципиально автономна, то есть не зависеть в своих основаниях ни от одного внешнего по отношению к ней факта.

Ранее мы объединили искусство и религию в одну форму саморефлекторного отношения человека к действительности. Теперь необходимо их разделить. Искусство в миметической форме дает возможность человеку осмыслить и принять свое отношение к миру таким, каким он (мир) может быть. Потребляя произведения искусства, человек сопереживает не тому, что с ним происходит, а тому, что с ним могло бы произойти, окажись он сам на месте персонажа произведения искусства. В силу ограниченности реальной жизни, человек, потребляя произведения искусства, в превращенной форме удваивает или даже утраивает свою жизнь, оказываясь в тех ситуациях, в которых никогда в реальности оказаться бы и не смог, например при рождении младенца в Назарете или на техасском ранчо насдиве с маньяком. Он «проживает» в миметической форме «настоящую человеческую жизнь», а не то обыденное существование, которое ему приходится «влагать»

изо дня на день. Поэтому по распространенности жанров мы можем судить о том «мире», который человек имеет в своем представлении, отдавая при этом отчет в идеальности данного представления.

Ответ на вопрос «что есть я?» в традиции давала религия. Форма ответа определяется тем, что область этого вопроса есть сфера эмоционального, по существу, в религии человек имеет дело исключительно со своими эмоциями и чувствами. Эмоция же не имеет субъекта, она имеет только форму. И основной вопрос будет в том, соответствует ли конкретное переживание определенной форме или не соответствует. Этот ответ человек принимает не в силу рационального понимания, а через переживание. И именно переживание удостоверяет для него истинность ответа. Соответственно возникает проблема постоянства переживания, которая оказывается неразрешимой в силу естественной психологической изменчивости субъекта и бесконечности объекта. И в силу этих же причин ни прагматическая, ни корреспондентская концепция истинности не оказывает существенного влияния на эту сферу общественного сознания. Скорее наоборот, религиозная функция мировоззрения существует не благодаря «голому» прагматизму или научно-обоснованному взгляду на мир, а в противовес им. В силу того, что основная задача «постоянства переживания» не снимается, для обоснования тех или иных положений широко используется когерентная концепция истинности.

В отличие от искусства религия утверждает, что рефлекторная форма, в которой осмысливается положение «Я» среди других «таких же Я», и является единственно действительным миром. Мимесису искусства религия противопоставляет «факт» чувственного переживания человеком «осмысленности» действительности в антропоморфной форме ее «целесообразного» устройства.

Так как действительность, которой задаются данные вопросы, осмысленна, — сам вопрос принимает целесообразную форму: «за что я страдаю?». Это вопрос об определенности «Я» через несенность его перспективы со смертью и жизнью социального слоя, сформировавшего уникальность данного «Я». Мы способны сопереживать чужому горю, но лишь свое собственное горе ставит перед нами проблему переживаемости мира, возможности упорядочить свои чувства, придать определенность своим эмоциям для перенесения мира<sup>3</sup>. Смерть и страдания близких тебе людей обесмыслива-

---

<sup>3</sup> Ср.: «...способность не только понять мир, но и способность, поняв его, упорядочить свои чувства, придать определенность своим эмоциям, которая даст



ют твою жизнь. Ведь смысл жизни «Я» задастся не из себя — его определяют люди, которые либо выступают для него как авторитет, либо для которых оно является авторитетом. И если смерть прерывает эту связь, то вне данной ответственности социально-психологическая жизнь теряет смысл. Однако ни смерть, ни страдания невозможно предотвратить. Их причина может быть обезличенна, а справедливое отмщение невозможно или бессмысленно. Поэтому формой ответа становится наделение естественной социальной ситуации сверхъестественным, трансцендентным (часто природным) смыслом, но при сохранении обращения к этому трансцендентному как к субъектному. «Что я сделала тебе, почему ты так относишься ко мне?» или «Господи, помоги».

Тем самым в искусстве и в религии происходит как бы удвоение мира. В искусстве — через создание подражательных моделей. В религии — через переживание участия в ритуале, например христианской молитве, которая, помогая выстрадать (и тем самым пережить) возникшую духовную потребность, порождает веру в Бога как в определенную картину мира. Человек при помощи религии, переходя через переживание из мира имманентного в мир трансцендентный, получает объяснение своей собственной имманентности. Именно поэтому конвертация религий невозможна, то есть религиозный человек признает, что любой другой человек религиозен, но будет настаивать на истинности именно своей веры, так как, в конечном счете, она имманентна именно его переживаниям.

Комплекс религиозных представлений, создающий образ космического порядка, есть в то же самое время комментарий на земной мир социальных отношений и психологических процессов. Он делает их доступными пониманию. Но эти представления больше, чем комментарии: они также — шаблон. Они не просто объясняют социальные и психологические процессы с точки зрения космоса... но формируют их [Гирц 2004: 143].

Поэтому религия, являясь одной из форм мировоззренческих отношений человека к окружающей его реальности, одновременно может выполнять всю идеологическую функцию. Более того, в традиционных обществах религия и играла роль идеологии, давая ответы на все мировоззренческие вопросы. Поэтому в религиозной и эстетиче-

ской области мы находим такое количество тропов, и именно поэтому мы пытаемся освободиться от них в этике и науке.

Так, имея в основании один и тот же прием смещения или перенесения объемов понятий, «идеализированные понятия науки» и «литературные тропы» выполняют прямо противоположные задачи. История становления понятийного аппарата науки является историей создания универсальной модели, описывающей единственность многообразия реального мира. Изменение поэтического языка порождается смысловой стилей с целью создания многообразия в единичности реальной жизни человека. В случае науки исследование «истории понятий» помогает нам понять, при помощи каких средств мы можем ограничить естественную бесконечность окружающей нас реальности. В то время как изучение «истории искусств» показывает нам неизбежность повторов и цитирований художественных средств в силу принципиальной неизменности истории «естественной человеческой» жизни.

### ЛИТЕРАТУРА

- Гегель, I—III — *Гегель Г. В. Ф.* Энциклопедия философских наук. Т. I—III. М., 1974—1977.
- Гирц 2004 — *Гирц К.* Интерпретация культур. М., 2004.
- Гумбольдт 1984 — *Гумбольдт В.* Избранные труды по языкознанию. М., 1984.
- Маркс, Энгельс, I—IX — *Маркс К., Энгельс Ф.* Избранные сочинения: В 9 т. М., 1984—1988.
- Общая риторика 1986 — *Дюбуа Ж., Эделин Ф., Клиппенберг Ж.-М., Менге Ф., Пир Ф., Тритон А.* Общая риторика. М., 1986.
- Рикёр 2001 — *Рикёр П.* Понимание и объяснение // Новая философская энциклопедия. Т. 3. М., 2001.



# **ИСТОРИЧЕСКАЯ СЕМАНТИКА И ИСТОРИЯ ПОНЯТИЙ**

---



**«По закону языка нашего»:  
СЕМАНТИЧЕСКИЕ ЗАИМСТВОВАНИЯ КАК ПРЕДМЕТ  
ИСТОРИИ ПОНЯТИЙ\***

**I**

В последнее десятилетие наблюдается некоторое оживление интереса к исторической семантике (напр. [Fritz 2006; Живов 2009]). Однако нельзя сказать, что оно сопровождается ростом интереса к процессам заимствования (импорта) понятий. Так, исследования, выполненные с позиций когнитивного подхода к языку, по сути возрождают традиции семасиологии, игнорировавшей историко-социальные причины смыслового сдвига (напр. [Зализняк и др. 2005]). С другой стороны, в рамках научной парадигмы, наследующей традиционной *Begriffsgeschichte*, изучение истории слов нацелено преимущественно на контекстное описание понятия в отдельно взятом языке и культуре, часто с минимальным диахроническим охватом (напр. [Thiergen 2006]).

Таким образом, импорт понятий специально, как правило, не изучается, а трактуется как факт их *предыстории*. Отчасти подобный подход связан с наследием до-коззельсковской истории понятий, основным предметом которой был язык философии. В этой парадигме значимость предыстории того или иного понятия оказывается прямо пропорциональной образованности того или иного философа или книжника, который опирается на авторитетные тексты, написанные на других языках. Между тем уже для анализа социально-политической

---

\* За ценные замечания автор искренне признателен Л. А. Блюменфельду, В. М. Живову, Ю. В. Кагарлицкому, Д. Я. Калугину и А. Тимберлейку, а также участникам специального заседания, посвященного Повести временных лет и состоявшегося 30 марта 2007 г. в Колумбийском университете, и конференции «Эволюция понятий в свете истории русской культуры», проходившей в ИРЯ РАН 23—24 октября 2009 г.

концептуальной сферы, которая охватывает широкий круг носителей языка и культуры, такой подход малоприменим. Тем более настойчиво он требует пересмотра при изучении понятий, принадлежащих религиозной и этической сфере и прочно вошедших в обиходный узус. Исследуя историю таких понятий, мы прежде всего должны ответить на вопрос о том, каким образом слова-понятия, исходно заимствованные в специальный язык (философский, религиозный, политический), стали общеупотребительными, и какие метаморфозы при этом претерпело их значение. Именно в этом контексте необходимо более полное и точное описание механизмов заимствования понятий.

Согласно классической статье Антуана Мейе [Meillet 1958 (1905)] слова меняют значение при пересечении границы, отделяющей социолекты от общего языка. Привлекательность модели Мейе в том, что она позволяет рассматривать как однородные процессы заимствования из одного языка в другой и перемещение слова в социолектах и регистрах одного языка. Как отмечает сам Мейе, на пути иноязыкового заимствования, как правило, стоит специальный язык «интеллектуалов» (кем бы они в данную историческую эпоху ни были)<sup>2</sup>. Представляется а priori вероятным, что существенное влияние на процесс импорта понятий оказывают установки носителей социолекта-посредника.

Можно различать три основных типа межъязыкового взаимодействия, ведущего к возникновению нового слова-понятия: (1) лексическое заимствование, (2) калькирование, (3) семантическое заимствование. Эти механизмы отличаются по степени привлечения материала языка-импортера. При лексическом заимствовании происходит лишь приспособление иноязычного слова к фонетике и (в части случаев) к морфологии заимствующего языка; при калькировании новое слово выстраивается целиком из материала языка-импортера, по по модели иноязычного слова; в случае семантического заимствования форма слова остается неизменной, меняется лишь его значение<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Неслучайно, что в выходявшем под редакцией Козеллека фундаментальном издании «Geschichtliche Grundbegriffe» каждой статье предпосланы вводные замечания о значении титульного понятия в античности, однако связь этих замечаний с основной статьей прослеживается не всегда.

<sup>2</sup> Более подробно о модели Мейе и ее применимости к истории понятий см.: [Маслов 2009: 207—212].

<sup>3</sup> [Weinreich 1964: 47—62] (доныне лучшее введение в проблематику); [Успенский 2002: 59—60]. М. М. Копыленко [1973: 141] различает четыре типа калькирования: «а) словообразовательной структуры лексем (словообразовательные кальки), б) широкой сочетаемости лексем (семантические кальки), в) ограничен-

Ограничивая рассмотрение именем существительным, имеет смысл различать также две категории заимствований: (i) абстрактное существительное и (ii) конкретное существительное. В табл. 1 приводятся некоторые примеры различных типов импорта значения.

Таблица 1

**Пути возникновения нового лексического значения  
в результате иноязыкового влияния**

	(1) лексическое заимствование	(2) калькирование	(3) семантическое заимствование <sup>4</sup>
(i) абстр.	<p><i>ересь</i> (&lt; αἵρεσις), <i>симпатия</i> (&lt; пол. <i>sympatja</i>, нем. <i>Sympathie</i>), <i>ностальгия</i> (&lt; <i>nostalgie</i> etc.)</p> <p>с искажением смысла: <i>гонор</i> (&lt; пол. <i>honor</i>), <i>азарт</i> (&lt; франц. <i>hasard</i>), <i>шик</i> (&lt; нем. <i>Schick</i>? франц. <i>chic</i>)</p>	<p><i>православник</i> (&lt; ὁρθοδοξία), <i>человечколюбие</i> (&lt; φιλανθρωπία), <i>многобожество</i> (&lt; πολυθεία), <i>милосердие</i> (&lt; др.-в.-нем.? &lt; лат. <i>misericordia</i>)</p>	<p><i>покашник</i> (&lt; μετανοία), <i>святини</i> (&lt; ἁγιασμένη), <i>тържество</i> (&lt; πανήγυρις) <i>своиство</i> (&lt; ἰδιότης) <i>скръбь</i> (&lt; θλίψις) <i>здравствуй</i> (? &lt; υἱαίαια)</p>
(ii) конкр.	<p><i>спитимни</i> (&lt; ἐπιτίμιον), <i>иконостась</i> (&lt; εἰκονοστάσιον), <i>кровать</i> (&lt; κρεβάτιον)</p>	<p><i>богородица</i> (&lt; θεοτοκος), <i>молитвослов</i> (&lt; εὐχολόγιον<sup>5</sup>), <i>всцеленам</i> (&lt; οἰκοδομή)</p>	<p><i>рость</i> ‘лихва, проценты’ (&lt; τόκος), <i>здание</i> ‘назидание’ (&lt; οἰκοδομή), <i>двор</i> ‘окружение царя’ (&lt; нем. <i>Hof</i> etc.)</p>

ной сочетаемости лексем (фразеологические кальки — гнезда, г) индивидуальной сочетаемости лексем (индивидуальные фразеологические кальки)». В настоящей работе случаи «б)», по Копыленко, соответствует типу «семантические заимствования», о случаях же «в)» и «г)», которые нередко служат промежуточными этапами на пути к «б)», речь не идет. В современных пособиях по контактной лингвистике калькирование и семантическое заимствование иногда не различаются; ср. [Thomason 2001: 80—81].

<sup>4</sup> Об этих и других примерах семантических заимствований из греческого см.: [Копыленко 1973: 144—145]. Об обращении *здравствуй* как аналоге греч. υἱαίαια см. [Keipert 1971].

<sup>5</sup> Корень *λόγ-* понят превратно (не < λέγω ‘говорить’, а < λέγω ‘собирать’). Ср. [Успенский 2002: 60].



При лексическом заимствовании конкретных существительных (тип образования (1) — (п)) история слов, как правило, неотделима от истории вещей; заимствование может происходить при минимальном посредничестве двуязычных носителей: они лишь ретранслируют слово, значение которого определяется вводимой в оборот реальней. Калькирование иноязычного слова ((2) — (п)), напротив, предполагает активную, словотворческую роль класса билингвов; более того, использование материала родного языка свидетельствует об установке на понятность нового слова вне этого класса. Это тем более относится к частичным калькам, в которых значение иноязычного слова передается сложным словом, более прозрачным для носителей языка, напр. *самодръжць* (*αὐτοκρατωρ*; ср. *самовластьць*), *долготърпник* (*μακροθυμία*), *законопрѣстѣльник* (*παράνομος*, *παράνομία*)<sup>6</sup>. Следует подчеркнуть, что в то время как при семантическом заимствовании участие класса билингвов остается скрытым, калькирование предполагает словотворчество<sup>7</sup>.

<sup>6</sup> Ср. также слово *естьство* — новое образование, соответствующее греч. *οὐσία*; однако в отличие от слов *сущик* и *сущьство* (субстантивированные формы причастия), *естьство* не является морфологической калькой (ср. [Алексеев 1990: 49]). Приведу еще одно образование, не поддающееся однозначному анализу: слово *трудоголик*, по всей видимости, является частичной словообразовательной калькой с англ. *workaholic*, при этом второй сегмент, представляющий собой морфологический окказионализм, как бы и не калькируется и не заимствуется, а восстанавливается на базе уже ассимилированного лексического заимствования *алкоголик*. Сравнительно с обычными словообразовательными кальками ассимиляция слова *трудоголик* в русском языке благодаря этой шутиливой ассоциации, конечно, была значительно упрощена. О гибридных кальках, ср. [Weinreich 1964: 50—52].

<sup>7</sup> Как кажется, на этом основании Унбсгаун относил семантические заимствования к народному языку, а словообразовательные — к языку образованного класса [Unbegaun 1969 (1932): 29]. Такое противопоставление в целом представляется упрощением. Тем не менее некоторые словообразовательные кальки действительно предполагают высокий уровень языкового самосознания. Курт Шуман [Schumann 1958: 3—4] обратил внимание на особый вид калек в старославянском, в котором один из элементов новообразования соответствует одному из элементов греческого слова, но при этом семантически бесполезен. Так, в слове *долготърпник* значение греч. *μακροθυμία* передается слав. *търпник*, а *долго-* лишь калькирует начальный элемент греческого композита; ср. также *εὐλαβής* > *доброговѣнъ*. Назначение таких словесных надстроек (Шуман предлагает называть их *Lehngliedzusatz*) — сохраняя установку на широкую понятность нового образования, напомнить о его дистанции по отношению к уже существующему славянскому слову (ср. [Ibid.: 4]), т. е. как бы акцентировать факт заимствования. (См. ниже о предпочтительном использовании

Как дополнительный (не учтенный в таблице) механизм следует рассматривать примеры передачи заимствованного значения при помощи новых слов, которые кальками не являются (*страхование, промышленность, культурология*); эти слова порождены в рамках социолектов, но предназначены для распространения в пределах общего языка<sup>8</sup>. В данном случае с помощью местных языковых ресурсов создаются слова-понятия, которые вдохновлены понятиями, заимствованными из иноязыковой среды.

Для истории понятий, конечно, основной интерес представляет заимствование абстрактных существительных. Их значение не закреплено за референтом в материальном мире: это идеологемы, существующие лишь в сознании. Вопрос в том, каким образом они могут стать частью мировосприятия людей, говорящих на другом языке.

В свете различий в типах заимствования можно предположить, что социальная природа взаимодействия старославянского и восточнославянских диалектов с греческим принципиально отличалась от социальной природы взаимодействия русского и европейских языков в Новое время. Ведь если в первом случае лексические заимствования абстрактных существительных исключительно редки, то во втором случае их множество. Достаточно вспомнить, что такие понятия, как *симпатия* и *ностальгия*, приходят в русский язык через посредство новоевропейских языков, хотя оба происходят из греческого; в первом случае новоевропейское слово представляет собой лексическое заимствование из греческого, во втором — новообразование из двух греческих корней (и то и другое для старославянского и древнерусского нехарактерно).

Вероятное объяснение большому числу лексических заимствований абстрактных понятий в Новое время следует, как кажется, искать в сочетании двух факторов: (1) стабильное двуязычие многочисленной группы носителей и (2) отсутствие установки на то, что можно назвать *пропагандой понятия* — его целенаправленного распространения вне

---

слова *πράμωρ* для передачи греч. *πράξις*). В других случаях, как, например, *законотворительник*, дополнительный элемент композита призван прояснить его значение.

<sup>8</sup> Ср. не являющиеся кальками неологизмы, которые использовали переводчики XVIII в. в качестве замены для лексических заимствований: *волосочес* (вместо *парикмахер*), *самостина* (*аксиома*), *поткумир* (*бюст*) и пр. [Биржакова и др. 1972: 293—294]; из них лишь немногие, такие как *водоем* (*бассейн*), сохранились в языке. Об этом типе переноса значения, в немецкой традиции обозначаемом термином *Lehn schöpfung*, см. [Weinreich 1964: 51; Thomason 2001: 80].

класса билингвов. Последнее приводит к тому, что слова-понятия не «переводятся» на материал языка-импортера ни путем лексического заимствования, ни путем калькирования. Тем не менее многие из этих слов, хотя отнюдь не все (ср. *сплит*, *респект*, *плезир*), входят в общий узус. Каким же образом это происходит? Здесь следует предположить существование своего рода языковой буферной зоны — социолекта неполных билингвов, которые в основном пользуются языком-импортером, но заимствуют некоторые иноязычные термины из языка билингвов; такое внутриязыковое заимствование особенно вероятно в том случае, если социолект билингвов воспринимается как язык элиты [Croft 2000: 180—181].

Особый интерес представляют случаи искажения значения абстрактных существительных, как в случае понятий *гонор* (< пол. *honor*), *азарт* (< франц. *hazard*), *шик* (< нем. *Schick?*, франц. *chic*). Представляется вероятным, что искажение (часто сопровождающееся стилистическим снижением) иноязычного понятия возникает именно при использовании заимствованного слова в той межсумочной речевой среде, которую я назвал социолектом неполных билингвов<sup>9</sup>. Наконец, в случае неверных лексических заимствований, таких как *хэппи-энд* (в английском в значении 'счастливая развязка' употребляется только *happy ending*) и обращение *мадам и месье* (фр. *mesdames et messieurs*), неполные билингвы, как кажется, выступают как непосредственные инициаторы заимствования<sup>10</sup>.

Греческие по происхождению абстрактные понятия, напротив, заимствуются в старославянский и древнерусский язык путем либо калькирования, либо семантического заимствования. Оба эти ме-

<sup>9</sup> Данный механизм заимствования следует отличать от примера позднейшего искажения заимствованного значения в среде монолингвов, как в случае слова *подобострастие* (словообразовательная калька греч. *ὀμοιοπαθία*), получившее современное значение в результате «семантической контаминации» с словами *пристрастный*, *пристрастие* [Виноградов 1999: 972]; значение «присутственное место» у слова *присутствие* (лат. *praesentia*) также возникло как результат контаминации со словом *присудок* [Алексеев 1990].

<sup>10</sup> Другие примеры: рус. *джин-тоник* и нем. *gin tonic* < англ. *gin-and-tonic*; фр. *footing* 'прогулка, пробежка' (ср. англ. *jogging*); нем. *handy* 'мобильный телефон' (ср. англ. *cell*, *mobile (phone)*). В некоторых случаях можно говорить о том, что неполные билингвы инициируют семантическое заимствование. Так, значения 'райская сладость, блаженство' и 'райский' у существительного *лицца* и прилагательного *пищынны*, соответственно, возникают в результате смешения греческих слов *τρεστή* и *τρεστής* [Срезн., II: 945—947]. Список окказионализмов такого рода см. в [Schumann 1958: 65].

ханизма предполагают сознательную работу по переводу понятий, цель которой — создание эквивалентов в языке-импортере. Прозелитический дух кирилло-мефодиевского проекта безусловно поощрял использование языкового материала, понятного вне группы греко-славянских билингвов, хотя последняя, надо полагать, была в Болгарии многочисленной. Эта установка предопределила и те механизмы, которые преобладали при освоении византийского понятийного аппарата в Древней Руси, где билингвов было намного меньше<sup>11</sup>.

Широкое использование калек, а не лексических заимствований, было вызвано стремлением ответственного за перевод текстов и понятий класса билингвов к понятности в сочетании с терминологической точностью, требовавшей покорнейшей передачи составных слов: калькирование оказывалось компромиссом между лексическим и семантическим заимствованием. Нужно отметить, однако, что пропагандя старославянских слов-калек в пределах общего языка в целом не имела успеха. Такие слова, как *человеколюбие*, *зловерие*, *многобожие*, *любомудрие* остались в пределах книжно-монашеского социолекта; некоторые из них в дальнейшей истории языка были частично замещены лексическими заимствованиями, опосредованными новоевропейскими языками (такими как *филантропия*, *политеизм*, *философия*); *зловерие*, калька с *κακοδοξία*, также служившая для перевода *αἰρεσις*, уступила лексическому заимствованию *ересь*. Успешность калек *православие*, *православный* определялась значимостью христианских институций, а не переносом понятия в другие области культуры, в которых в современном русском языке используются лексические заимствования *ортодоксия*, *ортодоксальный*, опосредованные западноевропейскими языками. Следует подчеркнуть неконкурентоспособность калек с греческого в русском литературном языке, что говорит о том, что они принадлежали книжному социолекту, но не общему языку.

Наиболее плодотворным в истории укоренения греческих понятий на восточнославянской почве оказался механизм семантического заимствования. Сама природа этого явления такова, что оно остается как бы в тени истории языка, в то время как лексические заимство-

---

<sup>11</sup> Значимость того, что для таких ключевых христианских понятий, как *душа*, *дух*, *рай*, *грех*, *закон*, использовались славянские слова, а не (лексические) заимствования, нередко отмечалась исследователями, ср., напр. [Weilier 1964: 147; Матхаузерова 1990: 86—87; Трубачев 1997: 37—42].

вания и, в меньшей степени, слова-кальки прямо заявляют о своем иноязычном происхождении<sup>12</sup>.

Следует также отметить, что семантическое заимствование конкретных существительных, как правило, приводит к омонимии: у слова появляется новое, самостоятельное значение, отличное от исходного; при семантическом же заимствовании абстрактных понятий, напротив, происходит скрещивание нового и старого значений, которое нередко ведет к подмену старого значения<sup>13</sup>. Так, фраза из Договора с греками 911 года, вынесенная в заглавие этой статьи, — «по закону языка нашего» [ПСРП, I: 37] — носителем современного русского языка понимается превратно («согласно принципу организации языка», а не «согласно обычаю народа») по двум причинам: слово *закон* изменило значение под влиянием греческого *νόμος* (пример семантического заимствования абстрактного существительного), а конкретное существительное *язык* в древнерусском употреблялось в значении 'народ' (вероятное семантическое заимствование лат. *lingua*). Однако лишь в первом случае импорт понятия привел к стиранию старого значения слова; во втором случае одно заимствованное значение слова *язык* сменилось другим (*язык* в значении 'речь').

## II

Представляется, что для того, чтобы проследить процесс семантического заимствования, необходимо в той или иной мере совмещать три метода: (1) анализ исходного значения на материале ранних текстов; (2) сопоставительный анализ словоупотребления в переводных текстах; (3) этимологический анализ славянского слова<sup>14</sup>.

<sup>12</sup> Так, в недавнем масштабном исследовании о заимствованиях лексем в языках мира кальки и семантические заимствования были исключены из рассмотрения [Haspelmath, Tadmor 2009: 14].

<sup>13</sup> Вайнрайх [Weinreich 1964: 49—50] проводит различие между омонимией (результат скачкообразного изменения значения) и полисемией (результат закономерного, постепенного изменения значения) как двумя возможными следствиями семантического заимствования. Следует отметить, впрочем, что он ограничивает употребление этих терминов сферой семантической интерференции между схожими по звучанию словами разных языков.

<sup>14</sup> Пожалуй, чрезмерный вес при извлечении семантического субстрата придается этимологии в первопреходческой работе [Копыленко 1973] (например, в анализе лексемы *слава*).

Хрестоматийный пример понятийного импорта из греческого в славянский — слово-понятие *свьѣсть*, которое обычно трактуется как словообразовательная калька с греческого *συνείδησις, συνειδός*<sup>15</sup>. Между тем поверхностного взгляда на распределение старославянских слов в ранних переводных текстах достаточно для того, чтобы предположить, что мы имеем дело с семантическим заимствованием. Слово *свьѣсть* на синхронном уровне соотносится с глаголами *свьѣдѣти*, который выступает как эквивалент греч. *γινώσκειν, εἶδέναι*, и *свьѣдѣтельствовати*, который соответствует греч. *μαρτυρεῖν*. О том, что существительное *свьѣсть* существовало независимо от греч. *συνείδησις*, говорит и то, что оно используется для перевода греч. *βουολα, διάλογα, γνώμη* ‘мысль, замысел, мнение’ и даже *μάρτυς* ‘свидетель’ [Прохоров 1973: 51; LLP. IV: 242]<sup>16</sup>. Исходное значение слова в древнеболгарском можно реконструировать как ‘актуальное знание, свидетельство’ (ср. [Срезн., III: 679]); значение же ‘совесть, сознание’ это слово приобретает в результате семантического заимствования. (В русский язык это слово, по-видимому, приходит из церковнославянского [Колесов 2004: 662—663].)

Другой пример семантического заимствования, которое легко принять за частичную кальку, — понятие *присвоение*: в словосочетании *присвоение к Богу* оно соответствует греческому устойчивому выражению *ἡ πρὸς θεὸν οἰκειώσις*. Процесс семантического заимствования можно проследить по переводным текстам: представление о присвоении святого к Богу мы находим и в оригинальных древнерусских текстах, в том числе в Житии Аввакума<sup>17</sup>. Следует подчеркнуть, что речь идет именно о восточнославянском импорте из греческого; в южнославянских диалектах при переводе греческого глагола *οἰκεῖω* и образованного от него существительного *οἰκειώσις* используются слова *оприсънити* и *оприсънение*. Широкое употребление слов *присвои-*

<sup>15</sup> [Прохорова 1973; Виноградова 1999: 842; Колесов 2004: 662—675]. Подробнее об истории этого понятия: [Маслов 2009: 209—210].

<sup>16</sup> Существует точка зрения, согласно которой распыленность соответствий, напротив, доказывает, что *свьѣсть* — новообразование [Колесов 2004: 664]. Следует, однако, обратить внимание на то, что аномальные греческие соответствия не случайны, но указывают на единое смысловое ядро.

<sup>17</sup> Первое употребление в Чтении о Борисе и Глебе (рук. XIV в.): «нѣ по мнозѣхъ лѣтѣхъ милосердова о своемъ создании, хотя я в послѣдняя дни присвоити къ своему божеству» [Абрамович 1916: 3]. У Аввакума: «Да что-петь делать? Пускай их, миленьких, мучат: небеснаго жениха достигнут. Всяко то бог их перспровадит век сей суетный, и присвоит к себе жених небесный в чертог свой, праведное солнце, свет, упование наше!» [Аввакум 1960: 96].

ти, присвоение в восточнославянских памятниках объясняется тем, что они уже существовали в языке. Так, *присвоение* употреблялось в значении *свойство* 'некровное родство'<sup>18</sup>. Освоение греческого понятия оказалось возможным благодаря наложению абстрактного заимствованного значения на исконное славянское. Стоит отметить, что древнерусское «присвоение к Богу» — это редкий случай выживания греческого понятия с очень глубокой предысторией: это христианское понятие восходит к ойкососу — центральному концепту стоической философии (см., напр. [Bees 2004]). С другой стороны, с точки зрения анализа древнерусской картины мира, это понятие тем интереснее, что, в отличие от понятия *совесть*, оно не сохранилось в русском языке Нового времени<sup>19</sup>.

История понятий *совесть* и *присвоение* подтверждает сформулированное выше положение, что при изучении импорта понятий из византийского в древнерусский основное внимание следует уделять не калькам, а семантическим заимствованиям. Иными словами, в древнерусском языке закреплялись преимущественно те греческие абстрактные понятия, которые можно было подстроить под значение того или иного древнерусского слова.

### III

Во многих случаях для обнаружения и уяснения семантического субстрата в словах, позднейшее значение которых целиком определяется греческим влиянием, данных словарей недостаточно. Для этого необходим детальный анализ ранних текстов, как оригинальных, так и переводных. Ниже приводятся четыре текста — это ранний срез Повести временных лет, который можно отнести к Начальному своду, а также переводы Хроники Георгия Амартола (не позже середины XI в. [Пичхадзе 2002: 232]), Жития Андрея Юродивого (не позже XII в. [Молдован 2000: 17]) и Истории иудейской войны Иосифа Флавия (не позже первой половины XIII в. [Пичхадзе, I: 8]). Все три перевода сделаны в Древней Руси, первый, вероятно, болгарин [Пичхадзе 2002]; во всех трех случаях существуют издания с греко-славянскими указателями [Истрин, I—III; Молдован 2000; Пичхадзе, I—II].

<sup>18</sup> [СлРЯ XI—XVII, 20: 9]. Ср. диалектное *присвой* (два варианта ударения) [СРНГ, 31: 378].

<sup>19</sup> О рецепции этого понятия в Новое время см.: [Brandt 2003; Forschner 2004; Маслов (в печати)].

Из двух понятий, о которых пойдет речь в последнем разделе статьи, одно — очевидный продукт импорта из византийского греческого, другое же в семантической стратификации, на первый взгляд, не нуждается.

Семантическая метаморфоза слова *законъ* очевидна и признается в литературе (напр. [Львов 1975: 189; Трубачев 1997: 38; Живов 2002: 216]); исходное значение этого слова — ‘нрав, обычай’, т. е. совокупность общепринятых культурных практик. Займствованное значение (значение греч. *νόμος*) — ‘правопорядок’, умозрительный моральный кодекс, связанный прежде всего с христианством; в этом значении в ранних переводах изредка использовалось лексическое заимствование *номось* [Срезн., II: 466]. В Повести временных лет можно найти примеры обоих этих значений. Более того, иногда это слово меняет значение в пределах одного предложения; такие места позволяют выявить те механизмы, которые использовали древнерусские книжники для того, чтобы привить заимствованное значение к славянскому слову. Иллюстративно с этой точки зрения известно описание Нестора славянских племен до христианизации<sup>20</sup>:

Имаху бо обычаи свои и законъ въ свой<sup>21</sup>, и преданъе кождо свои правъ. Полане бо свои<sup>22</sup> въѣобычаи имуть, кротокъ и тихъ

си же твораху обычаи Кривичи. [и] прочии погани . не вѣдуще закона Бжѣ . но твораще сами собѣ законъ. Глѣтѣ сѣхрѣи в лѣтописани . ибо комуждо языку . вѣѣмъ исписати законъ есть . другимъ же обычаи . зане [законъ] безаконникомъ штечьсѣмъ мнитсѣ [ἐν γὰρ ἐκαστῇ χῆρα καὶ εἰρησιν ἐν τοῖς μὲν ἑγγραφὸς νόμος ἐστίν, ἐν τοῖς δὲ ᾧ συνήθεια, νόμος γὰρ ἀνθρώποις τὰ πατέρα δοχεῖ.] ... во Врѣтани же мнози мужи ... безаконная [ακο] . законъ штець творахъ [καὶ τὸ παράνομον ὡς νόμον καλὸν καὶ πατρίων πράττουσιν]

В этом отрывке этнографическое описание славянских племен, каждое из которых обладает своим «закономъ», сменяется осуждением язычников, которые не ведают «закона божьего, но творят сами себе закон» — т. е. выстраивают свои культурные практики независимо от христианской морали<sup>21</sup>. Для того чтобы донести до читателей, что именно он предлагает понимать под словом *законъ*, Нестор

<sup>20</sup> Текст по: [ПСРЛ, I: 14 (Лавр.)]. Греческий текст Амартола (*Hamartolos* 38—39) приводится по изданию [de Boor 1904]; ср. [Истрин, I: 48—50].

<sup>21</sup> О проявлениях религиозного и этнического самосознания Нестора в этом пассаже см. [Живов 2002 (1988): 175—176].



использует две стратегии<sup>22</sup>. Во-первых, он приводит цитату из переводного текста, Хроники Амартола, в которой *законъ* выступает как соответствие греч. *νόμος*. Во-вторых, он закрепляет новое значение, используя словообразовательную кальку *беззаконие* (греч. *ἀνομία*). Оппозиция *законъ-беззаконие* лишена смысла, если под законом разумеют народные обычаи, следование которым не обязательно. Поэтому эта оппозиция и служит утверждению отвлеченного значения слова *законъ*. Это новое значение — ‘христианский миропорядок’ — здесь определяется через антоним *беззаконие* ‘нарушение христианского правопорядка’; последнее слово в древнерусском используется как синоним слова *грехъ*.

В практике переводчиков значения ‘обычай’ и ‘закон-правопорядок’ систематически разводятся, что служит ранее не существовавшей семантической дифференциации. Так, в Хронике Амартола такие слова, как *ἔθος* и *ἥθος*, передаются как *обычаи*, но не как *законъ*, в то время как такие слова, как *δόγμα*, *κανών*, *νομοθεσία*, переводятся только словом *законъ*.

Хроника Амартола:

*ἔθος* >> нравъ, обычаи;

*ἥθος* >> нравъ, обычаи (ср. *τρόπος*, *σχῆμα*);

*θεσμός* >> законъ, обычаи;

*νόμος* >> законъ, обычаи, уставъ;

законъ << *δόγμα*, *θεσμός*, *κανών*, *νομοθεσία*, *νόμος*.

Житие Андрея Юродивого:

законъ (18) << *νόμος*, *νόμιμος*, etc (17); *κανών* (1);

нравъ (4) << *ἥθος* etc.;

обычаи (30) << *ἔθος*, *ἥθος*, *συνήθεια*, *τὸ εἶωθός* etc.

Стоит отметить, что в византийском греческом слово *νόμος* полисемично и может передавать как отвлеченное понятие христианского закона, так и конкретное установление, в том числе обычаи варваров. Поэтому семантическое заимствование привело к появлению ново-

<sup>22</sup> Существенно, что в Повести временных лет, как правило, именно слово *законъ* (значительно реже — *вера*) передает значение ‘христианская религия’. Срезневский приводит ‘всра, правила ясры’ в качестве второго значения слова *законъ* [Срезн., I: 922]. О столкновении этого значения и значения ‘Ветхий Завет’ (в противопоставлении благодати Нового Завета) в ранних славянских текстах см. [Матхаузерова 1990].

го, дополнительного значения церковнославянского слова — ‘правопорядок’<sup>23</sup>. Ни греческий, ни церковнославянский не относятся к тем языкам, в которых противопоставление закона как конкретного установления и как сферы правоприменения лексикализировано, ср. лат. *lex* vs. *ius*, франц. *loi* vs. *droit*, рус. *закон* vs. *право* [Buck 1949: 1419—1422]. В древнерусском понятию *ius* соответствовало слово *правда*, но его применение было ограничено гражданским законодательством, которое в Древней Руси было отделено от канонического права [Живов 2002 (1988): 187—305]. В дальнейшем в русском языке слово *законъ* потеряло обобщенное значение ‘правопорядок’ (однако ср. *закон Божий*), что говорит о том, что это значение было церковнославянизмом, т. е. было ограничено специальным христианским языком. Современное значение этого слова — «отдельное легальное установление» (*lex*) — представляет собой результат параллельного семантического заимствования, первоначальным источником которого было то же греч. *νόμος* (в становлении этого значения в Новое время ключевую роль играли, несомненно, семантические аналоги из новосевероиславских языков)<sup>24</sup>.

Применительно к словам *мудръ*, *мудрость*, казалось бы, ничто не заставляет говорить о семантическом заимствовании. Но это только первое впечатление. В Повести временных лет есть примеры употребления этого корня по отношению к князьям-язычникам в значении ‘ловкий, сметливый’, далекое от значения этих слов в позднейшем языке, если не противоположное ему:

И възърастъю же ему, Игорю, и бысть храборъ и мудръ. И бысть у него воевода, именемъ Ольгъ, мужъ мудръ и храборъ. ... И пакы приведе себѣ жену отъ Плескова, именемъ Олгу, и бѣ мудра и смысла.  
[ПСРЛ, III: 107 (Новг. I. Комм. сн.)]

<sup>23</sup> Ср. [Unbegaun 1969 (1965): 316—317], который, впрочем, упускает из виду различие этих двух значений.

<sup>24</sup> Вопреки [Срезн., I: 923], неправомерным представляется выведение значения *lex* из соположения *κατά τὸ νόμον Χαζάρων ἱσοῦ καὶ ζάχαρον* «по хазарскому обычаю и *ζάχαρον*» (Const. Porph. De adm. imp. 38; ср. 8), где *ζάχαρον*, по всей видимости, представляет собой заимствование слав. *законъ* (ср. [Kreischmer 1905: 232]). У Константина Багрянородного *ζάχαρον* отсылает к конкретной ритуальной практике варваров (в одном случае речь идет о принесении клятвы, в другом — о положении в князья). Использование заимствования подчеркивает дистанцию, которая в глазах грека отделяла обладающий юридической силой *νόμος* от обрядовых действий, которым варвары приписывали символическое значение.

В более поздних частях Повести временных лет, как и обычно в древнерусских памятниках, мудрость — это прежде всего христианская добродетель; в один ряд с храбростью она не ставится. Очевидно, имело место семантическое заимствование, источником которого были греческие слова *σοφός* 'мудрый', *σοφία* 'мудрость'. О существовании у корня *мудр-* семантического субстрата говорит и то, что в переводах с греческого древнерусские переводчики предпочитали передавать *σοφός*, *σοφία* формами с усилительным префиксом *прѣ-*:

Хроника Амартола:

мудрь << *σοφός*;

прѣмудрь << *θεόσοφος*, *θεωρητικός*, *πάνσοφος*, *πολύστιος*, *σοφιστής*, *σοφός*, *φιλοσοφος* (прѣмудрость, помимо *σοφία* и пр., также передается *ἐξαπάτη* 'обман').

При этом *прѣмудр-* употребляется чаще, чем *мудр-* (ср. [Истрин. I: 139—149]: *прѣмудр-* 26 раз, *мудр-* ни разу).

Житие Андрея Юродивого:

прил. *мудрь* не засвидетельствовано;

сравн. степень *моудрѣи* (1) << *σοφώτερος*;

*прѣмудрь* (6) << *ὁ σοφός* 'мудрец' (4); *σοφώτατος* (2);

*прѣмудрыи* (2) << *ὁ σοφός* (2);

*мудрость* только в двух контекстах:

*смиренаа мудрость* (3) << *ταπεινοφροσύνη* 'смирение'

NB! въ *мудрости* (1) << *ἐν γρηγορήτητι* 'бодрствуя'

*прѣмудрость* (13) << *σοφία* (11).

Подтверждает гипотезу о дохристианской мудрости-ловкости то, что в Григоровичевом паримейнике — старославянском памятнике, предположительно относимом к «кирилло-мефодиевскому» пласту переводов, — а также в Истории иудейской войны слово *мудрь* используется для передачи греч. *δαίς* 'ловкий' и *πανουργός* 'хитроумный' ([I.I.P. II: 267]; в Истории иудейской войны *мудростию* также передает греч. *πανουργία* [Пичхадзе. II: 124]).

Однако ключевое значение для семантической реконструкции в данном случае имеет словоупотребление в Житии Андрея Юродивого. В этом переводе слово *мудрость* встречается лишь дважды, и оба раза налицо смысловая дистанция между исконным и заимствованным значением. Особенно обращает на себя внимание перевод греч. *ἐν γρηγορήτητι* 'бодрствуя' словосочетанием *въ мудро-*

сти<sup>25</sup>. Использование словосочетания *смиренаа мудрость* для передачи греч. *ταπεινοφροσύνη* ‘смирение’ засвидетельствовано уже в старославянских памятниках [LLP. II: 266] и аналогично кальке *цѣломѣдрѣнь сѡфрѡу, сѡфрѡуѡу* (*цѣломѣдрѣнь* < *сѡфрѡсѡύνη*) с обычным значением ‘сдержанный’. В обоих случаях значение корня *фрѡ(у)-*, очевидно, шире, чем понятие мудрости-софии<sup>26</sup>. Необходимо предположить существование иного, более емкого исходного значения у корня *мѣдр-*.

Итак, славянский семантический субстрат включает значения ‘бодрый, ловкий, сметливый’<sup>27</sup>. Подтверждают существование этого субстрата и данные родственных языков: в числе ближайших когнатов

<sup>25</sup> К этому месту имеются другие чтения: *бодрости* и *добрости* [Молдован 2000: 223; стр. 1313]. С точки зрения позднейшего значения слова *мудрость* они представляют собой очевидные *lectiones faciliores*. То, что исходное чтение именно — *въ мудрости*, подтверждается тем, что, как любезно сообщила мне А. А. Пичхадзе, согласно электронным базам данных отдела лингвистического источниковедения и истории русского языка ИРЯ РАН, ни в Житии Андрея Юродивого, ни в близкой к нему по словоупотреблению Александрии нет произвольных от *бѣдр-*; греч. *πρόθυμος* в этих текстах передается иначе. За консультации по этому вопросу благодарю А. А. Пичхадзе и А. М. Молдована.

<sup>26</sup> Шуман [Schumann 1958: 4] трактует *цѣломѣдрѣнь* иначе, как *Lehnliedzusatz* (примеч. 7); однако утверждение, что *мѣдрѣнь* «schon dem griech. *сѡфрѡу* ganz entspricht», представляется спорным.

<sup>27</sup> В свете словоупотребления в Повести временных лет (см. выше) можно предположить, что исходно *мудрость* отсылала к типично мужским качествам (ср. примеч. 29). Ю. В. Кагарлицкий [2010: 214] отмечает, что вхождение слов *мужество*, *мужски* в летописный язык происходит постепенно и, видимо, под влиянием греч. *ἀνδρεία*. Не была ли «мудрость» Игоря аналогом «мужества» его благоверных потомков? Если это так, речь идет не о простой лексической замене. *Мужество*, опосредованное греческой *ἀνδρεία*, — качество нравственное и потому более осознанное сравнительно с тем качеством, которое выражалось словом *мѣдръ* в реконструируемом нами значении. Как отмечает Кагарлицкий, *мужество* часто «стоит в одном ряду с такими словами, как *умъ*, *разумъ*, *смыслъ*» [Там же: 215], что является отражением греческого узуса: помимо соседства в списках традиционных основных добродетелей, *ἀνδρεία* и *σοφία* употреблялись в устойчивой связке начиная с Платона (Plato, Gorg. 492a2, 497e4 499a2, Menex. 248a4; Hyperides, Epit. col. 13.8; Cass. Dio 43.46.4, 52.8.4; у византийских авторов: Const. Porph. De Insidiis, 27.2; Sym. Logothetes, Chron. 75.5, 224.6; Anna Comn., Alex. 6.9, 8.6, 8.9; Nic. Chron. Hist. 559.21, Orat. 7 p. 54.32 van Dielen). Таким образом, несмотря на их внешнее сходство, выражения «мужествомъ и смысломъ прѣдъспѣа» (о Владимире) в Слове и законе и благодати и «Ольгъ, мужъ мѣдръ и храборъ» в Повести временных лет генеалогически и риторически разнородны. Иларион использует греческую дополняющую антитезу, ранний летописец — близкое к тавтологии соположение двух схожих по смыслу характеристик.

за пределами славянской языковой семьи — лит. *mandrus* ‘бодрый, гордый, самодовольный’, латв. *muodrs* ‘бодрый, живой’, др.-в.-нем. *muntar-* ‘живой, бодрый, ревностный, ловкий’, нсм. *munter* ‘бодрствующий, жизнерадостный’ [ЭССЯ, 20: 130—133]. В свете этих данных как архаизм, возможно, следует рассматривать и употребление слова *мудрый* в русских диалектах в значениях ‘хитрый, хитроумный, находчивый’: ‘хорошего качества’ (*не мудёр жених, не мудрая вещь*, т. е. неказистая [Даль, II: 930]); ‘капризный, плаксивый’, т. е. ‘беспокойный’ (о ребенке) [СРНГ, 18: 331]. Последние два значения естественно возводить к исходному значению ‘бодрый, витальный’ (ср. *утро вечера мудреней*)<sup>28</sup>.

Как показывают рассмотренные выше два примера, изучение семантических заимствований из греческого требует совмещения нескольких приемов анализа: (1) учет узуса переводных памятников; (2) обследование ранних памятников восточнославянской письменности, в которых могло сохраниться исконное значение; (3) привлечение этимологических, диалектных и сравнительных данных. История этих двух слов также позволяет провести границу между семантическими церковнославянизмами, которые оставались ограничены специальным христианским языком (такими, как *законъ* в значении ‘ius, правопорядок’), и заимствованными смыслами, которые полностью заместили старое значение слова в общем языке (как в случае слова *мудрость*).

## ЛИТЕРАТУРА

- Абрамович 1916 — Жития святых мучеников Бориса и Глеба и службы им / Под ред. Д. И. Абрамовича. П.: Тип. имп. АН, 1916.  
 Аввакум 1960 — Житие протопопа Аввакума, им самим написанное, и другие его сочинения / Под ред. П. К. Гудзия. М.: Гослитиздат, 1960.  
 Алексеев 1990 — Алексеев А. А. Словообразовательная и семантическая структура слова *присутствие* // Развитие словарного состава русского языка XVIII века (Вопросы словообразования). Л.: Наука, 1990. С. 48—57.

<sup>28</sup> В этом контексте правдоподобным выглядит и следующее предположение Якобсона из его маргиналий к словарю Фасмера [Jakobson, II: 635]: «*nūdrys* ‘wise’ seems to be cognate with *mūdē* ‘testicles’: primitive belief regarded the latter as the seat of virility, which underlies boldness and wisdom».

- Биржакова и др. 1972 — *Биржакова Е. Э., Войнова Л. А., Кутина Л. Л.* Очерки по исторической лексикологии русского языка XVIII века. Языковые контакты и заимствования. Л.: Паука, 1972.
- Виноградов 1999 — *Виноградов В. В.* История слов. М.: ИРЯ, 1999.
- Даль, I—IV — *Даль В.* Толковый словарь живого великорусского языка / Под ред. И. А. Бодуэна де Куртенэ. Т. I—IV. М.: Цитадель, 1998.
- Истрин, I—III — *Истрин В. М.* (ред.). Книги временныя и образныя Георгия Минха. Хроника Георгия Амартола в древнем славянорусском переводе. Т. I—III. П.; Л.: РАН, 1920—1930.
- Живов 2002 — *Живов В. М.* Разыскания в области истории и предистории русской культуры. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Живов 2009 — *Живов В. М.* (ред.). Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. М.: Языки славянской культуры, 2009.
- Зализняк и др. 2005 — *Зализняк А. А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.* Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005.
- Кагарлицкий 2010 — *Кагарлицкий Ю. В.* Мужество как историко-семантическая и историко-культурная проблема // Именослов: История языка, история культуры: Труды Центра славяно-германских исследований / Отв. ред. Ф. Б. Успенский. СПб.: Алетейя, 2010. С. 206—227.
- Колесов 2004 — *Колесов В. В.* Слово и дело: Из истории русских слов. СПб.: Изд-во СПбГУ, 2004.
- Копыленко 1973 — *Копыленко М. М.* Кальки греческого происхождения в языке древнерусской письменности // ВВ. Т. 34, 1973. С. 141—150.
- Львов 1975 — *Львов А. С.* Лексика «Повести временных лет». М.: Наука, 1975.
- Маслов 2009 — *Маслов Б. П.* От долгов христианина к гражданскому долгу (очерк истории концептуальной метафоры) // *Живов В. М.* (ред.). Очерки исторической семантики русского языка раннего Нового времени. М.: Языки славянской культуры, 2009. С. 201—270.
- Маслов (в печати) — *Maslov B. Prisvoenie k Bogu: The afterlife of a Stoic concept in Old Rus'* // Translation and Tradition in Slavia Orthodoxa. (Proceedings of a conference held at Columbia University, September 27—28, 2008).
- Матхаузерова 1990 — *Матхаузерова С.* «Слово о законе и благодати» Илариона и древнеславянская традиция // Контекст-90. М.: Наука, 1990. С. 84—88.
- Молдован 2000 — *Молдован А. М.* (ред.). Житие Андрея Юродивого в славянской письменности. М.: Азбуковник, 2000.

- Пичхадзе, I—II — *Пичхадзе А. А. и др.* (ред.). История иудейской войны. Древнерусский перевод. Т. I—II. М.: Языки славянской культуры, 2004.
- Пичхадзе 2002 — *Пичхадзе А. А.* О происхождении славянского перевода Хроники Георгия Амартола // Лингвистическое источниковедение и история русского языка — 2001. М.: Древлехранилище. 2002. С. 232—249.
- Прохоров 1973 — *Прохоров Г. М.* Староруската дума *съвесть* и съвременните руски думы *совесть* и *сознание* // Език и литература. 1973. Кн. 4. С. 45—53.
- ПСРЛ — Полное собрание русских летописей, издаваемое Археографическою комиссиею. Т. I—29. СПб.: М., 1841—1994.
- СлРЯ XI—XVII — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1—28. М.: Наука, 1975—2008—.
- Срезн., I—III — *И. И. Срезневский.* Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам. Т. I—III. СПб., 1893—1912.
- СРНГ, 1—41 — Словарь русских народных говоров. Вып. 1—41. Л.; СПб.: Наука, 1965—2007—.
- Трубачев 1997 — *Трубачев О. Н.* В поисках единства: взгляд филолога на проблему истоков Руси. М.: Наука, 1997.
- Успенский 2002 — *Успенский Б. А.* История русского литературного языка. 3-е изд., доп. М.: Аспект Пресс, 2002.
- ЭССЯ, 1—34 — Этимологический словарь славянских языков. Вып. 1—34. М.: Наука, 1974—2008—.
- Bees 2004 — *Bees R.* Die Oikeiosislehre der Stoa. Vol. 1: Rekonstruktion ihres Inhalts. Würzburg: Königshausen & Neumann, 2004.
- Brandt 2003 — *Brandt R.* Selbstbewusstsein und Selbstsorge. Zur Tradition der *oikeiōsis* in der Neuzeit // Archiv für Geschichte der Philosophie 85. 2003. S. 179—197.
- Buck 1949 — *Buck C. D.* A Dictionary of Selected Synonyms in the Principal Indo-European Languages. Chicago: Chicago Univ. Press, 1949.
- Croft 2000 — *Croft W.* Explaining Language Change: An Evolutionary Approach. Harlow: Longman, 2000.
- de Boor 1904 — *de Boor C.* (ed.). Georgii monachi chronicon. 2 vols. Leipzig: Teubner, 1904.
- Forschner 2004 — *Forschner M.* Stoische Oikeiosislehre und mittelalterliche Theorie des Gewissens // Was ist das für den Menschen Gute? Menschliche Natur und Güterlehre. Berlin: Walter de Gruyter, 2004. S. 126—150.
- Fritz 2006 — *Fritz G.* Historische Semantik. 2. Aufl. Stuttgart: J. B. Metzler, 2006.

- Haspelmath, Tadmor 2009 — *Haspelmath M., Tadmor U.* Loanwords in the world's languages: a comparative handbook. Berlin: De Gruyter, 2009. Также: <http://wold.livingsources.org>.
- Jakobson, I—VIII — *Jakobson R.* Selected Writings. Vol. I—VIII. The Hague: Mouton, 1964—1988.
- Keipert 1971 — *Keipert H.* Russ. *zdravstvuj(te)* // WdSl. Bd. 16. 1971. S. 377—382.
- Kretschmer 1905 — *Kretschmer P.* Die slavische Vertretung von indogerman. *o* // Archiv für slavische Philologie. Bd. 27. 1905. S. 228—240.
- I.L.P — *Slovník jazyka staroslověnského. Lexicon linguae palaeoslovenicae.* I—IV. Praha: Nakl. Československé akademie věd, 1958—. (Перевзд. в 4 т.: СПб., 2006.)
- Meillet 1958 — *Meillet A.* Comment les mots changent de sens // *Meillet A.* Linguistique historique et linguistique générale. Vol. 1. Paris, 1958. P. 230—271. (Перв. выд. в L'Année sociologique 1905—1906.)
- Psaltis 1913 — *Psaltis S. B.* Grammatik der byzantinischen Chroniken. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1913.
- Schumann 1958 — *Schumann K.* Die griechischen Lehnbildungen und Lehnbedeutungen im Altbulgarischen. [Veröffentlichungen der Abteilung für slavische Sprachen und Literaturen des Osteuropa-Institut (Slavisches Seminar) an der Freien Universität Berlin. B. 16.] Weisbaden: Otto Harrassowitz, 1958.
- Thiergen 2006 — Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit: Beiträge zu einem Forschungsdesiderat / Hrsg. von *P. Thiergen*. Köln: Böhlau, 2006.
- Thomason 2001 — *Thomason S. G.* Language Contact: An Introduction. Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2001.
- Unbegaun 1969 — *Unbegaun B. O.* Selected papers on Russian and Slavonic philology. Oxford: Clarendon Press, 1969.
- Weier 1964 — *Weier E.* Studien zur philosophischen Terminologie des Kirchenslavischen // *Die Welt der Slaven*. B. 9. 1964. S. 147—175.
- Weinreich 1964 — *Weinreich U.* Languages in contact: Findings and problems. 3<sup>rd</sup> printing. The Hague: Mouton, 1964. (Рус. пер.: *Вайнрайх У.* Языковые контакты. Киев: Вища школа, 1979.)



## К СЕМАНТИЧЕСКОЙ ИСТОРИИ СЛАВ. \*MIRŮ И \*SVĚTŮ\*

Памяти В. И. Топорова

В словарях славянских языков каждое из названных в заглавии слов обычно разделяется на два омонима: \*mirŮ—1 'рах' и \*mirŮ—2 'mundus', \*svĕtŮ—1 'lux' и \*svĕtŮ—2 'mundus'<sup>1</sup>. Между тем этимологи в большинстве случаев рассматривают их как единые по происхождению слова, разные значения которых связаны отношением семантической деривации. Направление деривации в обоих случаях определяется в пользу вторичности значения 'mundus'. Для \*mirŮ это выводится прежде всего из факта распространенности слова в значении 'рах' и его дериватов с этим значением во всех славянских языках и диалектах при ограниченности свидетельств о \*mirŮ 'mundus' (старославянский, церковнославянский, русский и под их влиянием маргинально другие языки). Для \*svĕtŮ картина иная и, можно сказать, обратная, так как значение 'mundus' известно всем славянским языкам, а значение 'lux' в большинстве языков выражается дериватами этого слова или другими лексемами (ср. укр. *світло*, пол. *światło*, чеш. *světlo*, *svit*<sup>2</sup>, болг. *светлина*, бляск, с.-х. *светлост*, словен. *svetloba*, *svit*); самому слову \*svĕtŮ значение 'lux' в полной мере присуще только в старославянском, церковнославянском и русском, тогда как в других языках оно известно лишь как архаизм. При этом его непосредственный глагольный дериват \*svĕtiti 'светить, излучать свет' (так же как и адъективный дериват \*svĕtŭ 'светлый, излучающий свет' и их

---

\* Первая версия статьи опубликована в Сербии, см. [Толстая 2010].

<sup>1</sup> Определения 'рах', 'mundus' и 'lux' здесь и далее носят условный характер: за каждым из них скрывается целый спектр разных значений, о которых речь пойдет ниже.

<sup>2</sup> Об этимологическом родстве \*svĕt- и \*svit-, связанных отношением чередования, см.: [Фасмер, 3: 576; Machek 1971: 597; Borys 2005: 624] и др.

дальнейшие дериваты) распространен повсеместно, что указывает на исконность номинации света (\**lux*\*) посредством \**svěť* и вторичность его обозначений суффиксальными дериватами; эту замену обозначения света (\**lux*\*) скорее всего следует связывать с возобладавшим в этих языках у \**svěť* значением \**mundus*\*.

Таким образом, понятие «окружающий мир, *mundus*» при всей его очевидной культурной значимости не имеет в славянских языках особого лексического выражения и обозначается опосредованно через понятия «мир, согласие, покой, лад», с одной стороны, и «свет», с другой<sup>3</sup>. Мотивационные признаки, лежащие в основе этих обозначений мира, не были полностью стертые; семантическая связь с «омонимами» \**mirъ* \**рах*\* и \**svěť* \**lux*\* в некоторых контекстах и употреблении остается ощутимой. Так, например, рус. *мир* \**mundus*\* благодаря значению *мир* \**социум, крестьянская община*\* (ср. «С миру по нитке — голому рубаха»)<sup>4</sup> сохраняет семантику \**рах*\* и связь с идеей мира как согласия, соглашения, общественного договора, а выражения типа рус. *увидеть свет, появиться на свет, наречься на белый свет, на свет выйти* \**родиться*\*; *белый свет* \**мир*\*; слб. *белый свет потерять* \**умереть*\* [ФСРС: 149], перм. *белый свет покончить* \**то же*\* [СПГ 2: 146] и т. п. сохраняют очевидную связь с визуальным (световым) образом мира.

Два языковых знака — \**mirъ* и \**svěť*, каждый со своей семантической предысторией (соответственно — \**рах*\* и \**lux*\*), составили своего рода тандем, объединившись в общем смысловом пространстве \**mundus*\* и взаимодействуя в нем на правах синонимов. Семантический параллелизм этих знаков обнаруживает себя во множестве контекстов и номинационных ситуаций, а также в общности стоящих

<sup>3</sup> Вторичность, мотивированность обозначения окружающего мира характерна и для других языков: так, др.-греч. *κόσμος* мотивировано понятием устроенности, организованности, порядка (ср. пол. *wszelchad* \**mundus*\* — [SW 7: 768]), лат. *mundus* — понятием чистоты, прибранности и т. п., рум. *lume* \**мир, mundus*\* восходит к лат. *lumen* \**свет, lux*\*, др.-инд. название мира *loka* происходит от и.-с. глагола \**leyk-* со значением \**светить*\* и т. п.

<sup>4</sup> Выражение «Миром Господу помолимся», исконно подразумевавшее значение *мир* \**рах*\*, со временем изменило значение на \**сообщество, люди*\*: «Известное возгласие дьякона или священника “Миром Господу помолимся” естественно воспринимается как обращение к “миру”, т. е. к молящемуся обществу. Но из соответствующего греческого источника видно, что слово “мир” должно было бы означать (и первоначально означало) здесь не “общество людей”, а “согласие, любовь”. Ср. греч. ἐν εἰρήνῃ τοῦ Κυρίου βοηθούμεν» [Успенский 1969: 161] со ссылкой на [Голубинский 1906: 124].

за ними культурных представлений. Однако объединяющее эти слова значение 'mundus' занимает в их семантических спектрах разное место, имеет разное происхождение (разную мотивацию) и разное соотношение с другими значениями (в том числе и общими для обоих слов). Если для \**svěť* значения 'lux' и 'mundus' можно с уверенностью считать праславянскими, а семантическая связь между ними представляется прозрачной и когнитивно и культурно обусловленной (мир как свет жизни в противоположность тьме смерти), то связь между 'рах' и 'mundus' в семантическом отношении не столь очевидна.

По мнению некоторых этимологов, собственно славянским, исконным обозначением для 'mundus' служила лексема \**svěť*, тогда как \**mirъ* в значении 'mundus' является старославянской калькой греческого *κόσμος*, что хорошо согласуется с географией и узусом славянского слова в этом значении<sup>5</sup>. Выбор книжниками именно этого славянского слова, лишь частично пересекающегося в своем семантическом спектре с греческим *κόσμος* (как и латинским *mundus*)<sup>6</sup>, можно считать актом особой культурной значимости для славян<sup>7</sup>. Славянская лексема \**mir-*, получившая уже в дописьменное время богатое семантическое наполнение и яркие социально-идеологические и культурные коннотации, о которых писал В. Н. Топоров [Топоров 1987; 1989; 1993], привнесла в концепт «окружающий мир» новые смыслы, существенно расширяющие и углубляющие семантическое пространство, стоящее за греческим словом. Если греческий *κόσμος* понимался прежде всего как организованное, упорядоченное, структурирован-

<sup>5</sup> Именно так трактовал слав. \**mirъ* 'mundus' Ф. Миклошич [Miklosich 1886: 197], между тем как другие этимологи считают это значение праславянским [ОССЯ, 19: 55—57]. Ср. еще замечание загребского словаря о *mir* 'mundus': «Это слово никогда в нашем языке не было народным, оно взято из церковнославянского языка» [RIISJ, 6: 732].

<sup>6</sup> Ср. др.-греч. *κόσμος* 'упорядоченность, порядок', 'строение, устройство', 'мировой порядок, мироздание, мир', 'люди, народ', 'украшение, честь, слава' и т. п. [Дворецкий, 1: 974]; лат. *mundus* 'убор, наряд, туалет', 'оборудование, оружие', 'мироздание, вселенная, мир', 'земля, люди, человечество', 'подземный мир, преисподняя' и др. [Дворецкий 1976: 654].

<sup>7</sup> Ср. «Главный вклад славянского переводчика — бесспорно сознательный и не от бедности языка и ограниченности языковой фантазии зависящий — состоял в кодировании одним (и именно одним) словом двух разных греческих слов — *κόσμος* и *εἶρηνη*. слав. \**mir-* скрепило два понятия, разведенные греческим языком, как бы восстановив глубинную связь мира как порядка Вселенной и объекта, этот порядок воплощающего, с одной стороны, и мира как наиболее глубоко укорененного состояния мира-Вселенной» [Топоров 1993: 17].

ное всеобъемлющее целое, внешнее по отношению к человеку, то славянский \**mirъ* подключил к этому внешнему целому человеческое измерение, параметр человеческих отношений и социальной организации.

Этот социокультурный и антропоцентрический аспект славянского слова \**mirъ*, обеспечивший ему ключевую роль в славянской культуре, который обязан, по мнению В. Н. Топорова, влиянию иранской культурной модели и является результатом древнейших славяно-иранских языковых и культурных контактов, возник и оформился, по-видимому, еще в рамках собственно славянского \**mirъ-1* 'рах', подразумевавшего не только физическую тишину, покой, неподвижность, но и согласие, лад, взаимопонимание, договор между людьми. В. Н. Топоров исходил из первичности значения 'рах' по отношению к 'mundus', при этом он считал \**mirъ* в значении 'mundus' праславянским:

Лат. *mundus* как эквивалент слав. \**mirъ* также отсылает скорее к состоянию, к свойству мира, чем к самому миру как таковому, конкретно к некоему «очищенному» (букв. — «умытому») статусу мира. В этом контексте и праслав. \**mir-* 'mundus' мог означать нечто примиренное, успокоенное, приведенное к согласию, лишь позже из характеристики мира превратившееся в обозначение самого мира. Если это так, то славянское понимание мира в зеркале языка заслуживает особого внимания: как и др.-греч. *κόσμος*, оно свидетельствует о выборе в качестве смысловой доминанты-мотивировки интенсивного признака [Топоров 1993: 17]<sup>8</sup>.

<sup>8</sup> В цитируемой работе В. Н. Топорова, посвященной славянским личным именам с элементом \**mir-*, которые он считал «одним из основных свидетельств антропоцентричности понятия "мира" в представлении древних славян» (с. 7), не ставится вопрос о том, какова семантическая модель этих имен и какое именно значение имеет в них элемент \**mir-* — 'рах' или 'mundus' (так же как не уточняется хронология их появления, хотя и оговаривается, что среди них есть явно поздние образования, которые тем не менее воспроизводят древнюю антропонимическую модель). В структурном отношении среди этих сложных имен преобладают образования с постпозицией элемента \**mir-*, которому могут предшествовать именные (субстантивные и адъективные) основы с соединительным элементом -*o/e-* (ср. *L'udomirъ*, *Tatomirъ*, *Vidomirъ*, *Straxomirъ*, *Žitomirъ* и — *Jaromirъ*, *L'ubomirъ*, *Skoromirъ*, *Světomirъ* и т. п.), глагольные морфемы как в виде чистой инфинитивной основы (типа *Xodimirъ*, *Xotimirъ*, *Kazimirъ*, *Nosimirъ*, *Pribymirъ*, *Stamirъ*, *Načimirъ*), так и в виде императивной основы, не совпадающей с инфинитивной (типа *Xotimirъ*, *Rъvimirъ*, *Stanimirъ*, *Ždimirъ*), наконец, элементу \**mir-* может предшествовать наречная или предложная морфема (*Kromimirъ*, *Uzemirъ*, *Bezmirъ*, *Nemirъ*, *Zamirъ* и т. п.). Менее распространенные имена с препозицией

О. Н. Трубачев, оспаривая мнение В. Н. Топорова об иранских истоках слав. *\*mirъ* 'mundus', тем не менее также считает это значение вторичным, семантически производным от 'рах':

Значения 'весь свет', 'общество' элементарно производны от 'согласие, полюбивший союз, дружба'. Переходное звено красноречиво представлено семантикой рус. *мир* — '(сельская) община', на народность которого специально указывал Р. Брандт (РФВ XXII, 1889, 257), который критикует Миклошича за готовность признать значение 'мир, Welt' исключительно за церк.-слав., не видя его истоков [ЭССЯ 19: 56].

Однако очевидно, что подобная семантическая реконструкция убедительна и «элементарна» только в отношении деривации 'рах' → 'socium' (ср. с.-х. *друштво* 'общество', словен. *družba* 'то же'), такое развитие как раз и усматривается в истории славянского *\*mir-<sup>9</sup>*. Что

элемента *\*mir-* во всех случаях содержат в качестве второго элемента именную основу (*Mirogněvъ*, *Miroslavъ*, *Miralъ* и т. п.), присоединяемую, как правило, посредством соединительного *-o-*. Что же касается семантической структуры этих сложных имен, то, учитывая продуктивность данного типа сложений, благодаря чему элемент *\*mir-*, особенно если он находится в постпозиции, может терять свою семантическую отчетливость и превращаться практически в словообразовательный формант, о ней с уверенностью говорить трудно, тем не менее можно предполагать, что в подавляющем числе случаев этот элемент имел скорее общее значение 'рах', чем значение 'mundus', о чем может свидетельствовать как семантика участвующих в сложении глаголов ('хотеть', 'хранить', 'устанавливать', 'разрушать, ломать' и т. д.), так и сочетаемость слов (ср. *мир* и *тишина* и *\*Tixomirъ*) и фразеология (ср. *устанавливать мир* и *\*Stanimirъ*; *завоевать мир* и *\*Ratimirъ*; *разрушить, сокрушить, разорвать мир* и *\*Lomimirъ*, *\*Krusimirъ*, *\*Rъvimirъ*).

<sup>9</sup> Одно из звеньев этой истории представляет *\*mir-* в матримониальном значении: кашуб. устар. *miŕa* 'жених', *miŕota* 'невеста' [Syche, 2: 171; Karłowicz, 3: 166], ст.-пол. *mir* 'брак, клятва верности, обещание, договор': «Raz się małżeńskim związawszy mirem, po zgubie męża (wym byłam jasyrem» (Связав себя однажды брачным миром, потеряв мужа, я твоим была пленником) [SW, 2: 996], объясняемые через связь с глаголом *\*miriti* в значении 'достигать соглашения, договариваться', ср. рус. смол. *миритъ о браке* 'договариваться (с полом) о браке' [СРПГ, 18: 171], *миритъ попа* 'договариваться с попом о совершении обряда': «Кыда заручины здельны, едим пыпа миритъ», *миритъся* 'венчаться' [ССГ, 6: 100], сиб. *миритъся* 'договариваться о предстоящей свадьбе, о размере приданого': «Нас вот сватают и мирятся» [СРГС, 2: 278], олонек. *смирена свадобка* [СРПГ, 39: 17]; ст.-пол. *mirzъ* 'миритъ, соединять' [SSp, 4: 285]; словац. *mierit* 'соединять, сближать (кого-л. с кем-л.)' [SSJ, 2: 142; IJSSJ, 2: 296]. См. также [Варбот 1981; Топоров 1993: 7; SEK, 3: 299]. Любопытный пример матримониального значения у *\*mir-* засвидетельствован в польском диалекте Вармин: *światować* 'жить в браке':

же касается значения 'mundus', то оно, строго говоря, не выводится непосредственно ни из значения 'рах', ни из значения 'socium'<sup>10</sup>. Для появления такого значения необходим какой-то дополнительный импульс, каковым в случае слав. \**mirŭ* мог послужить греч. *κόσμος*. С другой стороны, аналогичное сочетание значений 'socium' & 'mundus' демонстрирует слав. \**svĕtŭ* (см. ниже), семантический спектр которого вообще не включает значения 'рах'<sup>11</sup>. Следовательно, значение 'mundus' имеет здесь иное происхождение, не связанное с «человеческим» понятием мира, согласия ('рах').

Ключевым звеном семантической реконструкции обоих слов оказывается, таким образом, «антропологическое» понятие «люди, общество», представленное в спектре значений как \**mirŭ*, так и \**svĕtŭ*. Внимательный анализ типичных контекстов обнаруживает, однако, что понятие «социум» неоднородно, оно распадается на два семантически (мотивационно) различных понятия, которые можно определить как инклюзивное («общество, сообщество») и эксклюзивное («люди»). В семантическом спектре \**mir-* представлены оба этих значения, и только первое из них (инклюзивное) может быть признано дериватом первичного значения 'рах' (но оно не связано со значением 'mundus'). Рус. *мир* 'крестьянская община' подразумевает включенность субъекта номинации в состав этой общины (в понятие «мы»); сюда же могут быть отнесены выражения типа рус. *всем миром* 'сообща', укр. *усім миром* 'то же', ср. также рус. *мирская изба* (для общественных сходок), *мирские подводы* (для общественной или казенной надобности), *мирской бык* 'общественный бык-производитель', *мирское имущество* (общественное), *мирищина* 'общая работа в деревне' и т. п. [СРНГ, 18: 174—175].

Эксклюзивное значение демонстрируют контексты, в которых *мир* означает 'люди', причем субъект номинации не относится к ним, это «другие люди», «они», ср. ю.-рус. «Миру-то там было!»; *мирный* 'многолюдный': «Кто-то мирный (т. е. имеющий большую семью. — С. Т.), дома миру полно, им пособляли», *мирской хлеб* (собранный у людей

«*Uoni pšes caye žiće dobře ze sobù šfatovali*) (Они всю жизнь прекрасно прожили друг с другом) [Steffen 1984: 164].

<sup>10</sup> Ср. мнение авторов загребского словаря о трудности установления связи между 'рах' и 'mundus': «Трудно найти связь между этими значениями» [RIISJ, 6: 732].

<sup>11</sup> Типологической параллелью к сочетанию значений 'socium' & 'mundus' в рамках одного слова могут служить и приведенные выше значения др.-греч. *κόσμος* и лат. *mundus* (см. сноску 6).

нищими или священниками). *мирские кусочки* 'милостыня', ряз. *мирской ребенок* 'незаконнорожденный' [СРНГ, 18: 170—174]; укр. *мир* 'люди': «Двері хатні навстіж стояли: одходило й приходило до хати миру — хто хотів» [СУМ, 4: 712]; *на миру* 'среди людей, на людях'; «З миру по нитці збирати» [ФСУМ, 1: 488]. бел. диал. тур. «Увесь мір ішоу по воду до того тур-колодзся» [ТС, 3: 82]; голсл. «Столькі міру сабралася, як мураўя» [Янкова 1982: 194]. Это же эксклюзивное значение отмечается у слова и понятия «люди» [Березович 2007].

Показательно, что у *\*svět-* представлено преимущественно эксклюзивное значение, ср. рус. *свет* 'люди': «На весь свет не угодишь»; «Всему свету ведомо» и т. п.; бел. *свет* 'то же': «На увесь свет бульбы не паскобілі», «На увесь свет палатна не паткелі» [Юрчанка 2002, s.v. свет]; пол. *świat* 'люди': «Wszystko świat plecie na tym mizernym świecie» (Всякое люди плетут на этом ничтожном свете) [SW, 6: 768]; чеш. *svět* 'люди, сообщество людей', *mlady svět* 'молодые люди, молодежь', *hlasat, vytrubovac do světa* 'раструбить всему свету' [SSJČ, 3: 626]; морав. *svět* 'люди': «Světa bylo pl' ná izba» (Народу было — полная изба) [Bartoš 1906]; словац. *svet* 'люди, люд', *robotný svet* 'рабочий люд' [SSJ, 4: 360]; диал. «Ag bi si mu to povolił, svet bi te vismál» (Если бы ты это ему позволил, люди бы тебя высмеяли) [Orlovský 1982: 321]; ст.-словац. «Tak Bůh miloval svet ze sina sweho gednorodzeného widab» (Так Бог любил людей, что даже сына своего единственного отдал) [HSSJ, 5: 576]; болг. *свят* собир. 'люди, человечество' [РСБ-КЕ, 3: 175], «От една река венчки свят вода пие» (Из одной реки все люди воду пьют), «Оралю и мотика хранят света» (Плуг и мотыга кормят людей), *хубав свет* 'хорошие люди' [Геров, 5: 142]; с.-х. *svijet* 'люди': «Бјеше ли много свијета код намастира?» (Много ли народу было в монастыре?) [Карацић 1852: 670]; «Милош је умео са светом» (Милош умел ладить с людьми) [РСХКЈ, 5: 677]; словен. *svet* 'люди', *ženski svet* 'женщины' [SSKJ, 4: 1021]. Именно это эксклюзивное значение связывает как *\*svět-*, так и *\*mir-* со значением 'mundus' как своим источником.

Семантический спектр обоих слов в значении 'mundus' отчетливо распадается на два смысловых блока. К первому, исходному (условно — топографическому), относятся значения 'окружающий (земной) мир'<sup>12</sup> с особым обозначением космоса, вселенной

<sup>12</sup> Пространственный образ *мира* и *света* не одинаков: первый мыслится объемно (ср. рус. *в мире, в мир, из мира*), второй — скорее как плоскость (*на свете, со света, по свету*).

(ст.-слав. *вьсь миръ*, рус. калька с греч. *вселенная*, бел. *сусвет*, пол. *wszystświat*, чеш. *vesmír*<sup>13</sup>, устар. *svĕtamír*, ст.-чеш. *vesvěi*, *veš svĕt*; словац. *vesmír*, *celý svet*, устар. *všehomír*, ст.-словац. *všechsvet*, в.-луж. *swĕtstwo*, *swĕtniśco*, болг. *всесвет*, *вселена*, поэт. *всемир*; с.-х. *свемир*, *васнона*, словен. *vesolje*, *vsemirje*), с различением мира жизни (ст.-слав. *съ миръ*, *съ свѣтъ*, рус. *этот мир*, *здешний мир*, *этот свет*, бел. *гэты свет*, пол. *ten świat*, чеш. *tento svĕt*, болг. *този свят*, с.-х. *овај свет* и т. д.) и мира смерти (ст.-слав. *онъ свѣтъ*, рус. *тот свет*, *иной мир*, *потусторонний мир*, *загробный мир*, укр. *інший мир*, бел. *той свет*, пол. *zaświaty*, чеш. *onen svĕt*, болг. *онзи свят*, с.-х. *онај свет* и т. д.), в чем явно прослеживается «человеческий фактор» (человеческая точка зрения). Второй блок значений относится к «содержимому» мирового (точнее — земного) пространства, к тому, чем этот мир заполнен; в силу антропоцентричности картины мира это прежде всего люди, человечество (с дальнейшей спецификацией и детализацией<sup>14</sup>), затем природные «сферы» жизни, концептуализируемые на языке пространства (ср. *растительный мир*, *животный мир*, *подводный мир*); вторично так же могут обозначаться артефакты и абстрактные сущности (ср. *мир книг*, *мир приключений*, *внутренний мир* и т. п.).

Кардинальной идеей, объединяющей оба блока, является в не-положенность мира по отношению к человеку как субъекту восприятия и языковой номинации (ср. выражения *окружающий мир*, *внешний мир*). Эта идея лежит в основе и пространственных (топографических), и антропологических, социальных значений обоих слов. В первом случае она порождает (особенно отчетливо в гнезде \**svĕt*-) такие значения, как 'другие, чужие места': «Вот в Ленинграде-та фсяво многа, а здесь — если с миру ня привозют, так ня видишь ни памидор, ни арбузаф» [ПОС, 18: 240], 'далекий, далеко': рус. диал. *ехать в такой свет* (т. е. далеко) [СРНГ, 36: 254]; укр. у *світах* 'не дома, в мире' [Гринченко, 4: 108], *світота* 'дальняя сторона' [ЕСУМ, 5: 197], бел. *за свет*, *за бліскі свет*, *за светам* 'очень далеко', *з-за свету*, *з усяго свету* 'издалека' [ТСБМ, 5: 87], *за свет вочы* 'очень далеко' [Ленчаў, 2: 372], *са свету* 'издалека, из чужих краев': «Прывязжау Тарасёнак са свету», «Прывязла новага зяця са свету», *паехаць у свет*

<sup>13</sup> Считается русизмом [Rejzek 2001: 707].

<sup>14</sup> Ср. рус. *театральный мир*, *писательский мир*; *католический мир*; словац. *robotný svet* 'трудолюбивый, рабочий люд', *mladý svet* 'молодежь, молодые люди'; болг. *образован свят*, *музикален свят* и т. п.



‘уехать из дома, поехать в чужие края’ [Юрчанка 2002, s.v. свет], пол. диал. *świat* ‘далеко’: «To je świat», чеш. *svět* ‘чужие, дальние края’ [SSJČ, 3: 626], морав. *svět* ‘cizina, дальние края’: «Byl kolik let ve světě» (Было сколько лет в дальних краях); «Do školy sem nemoh chodit’ — ioliké světy = tak daleko» (В школу не мог ходить — слишком далеко) [Bartoš 1906: 412]; словац. *svet* ‘чужие, дальние края’, *ist’*, *vybrat’ sa*, *pustit’ sa do sveta* ‘отправиться в дальние края’ [SSJ, 4: 360]; болг. *увет* ‘очень далеко’. Ср. также значение ‘пространство вне дома, помещения, снаружи’: укр. «Ледве я її вивела з її печери на світ божий» [ФСУМ, 2: 782], пол. *świat* ‘то же’ и далее — ‘powietrze, воздух’ (в противоположность закрытому помещению): диал. «Druźbowie wynoszą stoły na świat» (Друзья выносят столы из дома наружу) [Karłowicz, 5: 361], «Jedźmyż do domu, bo tu na świecie gołym gadać z tobą nie będąc» (Поедем домой, я тут на улице говорить с тобой не стану): *świat*, *światowiec* ‘чужак, прибывший в деревню из дальних краев’ [SW, 6: 768—769]; болг. *увет* ‘край света’ [БЕР, 6: 567].

Во втором случае, в пределах «антропологической» сферы, оба слова также соотносятся с понятием внешней среды. Так появляется эксклюзивное понятие «мир» в оппозиции к изолированной конфессиональной, церковной, монастырской, духовной среде (здесь субъектом номинации является представитель выделенной части социума, для которого *мир* — внешнее, чужое социальное пространство). *Мир*, *мирской*, *миряне* — это то, что находится вне монастырской или церковной среды и чуждо ей, что противопоставлено духовенству как замкнутому кругу лиц и отграничено от него, ср. ст.-слав. *мирънѣ*, *миръскѣ* ‘светский, мирской’; рус. *мирское имя* в отличие от крестного и монашеского, *удалиться от мира* ‘уйти в монастырь, стать отшельником’, *мирская суета* и т. п. В старообрядческом узусе *мир* — это конфессионально чужая среда православных, ср. диал. *мирской*, арханг. *миришёный*, *миришой* ‘православный (в оппозиции к старообрядческому)’, *мирская вера* (не старообрядческая), *мирская посуда* (не принадлежащая старообрядцам), *мирищит(ся)* ‘иметь общение с мирскими (у староверов)’, перм. *мирской* ‘треховный’ [СРНГ, 18: 174].

Аналогичное эксклюзивное значение получает *свет*, *светский*, ср. ст.-слав. *сего свѣта* ‘земной, преходящий, светский, мирской’ [ССЯ, 4: 35—36], рус. *светская власть* в противопоставлении *духовной власти*, бел. *световый* ‘светский’: «Световый человек с усяким обходзицца хоронно» [Носович 1983]; ст.-пол. *świecki* ‘светский, мир-

ской': «Abi bil ot wszecz tzezi swyeczskych milowanya ... oddalon» (Только бы был от всяческих светских любовных дел отдален) [SSp, 9/55: 60]; в.-луж. *swĕtmy* 'светский', *swĕtnik* 'светский человек, любитель житейских удовольствий' [Zemal 1967: 449]; чеш. *svĕtāk* 'светский человек, любитель светской жизни' [PSJČ, 5: 939], *svĕtské radovánky; zábavy* 'светские удовольствия, развлечения' [SSJČ, 3: 626]; словац. *svetactvo* 'светский образ жизни', *sveták, svetár* 'человек света' [SSJ, 4: 362]; болг. *светски* 'гражданский', 'светский, относящийся к высшему обществу' [РСБКЕ, 3: 161], *свѣтскый* 'не свой, чужой, людской': «Не мой слушай свѣтскы сборовы» (Не смей слушать светские речи) [Геров, 5: 141]; с.-х. *световни* 'гражданский, мирской, светский': «Воли музику... песму — и световну и прквену», *световѣак* 'мирянин' [РСХКJ, 5: 684–685]; диал. кос.-мет. *свецки* 'чужой': «Чије то дете? — Свецко» (Чей это ребенок? — Чужой) [Елзовић, 2: 208]; словен. *svetovljan* 'светский человек', *svetovljanski* 'светский' [SSKJ, 4: 1031].

Эту же эксклюзивную семантику чуждости можно усматривать в русских диалектных названиях болезней (особенно психических, которые часто понимаются как насланные, «чужие»), ср. сиб. *миряк* 'сгорающий припадками, бесноватый, кликуша', *мирячество* 'припадочная болезнь, безумие', *мирячить* 'быть в припадке безумия', возможно, сюда же следует отнести арханг. *мирской заговор* 'закливание от болезни' [СРНГ, 18: 174], *смиренец* 'родимчик (нервное заболевание у грудных детей)', 'мышечный ревматизм', 'воспаление надкостницы', *смирений* 'о глуповатом человеке' [СРНГ, 39: 17]; сиб. *свет* 'болезнь, припадок': «Свет бьёт» [СРНГ, 36: 254].

Приведенный материал, как представляется, даст основание считать, что эксклюзивное антропологическое значение 'люди, социум' закономерно возникло из основного, «пространственного» понятия окружающего («внешнего») мира (путем сужения и спецификации денотата); это верно и для \**mir*-, и для \**svĕt*-. Что же касается инклюзивного антропологического значения 'сообщество людей' (рус. *мир* 'крестьянская община', кашубские названия жениха и невесты), производного от понятия 'рах, мир, согласие, договор', то оно представлено только у \**mir*- и не характерно для \**svĕt*-. Из этого следует, что семантическая деривация в гнезде \**mir*- направлялась двумя разными импульсами: первый, исконный, обусловил появление инклюзивного значения 'союз, сообщество' и на этом «иссяк»; вторым, внешним импульсом послужило возникновение у праславянского \**mir*- значения 'mundus', уже имевшего в праславянском

свое обозначение в виде *\*svět-*. И далее от *'mundus'* у *\*mir-* развились прочие (эксклюзивные) значения. С этого момента два слова (синонимичные в значении *'mundus'*) оказались семантически конгруэнтными (до появления у *\*mir-* значения *'mundus'* эти единицы праславянского лексикона никакого семантического параллелизма не обнаруживали)<sup>15</sup>.

Сравнение семантических спектров *\*mir-2* и *\*svět-2* в славянских языках в целом выявляет не только практически полное совпадение наборов их лексических значений (*'мир, вселенная, космос', 'земной мир, земля', 'сфера, среда существования', 'люди', 'сообщество людей', 'сфера деятельности, культуры'* и т. д.), но и очень значительное сходство фразеологии и словосложений (ср. рус. *органический мир* и с.-х. *органиски свет*, рус. *мировоззрение* — укр. *світогляд*, болг. *свето-глед*, в.-луж. *swětonahlad* и т. п.), что частично отражено и в приведенных выше примерах. При этом в отдельных языках, естественно, отмечаются и некоторые специфические (но вполне объяснимые) явления семантической деривации, не характерные для других языков или характерные лишь для части языков. К ним можно отнести, в частности,

— временные значения у *\*svět-*: рус. *старосветский* *'старинный, стародавний'*; пол. *świat* *'время, времена'*: «Prosty człowiek starego świata abo wieku» (Простой человек старого времени) [NKPP, I: 379]; ст.-пол. «Nie świata tego człowiek» (Человек не нашего времени) [SW, 6: 769], диал. «Doczekal'isny takix nedobryx sf'atuf» (Дожили мы до таких недобрых времен) [Dejna 1984: 145]; чеш. морав. «Starik byl ešte tak ze starého světa» (Старик был еще старого времени), «To není také světy = tak dávno» (Это не столь давние времена) [Bartoš 1906: 412];

— значение *'жизнь, жить'*, ср. рус. диал. новгор. *замировать* *'доживать свой век'*: «Он уехал с семейством в Сибирь да там и замировал, потому что не на что было возвратиться» [СРНГ, 10: 248]; урал. *помироваться* *'сжиться, свыкнуться'*: «Приехали, не помировались (муж с женой), уехал, а Лидию я не пустила» [СРНГ, 29: 216]; орл. *свет пройти* *'прожить жизнь'*: «Свет прошла, а вспомнить нечи-

<sup>15</sup> При этом какие-то конкретные значения (или употребления) в гнезде *\*mir-* могли относиться как к первичному *'рах'*, так и ко вторичному *'mundus'*, в зависимости от того, понимается ли *мир* «изнутри», как сообщество, или «снаружи», как внешняя среда (ср. рус. сиб. *отдать в мир* *'передать в общее пользование'*: «И тот де луг отдан в мир под скотинный выпуск и под сennie покосы» [СНДРС: 75]).

ва» [СОГ, 13: 66]; болг. *светувам* 'жить, существовать', 'жить счастливо, процветать' [РСБКЕ, 3: 161], 'блаженствовать, веселиться' [Геров, 5: 141], *късосвят, крайосвят* 'больной, которому осталось недолго жить, не жилец' [БЕР, 6: 567]; с.-х. *biti na svetu* = *živeti* (пробывать на свете, жить) [RHSJ, 17: 267], диал. пирот. *светујем* 'жить, существовать' [Живковић 1987: 142], ст.-пол. *świat* 'жизнь': «Nie dajże, Boże, długo takim świata (= skróć ich dni) (Не дай, Боже, таким жизни, т. е. сократи их дни) [SW, 6: 769]; чеш. морав. *světovat* 'жить на свете': «Je nemocná, ona už nebude dlouho světovat'» (Она больна, ей уже недолго осталось жить); «Ešče je na světě = žive» (Он/она еще на свете, т. е. еще жив/жива) [Bartoš 1906: 412—413];

— пространственные значения, ср. рус. диал. *мир* 'место, сторона': пск. «У нас тяперь ня толька на бальшаку — па фсем мирам, старанам значыт, трактора ходюг», «Была цэркофь такая красивая со фсяво миру» [ПОС, 18: 240], селиг. (поговорка) «Будет в миру, попадет и в нашу дыру» [Селигер, 3: 283]; 'место проживания': печор. (поговорка) «Из мира за озеру пшеей хлебать» [СРГНП, 1: 421]; 'местность, край': рус. урал. *свет* 'страна, край': «Ну как я света знаю?» [Малеча, 4: 35]; словен. *gorat svet, hribovit svet* 'гористая местность' [SSKJ, 4: 1021]; 'материк, суша': с.-х. «Kad se isprazna svet i more» (Когда опустошится суша и море) [RHSJ, 17: 266]; пол. диал. *świat* 'видимое пространство, поле зрения' [Brzeziński 1995: 437—438]; 'расстояние': морав. «Je to kus světa do tej Prahy! = daleko» (До этой Праги еще «кусочек пространства», т. е. далеко) [Bartoš 1906: 412—413] и др.

Для обоих глосд характерно развитие оценочных значений и семантики интенсивности, ср. рус. диал. с.-рус. *мирово* 'очень много': «У нас мирово сена родилось» [СРНГ, 18: 172]; карел. *свет* 'очень': «Свет любил рыбу ловить, всё ходил на реку» [СРГК, 5: 656]; сиб. *со всего свету* 'очень сильно': «ой, она со всего свету ревет» [ФСРГС: 173]; урал. *свету конец* 'очень, в сильной степени', *на свете* 'совершенно': «Я ее на свете не люблю, кошку-ту», *обо всем свете* 'большой, огромный' [СРНГ, 36: 254—255]; укр. *не-світний* 'невероятный, необыкновенный, сверхъестественный'; бел. *свет светам* 'очень много, обильно': «Ягид-то тыпр сьвіт сьвітам» [Мяцельская, Камароускі 1972: 236]; *ni u svet* 'ни за что' [Юрчанка 2002, s.v. свет], диал. *мир* 'много': «У нас жа мир народау, мир бабоу, а мужыкоу ням зусім пасля вайны» [Живое слова: 82]; пол. *świat* 'очень много, избыток, с лихвой': «Czy zdążę na kolej? — O, świat!» (Успею я на поезд? — О, еще полно времени!) [SW, 6: 769]; «Starczy ci

sto złotych? — Ach, to świat!» (Хватит тебе сто золотых? — О, с лихвой!) [Brzeziński 1995: 437]; чеш. *cely svět* 'очень большое количество (чего-либо)' [PSJČ, 5: 938].

В своих работах о культурном и языковом концепте *\*mir-* у славян В. И. Топоров обращал внимание на этимологическое родство, семантическую близость, общность контекстов и взаимодействие *\*mir-* и *\*mil-* (см. также [СССЯ 19: 56]). Неудивительно, что лексические единицы столь высокой культурной значимости образуют некую сферу взаимного притяжения. Для *\*mir-* это взаимодействие, помимо *\*mil-*, еще и с гнездом *\*měr-* 'мера, мерить', особенно значимое для западнославянских языков, где эти два слова формально совпадают и пересекаются в своих производных, ср. ст.-пол. *mir* и *mier* 'рах' [SSp 4/23: 282—284; SW. 2: 996]; словац. *mier* 'рах', *mierit*, *zmierovat* 'мирить, примирять' (от *mier* 'рах') и 'направлять, целиться' (от *mi-er-a* 'мера'), *mierny* 'мирный' и 'умеренный, сдержанный' [Isačenko, 1: 395]. То же самое можно сказать о гнезде *\*svět-*, которое сближается в своей семантической истории с гнездом *\*svet-*, что особенно характерно для южнославянских языков, где этому сближению способствует формальное тождество рефлексов (ср. с.-х. *svet* 'мир, mundus' и 'святой').

Итак, если верно представление о вторичности значения 'mundus' у славянского *\*mirъ*, значения, возникшего в сфере книжной традиции под влиянием греч. *κόσμος*, то собственно праславянским обозначением окружающего мира следует считать только лексему *\*světъ* — одно из ключевых слов праславянской культуры (наряду с *\*mir-*, *\*svět-* и др.), представленное в этом значении во всех славянских языках и диалектах и раскрывающееся, в отличие от «антропоцентричного» *\*mir* 'а, другую, космологическую, природную, первоначально безотносительную к человеку сущность мира-света. Что же касается лексемы *\*mir-*, то ее первичное значение 'рах' безусловно принадлежит праславянскому и сохраняется во всех славянских языках и диалектах<sup>16</sup>, тогда как значение 'mundus' из живых языков представлено по существу только в русском, где соответственно ограничена по сравнению с другими языками деривационная активность *\*světъ* в этом значении.

<sup>16</sup> Все, что сказано о слав. *\*mir-* и его культурной значимости в названных выше работах В. И. Топорова (безотносительно к проблеме иранского влияния), относится к семантической сфере 'рах'.

## ЛИТЕРАТУРА И СОКРАЩЕНИЯ

- БЕР — Български етимологичен речник / Съст. В. Георгиев, Ив. Гълъбов, Й. Заимов, Ст. Илчев и др. София, 1962 — Т. I —.
- Березович 2007 — *Березович Е. Л.* Человек среди людей: о семантико-прагматической программе слова *люди* // *Березович Е. Л.* Язык и традиционная культура. М., 2007. С. 82—111.
- Варбот 1981 — *Варбот Ж. Ж.* Лехитские этимологии // Общеславянский лингвистический атлас: Мат-лы и исслед. 1979. М., 1981. С. 327—328.
- Геров, 1—5 — *Геров Н.* Речникъ на българския език. Пловдивъ, 1895—1904. Ч. I—V.
- Голубинский 1906 — *Голубинский Е. Е.* О реформе в быте русской церкви. М., 1906.
- Гринченко, 1—4 — *Гринченко Б. Д.* Словарь украинского языка. Киев, 1907—1909. Т. 1—4.
- Дворецкий, 1—2 — Древнегреческо-русский словарь / Сост. И. Х. Дворецкий. М., 1958. Т. 1, 2.
- Дворецкий 1976 — *Дворецкий И. Х.* Латинско-русский словарь. 2-е изд. М., 1976.
- Елєзовић, 1—2 — *Елєзовић Г.* Речник косовско-метохиног дијалекта. Београд, 1931. Св. 1, 2.
- ЕСУМ — Етимологічний словник української мови. Київ, 1982 — Т. 1 —.
- Живковић 1987 — *Живковић Н.* Речник пиротског говора. Ниш, 1987.
- Жывое слова — Жывое слова / Рэд. Ю. Ф. Мацкевіч, І. Я. Яшкін. Мінск, 1982.
- Караџић 1852 — Српски рјечник истумачен њемачкијем и латинскијем рјечима. Скупио и на свијет издао Вук Стеф. Караџић. У Бечу, 1852.
- Лелешаў, 1—2 — *Лелешаў І. Я.* Слоўнік фразеалагізмаў беларускай мовы. Мінск, 2008. Т. 1, 2.
- Малеча, 1—4 — *Малеча Н. М.* Словарь говоров уральских (яицких) казаков. Оренбург, 2002—2003. Т. 1—4.
- Мяцельская, Камароўскі 1972 — *Мяцельская Е. С., Камароўскі Я. М.* Слоўнік беларускай народнай фразеалогіі. Мінск, 1972.
- ПОС — Псковский областной словарь с историческими данными. Л., 1967 —. Вып. 1 —.
- РСБКЕ — Речник на съвременния български книжовен език. София, 1951—1959. Т. 1—3.
- РСХКЈ — Речник српскохрватскога књижевног језика. Нови Сад; Загреб, 1967—1976. Књ. 1—6.

- Селигер — Селигер: Материалы по русской диалектологии. Словарь. СПб., 2003—. Вып. 1—.
- СНДРС — Словарь русской народно-диалектной речи в Сибири XVII — первой половины XVIII в. Новосибирск, 1991.
- СОГ — Словарь орловских говоров. Ярославль, 1989—1991. Вып. 1—4. Орел, 1992—. Вып. 5—.
- СПГ — Словарь пермских говоров. Пермь, 2000—2002. Вып. 1, 2.
- СРГК — Словарь русских говоров Карелии и сопредельных областей / Гл. ред. А. С. Герд. СПб., 1994—2005. Вып. 1—6.
- СРГНП — Словарь русских говоров Низовой Печоры. СПб., 2003—2005. Т. 1, 2.
- СРГС — Словарь русских говоров Сибири. Новосибирск, 1999—2006. Т. 1—5.
- СРНГ — Словарь русских народных говоров / Под ред. Ф. П. Филина, Ф. П. Сороколетова. М.: Л., 1965—. Вып. 1—.
- ССГ — Словарь смоленских говоров. Смоленск, 1974—2005. Вып. 1—11.
- СУМ — Словник української мови. Київ, 1970—1980. Т. 1—11.
- Толстая 2010 — Толстая С. М. К семантической истории слав. *\*mirъ* и *\*svetъ* // Теорија дијахроничке лингвистике и проучавање словенских језика. Београд, 2010. С. 199—213.
- Топоров 1987 — Топоров В. Н. Заметки по реконструкции текстов. I. От имени к тексту // Исследования по структуре текста. М., 1987. С. 100—111.
- Топоров 1989 — Топоров В. Н. Об иранском элементе в русской духовной культуре // Славянский и балканский фольклор. Реконструкция древней славянской духовной культуры. Источники и методы. М., 1989. С. 23—60.
- Топоров 1993 — Топоров В. Н. Праславянская культура в зеркале собственных имен (элемент *\*mir-*) // История, культура, этнография славянских народов. XI Междунар. съезд славистов. Братислава, сентябрь 1993 г. Докл. рос. делегации. М., 1993. С. 3—118.
- ТС — Тураўскі слоўнік. Мінск, 1982—1987. Т. 1—5.
- ТСБМ — Тлумачальны слоўнік беларускай мовы. Мінск, 1977—1984. Т. 1—5.
- Успенский 1969 — Успенский Б. А. Влияние языка на религиозное сознание // Труды по знаковым системам. IV. Тарту, 1969. С. 159—168.
- Фасмер, 1—4 — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. М., 1964—1973. Т. 1—IV.
- ФСРГС — Словарь фразеологизмов и иных устойчивых сочетаний русских говоров Сибири. Новосибирск, 1972.
- ФСУМ — Фразеологічний словник української мови. Київ, 1993. Кн. 1, 2.

- ЭССЯ — Этимологический словарь славянских языков / Под ред. О. Н. Трубачева. М., 1974—. Вып. 1—.
- Юрчанка 2002 — *Юрчанка Г. Ф.* Народнае мудраслоуе: Слоўнік. Мінск, 2002.
- Янкова 1982 — *Янкова Т. С.* Дыялектны слоўнік Лосышчыны. Мінск, 1982.
- Bartoš 1906 — *Bartoš F.* Dialektický slovník moravský. Praha, 1906.
- Borys 2005 — *Borys W.* Słownik etymologiczny języka polskiego. Kraków, 2005.
- Brzeziński 1995 — *Brzeziński W.* Słownictwo krajniackie. Słownik gwary wsi Podróżna w Złotowskim. Warszawa, 1995. T. 4. Prz—T.
- Dejna 1984 — *Dejna K.* Słownictwo ludowe z woj. Kieleckiego i Łódzkiego // Rozprawy Komisji językowej. T. XXIX. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdansk; Łódź, 1984.
- HSSJ — Historický slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1991—2008. T. I—VII.
- Isačenko, I—2 — *Isačenko A. V.* Slovensko-ruský prekladový slovník. Bratislava, 1950—1957. D. 1, 2.
- Karłowicz — *Karłowicz J.* Słownik gwar polskich. Kraków, 1900—1911. T. I—6.
- Machek 1971 — *Machek V.* Etymologický slovník jazyka českého. Praha, 1971.
- Miklosich 1886 — *Miklosich F.* Etymologisches Wörterbuch der slavischen Sprachen. Wien, 1886.
- NKPP — Nowa księga przysłów i wyrażeń przysłowiowych polskich. W oparciu o dzieło S. Adalberga / Red. J. Krzyżanowski, S. Świrko. Warszawa, 1969—1978. T. 1—4.
- Orlovsky 1982 — *Orlovsky J.* Gemerský nárečový slovník. Rimavská Sobota, 1982.
- PSJČ — Příruční slovník jazyka českého. Praha, 1935—1957. D. 1—8.
- Rejzek 2001 — *Rejzek J.* Český etymologický slovník. Praha, 2001.
- RHSJ — Rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika. JAZU. Zagreb, 1880—1976. D. 1—23.
- SEK — *Borys W., Popowska-Taborska H.* Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. Warszawa, 1994—2006. T. 1—5.
- SSJ — Slovník slovenského jazyka. Bratislava, 1959—1968. D. I—VI.
- SSJČ — Slovník spisovného jazyka českého. Praha, 1960—1971. T. 1—IV.
- SSKJ — Slovar slovenskega knjižnega jezika. Ljubljana, 1970—1991. D. 1—5.
- SSp — Słownik staropolski / Red. nac. S. Urbańczyk. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdansk; Łódź, 1953—2002. T. 1—11. Z. 1—76.



- Steffen 1984 — *Steffen W.* Słownik warmiński. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, Łódź, 1984.
- SW — *Karłowicz J., Kryński A., Niedźwiedzki W.* Słownik języka polskiego. Warszawa, 1904—1927 (1952—1953). T. I—VIII.
- Sychta 1—7 — *Sychta B.* Słownik gwar kaszubskich na tle kultury ludowej. Wrocław; Warszawa; Kraków; Gdańsk, 1967—1976. T. 1—7.
- Zeman 1967 — *Zeman H.* Słownik górnolужицько-польскі. Warszawa, 1967.

## **ОТВАГА: СЛОВО И ПОНЯТИЕ В ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЙ ПЕРСПЕКТИВЕ**

Личностные характеристики индивида не избалованы вниманием исторической семантики и истории понятий. Дело не только в том, что, изучая эволюцию социально-философских, политических, религиозных понятий и постепенно привыкая к их изменчивости, текучести, естественно видеть хотя бы в базовых свойствах человеческой натуры нечто относительно постоянное. Дело еще и в том, что если видеть систему этих свойств не неизменной и универсальной, а трансформирующейся от одного исторического периода к другому (каковой она и является), возникают значительные проблемы в интерпретации текстов, отделенных от нас временной дистанцией. Чем фундаментальнее, первичнее понятие, тем естественнее опираться на его интуитивно постигаемый смысл. И если мы видим, что человек, отделенный от нас значительной временной дистанцией, вкладывает в него какой-то иной смысл, отличный от нашего, возникает закономерный вопрос: в этой разнице отразился глубинный сдвиг в содержании понятия как такового или же специфика данного ситуативного контекста, памятника, словоупотребления конкретного автора, жанра? Более того, возникает и следующий вопрос: насколько правомерно в таких случаях говорить о строго определенных границах понятия, и соответственно — о его семантической эволюции? В конце концов, ведь если смысл социально-политического или богословского понятия не только проявляется в многочисленных словоупотреблениях, но и постоянно обсуждается членами социума, подвергается рефлексии, уточняется, — то слова и словосочетания вроде «храбрый», «сильный духом», «великодушный», «доброго нрава» понимаются интуитивно и употребляются в широком диапазоне значений; нюансы же зависят от широкого и узкого контекста. Поэтому трудно сказать, что, грубо

говоря, в одну эпоху эти слова значили одно, а в другую — совершенно другое.

Однако даже если считать, что каждое из этих слов задает не строгое понятие, а некоторый, так сказать, понятийный горизонт, порой весьма размытый, это не означает, что горизонт не может ощутимым образом смещаться. При этом смещение выражается в частотности употребления слова в целом и в текстах различных жанров; в смене негативных коннотаций на позитивные и наоборот; актуализации одних значений и оттеснении на периферию других и т. п. Исследование этого комплекса явлений требует принимать во внимание как факты истории языка, так и факты культурной истории: разнообразные культурные процессы не только служат фоном для языковых процессов, но и провоцируют языковые сдвиги и изменения. Причем чем шире понятийный горизонт, чем более смазанными предстают собственно историко-семантические процессы, тем важнее для исследователя оказывается историко-культурный контекст, в котором эти процессы протекают. Именно опираясь на свои представления об эволюции культурных форм, исследователь видит в едва заметном смещении акцентов свидетельство идущей подспудно глубокой семантической перестройки.

Так, собственно говоря, и обстоит дело со словами *отвага*, *отважный*, *отважно*, *отважность*, *отважиться*. Они появляются в русском языковом обиходе в конце XVII — начале XVIII в. и, по-видимому, восходят к польским *odwaga*, *odważny*, *odważyć się*, *odważyć* 'взвесить, отвесить'; чешским *odvaha*, *odvažný*, *odvažiti se* 'отважиться, рискнуть', которые восходят, в свою очередь, к нем. *wagen* 'рисковать, отваживаться' и близким формам [Фасмер. III: 169].

Встречается, впрочем, и мнение об исконно русском происхождении этих слов [Шабалин 1961; Черных. I: 610]. Однако аргументы их представляются неубедительными. Кажется совсем невероятной этимология М. Н. Шабалина, возводящего *отважный* к значению 'потерявший, утративший важность, степенность, сановитость, величественность, переставший важничать, отошедший от важности, пренебрегающий сию', — хотя бы потому, что это противоречит семантике ранних употреблений слов *отважный*, *отвага*, связанных отнюдь не с отчаянным поведением, но с поведением рискованным, неосторожным, пренебрежением опасностью (см. многочисленные примеры ниже). Кроме того, префикс *от-* вряд ли мог использоваться для отрицания качества, никак не связанного с действием: одно дело слово

*отчаянный* < *от-чаять(-ся)*, другое — *отважный*, прочитанное как 'лишенный важности'. Несомненно, правы те, кто связывает слова *отвага*, *отважный*, *отважиться*, в первую очередь, с действием 'подвергнуть опасности что-л., рисковать чем-л.', а значение качества считает производным от способности к такому действию — 'способный рисковать, способный к бесстрашному действию, смелый'. Повидимому, П. Я. Черных придерживается того же мнения: однако он избегает рассматривать эти слова как польские заимствования, предполагая, очевидно, что они развились независимо; нам это кажется маловероятным: в русском языке, судя по многочисленным историко-лексикографическим данным, слова *отвага*, *отважный* и однокоренные им встречаются не ранее 1670-х гг. Первое употребление слова с этим корнем, согласно Картотеке Словаря русского языка XI—XVII вв., фиксируется в «Описании Турции», составленном пленным русским между 1670 и 1686 гг.: «обо всем исправно по истине в сей книге написано прилежно в тайной отважности своей по сотворению согляда всего царства турецкого» [Описание Турции: 1]. Заметим, что, по мнению публикатора, автор описания происходил из южнорусских земель, «где великорусское население слегка соприкасается с малорусским» [Там же: 1].

Соответствующие слова в польском языке появились уже в первой половине XVII в.; во всяком случае, они упоминаются в тезаурусе Григория Кнанинского (1621) в статье «Na to mówiąc» [Кнанинский, I: 459]. Выдержки из текстов того же периода приводятся в словаре С.-Б. Линде [Линде, III: 501]. Характерно, что и в украинских и белорусских текстах эти слова встречаются уже в начале XVII в.; например, в белорусских документах слово *одвага* фиксируется уже в 1619 г. [ГСБМ, 21: 389—390]; в украинских геральдических стихотворных надписях эпитет *отважный* встречается в 1630—1640-х гг. [Украинская поэзия].

Следует учесть, что эпоха, о которой идет речь, отмечена массированным заимствованием польской лексики, как непосредственно, так и через украинское или белорусское посредство. Или вернее будет сказать, в эту эпоху между Польшей и Россией образуется своеобразный культурно-языковой континуум, пронизанный целой системой каналов коммуникации. Эти каналы обеспечивались явлениями различного порядка: миграцией отдельных украинских и белорусских интеллектуалов в Московию; участием большого количества людей в военных походах и различных вооруженных конфликтах; инкорпорацией территорий, культурная жизнь которых в значительной мере

была обусловлена польским влиянием; изменением расстановки сил внешнеполитического характера, заставляющим членов региональных элит менять ориентацию с польской на московскую, а то и интегрироваться в состав формирующейся российской имперской элиты. В этой ситуации заимствование того или иного иноязычного слова зачастую оказывается органичной частью интенсивного устного и письменного общения людей, говорящих изначально не совсем на одном языке, хотя и понимающих друг друга. Так, самое раннее известное нам употребление слова *отвага* встречается в письме гетмана Мазепы патриарху Иоакиму, отправленном из крымского похода 1689 г.:

...яко скоро выгязи в поля розныя как зараз тии же неприятели, хан и солтаны и вся орды сильным набегом наступивши так патрутно на обозы на розных местах ударяли, же не только дробныя мушкетныя стрельбы, но и самых арматных пострелов не ужасаючися от рогадки отиралися, в какой своей отвазе чрез весь день тывали [Савелов 1906: 21].

По своим языковым параметрам этот текст написан, скорее, на украинском языке, однако по коммуникативной ситуации является частью языка общения российской элиты, — грубо говоря, русского, хотя это обозначение нуждалось бы в уточнении. Так вот, постепенное проникновение слов *отвага*, *отважный* и пр. из польского культурного мира в российский за счет описанных выше явлений кажется намного более представимым, чем самостоятельное возникновение на русской почве тех же лексем.

Этимологически слова *отвага*, *отважный* и пр. (независимо от обсуждаемого выше вопроса об их исконности / заимствованности) связаны, как следует из выше сказанного, с понятием риска. Это обстоятельство с самого начала определило широкий смысловой диапазон этих слов, включающий и характеристику человека и его поведения, и характеристику отдельных поступков как смелых, бесстрашных, рискованных, просто неосторожных, и вообще — риск, неосторожность. Так обстоит дело в польском языке: словарь Линде для слова *odwaga* дает следующие основные значения: «*śmiałość, odpowiadająca rzeczy*»; «*odwaga = odważny czyn*»; «*odwaga czego, odważanie czego, puszczenie na szanę*» [Линде. III: 501]. Похожая картина складывается в XVIII веке и в русском языке. Словарь русского языка XVIII в. отмечает для слова *отвага* следующие значения: «1. ж. Дерзость; смелая, безрассудная решительность. {...} 2. м. Безрассудный, дерзкий человек» [СРЯ XVIII в., 17: 195]. При описании первого значения указа-

ны устойчивые сочетания (*полагать, пуститься*) *на отвагу, отдать в отвагу* ('на удачу, на свой страх и риск') и *взять, иметь отвагу*; кроме того, указано, что слово может иметь оттенок значения 'смелость, храбрость'. Для слова *отважный* отмечены следующие значения: «1. Безрассудно смелый, дерзкий, охотно идущий на риск. (...) 2. Храбрый, смелый, мужественный. (...) 3. Сопряженный с опасностью, риском; требующий храбрости, отваги» [СРЯ XVIII в., 17: 196], причем первое значение помечено как постепенно выходящее из употребления, а второе — как постепенно употребляемое все шире.

Смысловый диапазон более или менее сохраняется и в русском языке: словом *отвага* и однокоренными словами обозначаются как заслуживающие одобрения действия, поступки, личные качества, так и рискованные или неосторожные действия или решения. Более того, даже если словоупотребление близко к привычному нам, оно, по-видимому, сохраняет некоторую оценочную амбивалентность: храбрость оказывается связанной не только с силой духа, но и с неосторожностью, неумением / нежеланием предвидеть последствия поступков, горячностью, незрелостью. В приведенной выше выдержке из письма Мазепы «отвага» приписывается иррегулярным татарским войскам и упоминается скорее с неодобрительным удивлением, с намском на неразумность поведения, нежели с восхищением или одобрением. В дальнейшей практике мы отмечаем употребление этих родственных слов все в том же широком смысловом диапазоне:

*отвага* —

Непріятель отъ множества нашей (...) стрѣлбы толь утомленъ и, видя послѣднюю отвагу, тотчас ударить шамадь (здача) [ИБП, II: 104];

...зело государь драгуны отвагою шли да не можно было ворватца [Булав. восст.: 327];

И я вытерпел отвагу погибели корабельной [Архив Куракина, III: 381];

...въ полю съ непріятелемъ отваги чинить не хотѣли, ибо онъ грижды силнѣ насъ былъ [ИБП, IV: 684];

*отважный* —

Мы его, яко добраго абицера і отважного служителя вашего величества, принесли [ИБП, I: 396];

И видя они, воры, тот отважной приступ, что им в том городке не отсидетца и что оному вору Некрасову в помощь притигъ к ним не возможно, того ж дни выслали с повинною [Сводка 1707—1708: 190];

*отважно* —

(король Август) так отважно ехал сквозь самых Шведов, которые стояли близ Саксонской границы под командою шведского генерала Рейншильда, и целую ночь у оных в руках был [История Свейской войны, I: 122];

И вор Игнашка Некрасов и товарищи, увидав наш приход скорой в Есаулов и что так отважно поступили, того часу, убоясь нас, переправились... на Нагайскую сторону [Булав. восст.: 327].

Наличие у этих слов коннотаций, связанных с риском или неосторожностью, определяет и смысловые оттенки в тех высказываниях, где их употребляют в сугубо комплиментарном значении.

Собственно говоря, подобная ситуация отнюдь не является уникальной или новой. Склонность пренебрегать определенными правилами может рассматриваться как ненужная и предосудительная или же как необходимая и похвальная. В особенности это касается действий в экстремальных условиях. Соответственно, используемые при этом слова также имеют амбивалентное значение. Например, слово *отчаянный* может восприниматься как отрицательная характеристика (человек, которому нечего терять, которому не на что надеяться, для которого не слишком значимы моральные ограничения), но может и как положительная (человека не запугаешь, он незаменим в военных и вообще рискованных предприятиях). Ср. древнерусское слово *буйи*, *буеть* и их принципиально различное значение в религиозно-дидактических ('безумие, глупость') и в военно-нарративных ('смелость, отвага') контекстах.

Специфика анализируемых нами слов состоит в том, что они вошли в русский языковой обиход в эпоху, когда система дискурсивных оценок была подчинена рациональному началу. Человек оценивался не с точки зрения того, насколько он соответствует идеалу, а с точки зрения того, насколько действия его соответствуют рациональному целеполаганию. В военной области это соответствовало переходу от иррегулярной армии к регулярной, предполагающей линейную тактику, единую иерархию подчинения, господство приказа. Разумеется, реальная война никогда не идет в соответствии с правилами, и в момент прорыва, решающего штурма, любой другой ситуации, требующей экстраординарных действий, необходимы люди, способные игнорировать общие правила, действовать вопреки рассудку и осторожности, полагаться на счастье и волю случая. Однако приписывание человеку способности к таким поступкам является компли-

ментом если не сомнительным, но несколько амбивалентным. Ведь тот же эпитет *отчаянный*, вполне уместный как положительная характеристика в контексте конкретного нарратива или сиюминутной ситуации, не попал, однако, в привычный пантегирический арсенал. По-видимому, слова *отвага* и *отважный* поначалу воспринимались сходным образом.

В этом отношении показательное отношение Петра Великого к сравнительно недавнему языковому «приобретению». Воспый реформатор. Петр гордился тем, что его солдаты владеют собой и не бегут в беспорядке, а действуют в соответствии с правилами: «И хотя в безмерном огне были чрезвычайно, однако не бежали, но тихо отступали с стрельбою» [История Свейской войны, I: 119]. В «Журнале...» Петра слово *отвага* и родственные ему весьма редки, хотя там описывается множество поступков, которые, казалось бы, вполне естественно назвать отважными, однако они характеризуются с помощью других слов:

И при том счастливом действии zelo смелым сердцем и мужественно на один бастион малыми людьми несколько ис той партии вошли [Там же: 100];

И наши, видев что указу в закопывании исполнить невозможно, мужественным сердцем прорубя полисад, вломились к неприятелю и одного в бег обратили и равелин... шпагою взяли [Там же: 112];

так мужественно шпагами назад на неприятеля бросились, которого удивительно (понеже уже наш вал им яко боретвер, и сверх того свои пушки они имели себя обороняющия) отбили [Там же: 119];

которая пехота... мужественно на оных напала и по жестоком бою... храбро с поля сбила [Там же: 143] и пр.

Солдаты и офицеры, небольшими отрядами атакующие превосходящие силы шведов, офицеры, взбирающиеся с одними шпагами на равелин, подбсгающие к самым амбразурам и бросающие туда гранаты, — подобных эпизодов в записке довольно много, но по отношению к подобным героям и их поступкам употребляются в основном характеристики *мужественный*, *храбрый*, *смелый*. Показательно, что цитированные выше слова из реляции о взятии Нотебурга: «видя последнюю отвагу» (см. выше), — вычеркнуты из Поденной записки уже в первой редакции [Там же: 99, прим. 11] и отсутствуют в последней.

Зато поспешная атака Карла на русскую кавалерию и редуты во время Полтавской битвы характеризуется именно словом *отвага*:



...оной (неприятель. — Ю. К.) по своей обыкновенной запальчивой отваге в том (в атаке. — Ю. К.) нас упредил [История Свейской войны, I: 160, 301].

Ответ фельдмаршала Рейншильда на вопрос Петра: как можно было, отправляясь в дальний поход, не предвидеть оскудения ресурсов. — пересказан следующим образом:

К тому ж некоторые де разсуждали, что от ненадеяния на уход и от недостатку в провианте салдаты отважнее бьются [Там же: 165]<sup>1</sup>.

Можно полагать, что отвага не только казалась Петру сомнительной добродетелью, идущей рука об руку с безответственностью (вспомним нежелание Петра в Прутском походе «благополучие всей империи Российской в отвагу отдать»: см. выше), но и ассоциировалась у Петра и его современников с образами, от которых хотелось дистанцироваться. — с нецивилизованными татарами, способными рисковать жизнью, но рассииваемыми «правильным оружием»; с казаками, способными на «большие целенивые подвиги» против мятежного Булавина, но не против регулярной армии; с запосечными шведами, гордыня которых привела к их падению. Царь относился весьма жестко к операциям, совершасмым в обход этих правил: достаточно вспомнить суровый суд над А. И. Репниным, в результате «беспорядочных», не столько трусливых, сколько неосмотрительных действий понесшим потери в людях и вооружении во время боя при Головчине (1708). По-видимому, Петр стремился превратить свое войско в бесперебойно работающий механизм и как можно дальше уйти от хаотических действий, состоящих то в безрассудных атаках на босвые порядки неприятеля, то в столь же безрассудных отступлениях. Вот почему слово *отвага* с его коннотациями могло ему не нравиться<sup>2</sup>.

Таким образом, при Петре и в дальнейшем, в течение всего XVIII века, складывается парадоксальная ситуация. С одной стороны, слова *отвага*, *отважный* и производные от них довольно быстро входят в русский литературный язык. В первой половине XVIII в. они еще

<sup>1</sup> Примечательно, что в итоговый вариант текста «Журнала...» это суждение не вошло.

<sup>2</sup> Само слово *отвага* в то время было сравнительно свежим заимствованием и, вероятно, осознавалось как полонизм, или, по крайней мере, как новое слово. Возможно, это заставляло Петра и его современников усматривать в слове *отвага* иронию, снисходительность (ср. похожую судьбу слова *кураж* < франц. *courage* 'мужество').

являются языковыми инновациями: их нет ни в «Лексиконе трехязычном...» Федора Поликарпова, ни в пасчитывающем болсе 16 000 слов рукописном лексиконе первой половины столетия, который принято атрибутировать В. Н. Татищеву [Поликарпов 1704; Лексикон 1964]. Однако в русско-французском словаре, составленном Антионом Кантемиром, уже имеются слова *отважность*, *отважно* и *отважный* (но не *отвага*) [Кантемир. I: 783]<sup>3</sup>. К моменту выхода первого издания Словаря Академии Российской слова *отвага*, *отважно*, *отважность* и *отважный* уже воспринимаются как неотъемлемая часть русского лексического фонда; ср. в статье к слову *важный*<sup>4</sup>:

ОТВАГА, ги. с. ж. простон. Предпрѣимчивость на что либо сумнительное и трудное. *Идти куда на отвагу. Предпрѣять что на отвагу.* {...} *Отважно*, нар. Смѣло, дерзновенно. *Въ семь предпрѣятии поступить онъ отважно. Отважность*, сти. с. ж. Смѣлость, предпрѣимчивость; качество смѣлаго, отважнаго челоуѣка. *Отважность иногда губит, а нерѣдко и спасаетъ. Отважный*, ная, нос. прил. Смѣлый, предпрѣимчивый. *Отважный челоуѣкъ на вѣѣопасности держаетъ* [САР<sup>2</sup>, I: 456]<sup>5</sup>.

Эти слова не только получают толкование, но и используются в других статьях для пояснения значения других слов; ср. приведенное выше определение слова *смелый*: «отважный, необязненный». Очевидно, *отважный* воспринималось лексикографами как синоним слова *смелый*, однако с дополнительными коннотациями: быть «отважным» — значит решаться на рискованные, «сумнительные или трудные», поступки ради особо ценного результата. Слова *отвага*, *отважность*, *отважно*, *отважный* нередки в литературе второй половины XVIII в.; приведем только ряд примеров из записок Я. П. Шаховского:

На сии мои слова герцог Бирон, осердясь, весьма вспылчиво мне сказал, что как я так отважно говорю? [Шаховской 1998: 19];

<sup>3</sup> А. Д. Кантемир даст этим словам французские соответствия *hardiesse*, *hardiment* и *hardiessque* соответственно [Кантемир. I: 783]. Таким образом, он связывает с этими словами представление не только о неустрашимости человека, но и о его рискованном, дерзком, наглом поведении.

<sup>4</sup> Составители Словаря рассматривали слова *отвага*, *отважно*, *отважность* и *отважный* как производные от слова *важный*, как бы предвосхищая построения М. И. Шабалина, упомянутые выше. Слова, которых в начале века не было в словарях, к концу века уже воспринимаются как исконно русские.

<sup>5</sup> Ср. те же толкования во втором издании Словаря Академии Российской и почти не отличающиеся от них — в Словаре церковно-славянского и русского языка 1847 г. [САР<sup>2</sup>, IV: 471—472; СЦРЯ, III: 95—96].

Но я и теперь признаюсь, что тогда не разум, но страсть тщеславия такую по верхним видам отважность во мне возбуждала [Шаховской 1998: 88];

...но они и на вторичный ее величества вопрос еще более любопытство ее возбудили, отвечая только, что они о таком человеке, который своими смелыми и отважными поступками скоро им го заплатит, доносить не смеют [Там же: 97].

С другой стороны, эти слова сравнительно скудно представлены в военном нарративе, причем, по-видимому, сохраняют свою амбивалентность. Так, П. А. Румянцев иногда употребляет слово *отвага* как 'риск, опасность', например:

...сей новой и отважной поиск на Исакчу определил я свершить, дабы неприятеля поудить сильнее на разделение сил его [Румянцев 2001: 131];

но он ни тут ни от своего посту к Гирсову не нашел к тому удобности, без подвержения всех наших польз опасной отваге [Там же: 135].

В другом донесении Румянцев обозначает этим словом поверхностную храбрость неприятеля, которая неминуемо должна смениться отступлением:

Неприятель, подошед к сему месту с обыкновенною при начале своих покушений отвагою, бросался в воду и, не взирая на производимый по нем из пушек и ружья огонь, до половины залива дошел, но увидя лишение своих, начали отступать [Румянцев 1947: 467].

Однако есть и примеры позитивных характеристик со словами *отвага*, *отважно*, *отважный*:

Первой гранодерской полк, внимая его повелению и предводительству, весьма храбро ударил на все стремление неприятельское и оное сокрушил бодрым духом и отважною рукою, к чему споспешником ему был командир оного бригадир Озеров [Румянцев 2001: 119];

подполковник Фабрициан (...) увидя арнаутов наших уступающих превосходной силе и себя окруженна, решился отважно атаковать их батарею своею пехотою, которою овладев, неприятеля разбил [Румянцев 1947: 155];

Я сего ссаула за исполнение его вверенного дела с отменным усердием и довольною отвагою благоволения вашего высокорейсграфского сиятельства рекомендую [Там же: 96].

Весьма редки случаи употребления слова *отвага* и однокоренных ему у А. В. Суворова. Так, в 1-м томе четырехтомного собрания документов эти слова встречаются всего несколько раз:

Пехота, подкрепляемая легкоконными и казачьими полками, наступила отважно на неприятеля [Суворов. I: 48];

...турецкая конница действовала с крайнею отвагою, а особливо отчаянно нападали янычары и арабы [Там же: 52].

В собрании писем, изданных В. С. Лопатиным, эти слова, кроме слова *отважи(ва)ть(ся)*, не встречаются вовсе [Суворов 1986]. Отсутствуют эти слова и в суворовской «Науке побеждать». В весьма объемистом «Журнале» А. А. Прозоровского несколько раз встречается глагол *отважи(ва)ть(ся)* и всего лишь единожды — прилагательное *отважный* (причем для иронической характеристики незадачливого неприятеля [Прозоровский 2004: 565]). Избегает слова *отвага* и родственных М. И. Кутузов, — по крайней мере, судя по выборочному просмотру его писем [Кутузов 1989].

Таким образом, складывается двойственная ситуация — слова *отвага*, *отважный* и пр. как будто вошли в языковой обиход, однако в военном нарративе, самом, казалось бы, «профильном», используются неохотно. Представляется, что область значений этих слов постепенно смещалась в сторону современного, они все реже использовались для обозначения рискованных, беспечных, неосторожных поступков, решений и образа действий и все чаще — для (обычно позитивной или сдержанно-уважительной) характеристики действий, совершаемых вопреки опасности, и лиц, совершающих подобные действия. Однако прежние оттенки смысла сохранялись: словосочетание *отважный поступок* предполагало действия рискованные, отчаянные, а *отважный человек* — наличие у этого человека склонности к риску, к пренебрежению правилами осторожности. В экстремальных условиях необходимы именно такие действия и могут оказаться полезными именно такие свойства характера. Но рационалистическое понимание личности отводило таким качествам натуры и такому образом действий место на глубокой периферии. Похвальными они могли оказаться только в исключительных, крайне стесненных обстоятельствах; поэтому «отважным» было естественно назвать человека, попавшего в затруднительную ситуацию и вышедшего из нее за счет решительных и бесстрашных действий. Этот семантический нюанс как будто прослеживается в журнальной статье начала XIX века, где проводится граница между синонимами *смелый* и *отважный*:

*Смелый* и *отважный* имеют общее значение твердости душевной: но *смелый* бывает таковым по сложению, а *отважный* по прозорли-

востн: смелыми рождаются, отважными бывают по состоянию нужды или крайности [Ибрагимов 1814: 139].

Если верно это предположение, становится понятным, почему в военном нарративе до поры остаются мало востребованными слова *отвага*, *отважный* и пр.: поведение солдат и офицеров систематично — оно регулируется четкими требованиями и нормами, а также приказами и рациональными соображениями; отвага же оказывается «несистемным» качеством, которое свойственно или тем, чье поведение не вписывается в рамки просветительского рационализма (простолудинам, горцам, кочевникам; см. ниже), или тем, кто проявил душевную стойкость «в состоянии нужды или крайности».

Окончательное инкорпорирование отваги в систему воинских качеств происходит в первой половине XIX в. До некоторой степени это связано с Отечественной войной 1812 г., а в особенности — с осмыслением ее опыта *post factum*. Именно по итогам войны с наполеоновской Францией становится популярным казачество, до того имевшее весьма скромную, если не двойственную боевую репутацию. Более того, осознается необходимость использования иррегулярной казачьей конницы совершенно иным образом, нежели это делалось до сих пор. Денис Давыдов с горечью писал спустя четверть века после событий 1812 г.:

...вся служба их (казачков) ограничивалась содержанием передовой стражи и действием на одной черте с линейными войсками. — действием совершенно разнородным с их склонностями, оковывающим и подвижность, и сноровку, и хитрость — син главные качества всякого воинственного народа, коего методические уставы не заключили еще в графы европейского однообразия [Давыдов 1987: 156—157].

Следует особо отметить, что признание ограниченности тактических рецептов XVIII в. в аргументации Давыдова неразрывно связано с констатацией этнической самобытности казаков как «воинственного народа»; в XVIII в. едва ли решились бы в явном виде поставить самобытный национальный опыт над достижениями военного рационализма.

В тот же период в общественном сознании формируется положительная оценка партизанской войны. Тот же Давыдов в полемике с наполеоновскими мемуарами отстаивал и право народа вести партизанскую войну, и эффективность партизанских действий даже против такой сильной армии, как французская в 1812 г. [Там же].

Показательно, что именно Давыдов активно, часто и с любовью употребляет слово *отважность*, *отважный*; ср. в «Некоторых чертах из жизни Дениса Васильевича Давыдова»:

В поучительной школе этого неусыпного и отважного воина он кончает курс аванпостной службы [Давыдов 1987: 33];

Генерал Ридигер (...) сим искусным и отважным движением обращает победу на свою сторону [Там же: 38];

...он был поэтом (...) по залету и отважности его военных действий [Там же: 41].

Более того, он уже рассматривает «отважность» не просто как комплиментарную характеристику, а положительное качество, которое следует отделять от неразумной неосторожности:

Если же для того штурмовать укрепления, чтобы по взятии немедленно оставлять их, то это дело безумия, а не отважности [Там же: 164].

С другой стороны, именно в первой половине XIX в. возрастает интерес к обычаям народов, встречаемых русскими на восточном направлении имперской экспансии. Этому способствуют различные факторы — и практические потребности покорения новых территорий, и развивающееся на почве романтизма углубленное внимание к национальной специфике. При описании тех, кто оказывал русским войскам и русской администрации вооруженное сопротивление, нередко используются слова *отвага*, *отважность*, *отважный* и т. п. Ср. в «Описании киргиз-казацких или киргиз-кайсацких гор и степей» (1831) А. И. Левшина:

Киргизы бедны, но отважны, не думают о жизни; корыстолюбивы, склонны к грабежу и храбры на войне [Левшин 1996: 143];

Прочитав вышеприведенный нами отрывок, всякий должен предложить, что буруты из отважных грабителей сделались в 1756 году безопасными соседями и спокойными хлебопашцами [Там же: 143—144];

...буруты, превосходящие всех соседственных с ними народов жестокостью и отважностью [Там же: 251];

сие отважное и многочисленное скопище успело нанести сильный удар крепости Таналыцкой и огряду войска, против него посланному [Там же: 263];

не будем удивляться, что сей отважный злодей избежал всякого наказания за поступки свои против России [Там же: 278].

Это слово вполне естественно там, где необходимо подчеркнуть наличие у представителей «первобытного» народа смелости, гранича-

щей с безрассудством и объясняющейся дикостью его состояния. Эту дикость Лявшин специально подчеркивает, причем существенно, что она предстает не как составная часть просветительской социальной теории, а как вызов идеям XVIII века:

Если бы Руссо прожил несколько месяцев в казачьих ордах, если бы он хорошо узнал народ сей, по невежеству, грубости, беспечности и порывам страстей, столь близко подходящий к состоянию его естественного человека, то может быть, мы не читали бы ни его рассуждений о неравенстве людей и о вреде наук, ни тех прекрасных и остроумных софизмов, которыми наполнены многие другие его сочинения, ни того, что враги и почитатели сего славного мизофилиантропа написали в его защиту и опровержение [Лявшин 1996: 321].

«Воинственные народы» Востока живут по своим законам, принципиально отличающимся от норм цивилизованного общежития. Восное противостояние с ними требует учета этих законов. Это становится очевидным в ходе многолетней войны, которую Российская империя вела на Северном Кавказе. Горцам свойственна отвага, достигающая до безрассудства, что постоянно отмечают русские мемуаристы; ср.:

Про его (одного из абхазских главарей. — Ю. К.) хитрость и отвагу рассказывали чудеса [Торнау 2000: 71];

Заметно было, что их (горцев. — Ю. К.) отвага переходила за обыкновенные пределы [Самсонов 1892: 124].

Можно отметить и попытки дезавуировать миф о беспримерной храбрости кавказских народов:

Точно также несправедливо думать, что горец владеет тою храбростью, которая составляет силу и честь воина. Грабеж и убийство — его ремесло, а потому неудивительно, что он ловко владеет оружием; вместе с тем нищета побуждает его прибегать иногда к самым отчаянным средствам, рождает в нем слепую отвагу и роковую решимость [Воронов 1857: 183].

Однако большинство авторов с одобрением отзываются о воинской доблести горцев:

Нужно отдать справедливость воинственным племенам шапсугов и патохадж: это действительно отважные и отменно ловкие бойцы! [Самсонов 1892: 110].

Более того, среди «экспертов» крепнет мнение о том, что если не демонстрировать горцам тех качеств, которые они считают похвальными,

они никогда не покорятся. Прапорщик Орбелиани, побывавший в плену у Шамиля, так передаст его отзыв о русских генералах:

Говоря о наших генералах, Шамиль скажет: Граббе решительный человек, что захочет, то и сделает; Фези храбрый генерал, он отнял у нас большую часть Дагестана; с особенною похвалою отзывался он о ген. Кругену, к которому имеет большое доверие. Кругену, говорил Шамиль, отважный, честный и добрый человек [Движение горцев 1959: 423].

Таким образом, слово *отважный* воспринимается как весьма высокая, комплиментарная оценка.

Горцы Кавказа своим полувековым сопротивлением заставляют совершенно иначе посмотреть на проблему эффективности боевых действий против представителей «воинственного народа». По всей вероятности, формирование особой касты военных, годами и десятилетиями служивших на Кавказе, привело к тому, что опыт столкновения с горскими народами Кавказа стал весьма важной частью национальных представлений о войне вообще. В Кавказской же войне, по причинам, указанным выше, представление об индивидуальной отваге выступало на передний план по отношению к способности систематически действовать в составе боевых порядков и участвовать в решении общих тактических задач.

Особенно способствовало популяризации кавказского военного опыта творчество А. А. Бестужева-Марлинского, пользующегося огромной популярностью, особенно в офицерской среде. По данным Национального корпуса русского языка, Бестужев-Марлинский употребляет слова *отвага*, *отважный*, *отважно* гораздо чаще подавляющего большинства русских писателей. Они встречаются почти во всех его повестях, причем, например, в «Письмах из Дагестана» (1831) слово *отвага* встречается 7 раз, слово *отважный* 2 раза (всегда как положительная оценка). Для сравнения, слов *отвага*, *отважный* и производных от них нет ни в «Войне и мире» Л. Н. Толстого, ни в «Севастопольских рассказах», ни в «Казаках»; однако они встречаются в повести «Хаджи-Мурат» (один раз *отвага* и один раз *отважный*), в рассказе «Набег» (один раз *отвага*). Можно предположить, что эти слова были овеяны своеобразной кавказской романтикой, вот и возникают у Толстого в рассказах, имеющих прямое отношение к Кавказской войне.

Так или иначе, отдельно взятый индивид, действующий безрассудно смело, в собственном смысле слова — отважно, оказался гораздо более ценной фигурой, чем это виделось рационалистам XVIII в. Из-



вестную роль сыграла также широкая рецепция русским обществом романтических представлений, интерес к героической индивидуальности и одновременно — к слепой фортуне, правящей людьми и народами (достаточно вспомнить повесть М. Ю. Лермонтова «Фаталист», 1839).

Все это определяет повышение в ранге характеристик *отвага*, *отважный*, *отважное поведение*; они ассоциируются теперь скорее с воинской доблестью, чем с действиями наудачу. Это отражается и в лексикографических описаниях русского языка. Хотя выше отмечалось, что в Словаре 1847 г. слова *отвага*, *отважный*, *отважно* получают практически то же толкование, что и в Словаре Академии Российской первого или второго изданий. Между тем показательным образом меняется толкование слова *храбрый*: если Словаре Академии Российской это слово интерпретируется как: «Мужественный; смѣлый, неустрашимый» [САР<sup>1</sup>, VI: 582; САР<sup>2</sup>, VI: 1183], — то в Словаре 1847 г. как: «Отважный, мужественный, неустрашимый, смѣлый» [СЦРЯ, IV: 411]. Если учесть явную зависимость толкований Словаря 1847 г. от Словаря Академии Российской (по крайней мере в отношении исследуемых нами слов), становится ясно, что слово *отважный* внесено сюда вполне сознательно: лексикографы посчитали, что без него толкование слова *храбрый* будет неполным. Это означает, что если формально толкование слова *отважный* почти не изменилось, в прагматике употребления этого слова явно наметились изменения в сторону его большей престижности и комплиментарности.

В конечном итоге слова *отвага*, *отважный*, *отважно* утверждаются в языке военного нарратива как частичные синонимы слов *смелость*, *смелый*, *смело*, получая оттенок индивидуальной выраженности, исключительности, уникальности, внесистемности (ср. [Евгеньева, II]). По времени и по культурно-семантическому содержанию, реабилитация «отваги», «отважного поступка», их узаконение в культуре происходит в эпоху критики рационализма XVIII века и формирования зрелого, постромантического новоевропейского представления о нормах человеческого поведения.

## ЛИТЕРАТУРА

- Архив Куракина, I—X — Архив кн. Ф. А. Куракина. Кн. I—X. СПб., 1890—1902.
- Булав. восст. — Булавинское восстание (1707—1709). Труды Историко-археографического института АН СССР. Т. XII. М., 1935.

- Вороной 1857 — *Н. Воронов Н.* Черноморские письма // Русский вестник. 1857. № 7.
- ГСБМ 1—30 — Гістарычны слоўнік беларускай мовы. Вып. 1—30—. Минск, 1982—2010 — (издание продолжается).
- Гистория Свейской войны. I—II — Гистория Свейской войны (Поденная записка Петра Великого). Вып. 1—2. М., 2004.
- Давыдов 1987 — *Давыдов Д. В.* Стихотворения. Проза. М., 1987.
- Движение горцев 1959 — Движение горцев Северного Кавказа в 20—50 гг. XIX века. Махачкала, 1959.
- Евгеньева, I—II — *Евгеньева А. П.* Словарь синонимов русского языка. Т. I—II. М., 2001.
- Ибрагимов 1814 — *Ибр[агимов] Н. [М.]* О синонимах // Сын Отечества. 1814. № IV.
- Кантемир. I—II — [*Кантемир А. Д.*] Русско-французский словарь Антиоха Кантемира / Публ. Е. Э. Бабасвой. М., 2004.
- Кнапский, I—III — *Knapski Grzegorz.* Thesaurus Polonolatinograecus seu Promptuarium Latinae et Graecae... Т. I—III. Kraków, 1621—1632.
- Кутузов 1989 — *Кутузов М. И.* Письма, записки. М., 1989.
- Линде, I—VI — *Słownik języka polskiego przez M. Samuela Bogumiła Linde.* Т. I—VI. Lwów, 1854—1860.
- Левшин 1996 — *Левшин А. И.* Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких гор и степей. Алматы, 1996.
- Лексикон 1964 — Рукописный лексикон первой половины XVIII века / Публ. А. П. Авсрьановой. Л., 1964.
- Описание Турции — Описание Турецкой империи, составленное русским, бывшим в плену у турок во второй половине XVII века // Православный палестинский сборник. СПб., 1890. Т. X. Вып. 3.
- ПБП, I—XIII — Письма и бумаги императора Петра Великого. Вып. I—XIII. СПб.; М.; Л.; СПб., 1873—2003.
- Поликарпов 1704 — [*Поликарпов Ф. П.*] Лексикон треязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище... М., 1704.
- Прозоровский 2004 — [*Прозоровский А. А.*] Записки фельдмаршала князя Александра Александровича Прозоровского (1756—1776). М., 2004.
- Румянцев 1947 — Фельдмаршал Румянцев. Сборник документов и материалов. М., 1947.
- Румянцев 2001 — Фельдмаршал Румянцев. Документы, письма, воспоминания. М., 2001.
- Савелов 1906 — *Савелов Л.* Переписка патриарха Иоакима с восводами, бывшими в Крымских походах 1687—1689 гг. Симферополь, 1906.
- Самсонов 1892 — [*Г. Самсонов.*] Из записок старослуживого // Русский вестник. 1892. № 10.

- САР<sup>1</sup>, I—VI — Словарь Академии Российской. Т. I—VI. СПб., 1789—1794.
- САР<sup>2</sup>, I—VI — Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. Т. I—VI. СПб., 1806—1822.
- Сводка 1707—1708 — О подавлении народного восстания 1707—1708 гг. // Исторический архив. № 4. 1955.
- СРЯ XVIII в., I—17 — Словарь русского языка XVIII века. Вып. I—17 — (издание продолжается). Л.; СПб., 1984—2007—.
- Суворов, I—IV — *Суворов А. В.* Документы. Т. I—IV. М., 1949—1953.
- Суворов 1986 — *Суворов А. В.* Письма. М., 1986.
- СЦРЯ, I—IV — Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым отделением Имп. Академии наук. Т. I—IV. СПб., 1847.
- Торнау 2000 — *Торнау Ф. Ф.* Воспоминания кавказского офицера. М., 2000.
- Украинская поэзия — Українська поезія. Середина XVII ст. Київ, 1992.
- Фасмер, I—IV — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1964—1973.
- Черных, I—II — *Черных П. Я.* Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. I—II. М., 1999.
- Шабалин 1961 — *Шабалин М. Н.* К этимологии слова (*отважный*) в русском языке // Этимологические исследования по русскому языку. Вып. III. М., 1961.
- Шаховской 1998 — *Шаховской Я. П.* Записки // Империя после Петра. 1725—1765. Яков Шаховской. Василий Нащокин. Иван Неплюев. М., 1998.

## **СКОМОРОХ И СКОМОРОШЕСТВО: К ИСТОРИИ СЛОВ И ПОНЯТИЙ**

Любое описание культуры Древней Руси в той или иной степени апеллирует к расплывчатому комплексу явлений, которое соотносится с понятиями *скоморох*, *скоморошество*. Большое количество научных работ, посвященных скоморохам, должно было внести некоторую ясность относительно этого явления. Однако если мы обратимся к исследованиям последних лет, то увидим, что авторы статей и монографий, не сомневаясь в значении скоморошества для отечественной культуры, жалуются на расплывчатость и неопределенность тех реалий, которые стоят за словом *скоморох*.

Скоморохи всегда были загадочным явлением в истории России и русской культуры. С конца XVIII в. и до нашего времени ведутся споры об их происхождении, о временных рамках их деятельности, репертуаре, профессиональной специализации и даже об этимологии терминов, с ними связанных [Фрэнсис 2007: 463]:

Скоморошество, многократно описанное в разных аспектах, как художественно-историческое явление остается трудноопределимым (...) Обратившись к наследию скоморохов, исследователь сталкивается с трудноразрешимыми проблемами. В сущности, наследия скоморохов как такового не существует [Власова 2001: 5—8]:

Никто, пожалуй, не породил столько мифов (наряду с серьезными исследованиями), сколько скоморохи. Появилась (с 1976 года) даже целая наука «скомороховедение», но нет доныне ни «каликведения», ни «ряженъсведения» и т. п. Видимо, такова магическая притягательность самого слова [Грунтовский 2002: 28].

Действительно, изучение литературы о скоморохах скорее вызывает вопросы, чем на них отвечает. Это объясняется тем, что у исследователей со словом *скоморох* ассоциируются разные аспекты исторической реальности. Во-первых, есть представление, что скоморохи — это отечественные менестрели, сочинители и исполнители русского

эпоса<sup>1</sup>, во-вторых, скоморохи — это бродячие актеры (русский аналог европейским жонглерам и пинльманам)<sup>2</sup>, и наконец, в некоторых работах скоморохам приписывают жреческие функции, утверждая, что скоморохи и волхвы по сути одно и то же<sup>3</sup>. Неясен и другой момент: скоморох — это что, профессия (то есть промысел, способ заработка) или некоторое умение (например, играть на музыкальном инструменте)? Может ли крестьянин или кузнец, гончар, торговый человек быть одновременно скоморохом или нет? Были ли скоморохи особым социальным институтом, чем-то вроде европейского ремесленного цеха<sup>4</sup>, или явление носило спорадический неформальный характер? Читая статьи и книги о скоморохах, совершенно неясно, есть ли какая-то граница между скоморохами и ряжеными, между скоморохами и калликами переходными, между скоморохами и медведчиками, кукольниками, балаганными актерами. Стоят ли разные реалии за разными словами, или мы имеем дело с одним явлением, но по-разному названным. Вся эта пуганица позволяет предположить, что существует некоторый зазор между словом *скоморох* в исторических контекстах и современным понятием *скоморох*. Собственно этот зазор и является темой данной статьи.

Если из работ историков не вырисовывается никакой однозначной картины по поводу института скоморошества, то у филологов тоже нет особой ясности по поводу происхождения слова и его истории. Существует несколько версий этимологии слова, ни одна из них не является безупречной. Характерно, что Фасмер характеризует его как «трудное слово» и, приведя все существующие версии, не останавливается ни на одной [Фасмер, III: 648—649]. Кроме того, есть и другая проблема. Большинство исследователей сходятся на том, что сам социальный институт скоморошества явление не заимствованное<sup>5</sup>, а

---

<sup>1</sup> О том, что скоморохи поют былины, свидетельствует В. И. Татищев: «Я прежде у скоморохов песни старинные о князе Владимире слышал, в которых же его именами, тако же о славных людех Илье Муромце, Алеше Поповиче, Дюке Степановиче упоминают и дела их прославляют» [Татищев 1768: 44]. В научной литературе вопрос о профессиональных певцах-скоморохах и былинной традиции был поставлен в работе Миллера «Былинное предание в Олонеской губернии» [Миллер 1894]. Среди исследований XX в., посвященных этой стороне проблемы, можно отметить работы А. А. Морозова [Морозов 1946; 1950] и З. И. Власовой «Скоморохи и фольклор» [Власова 2001].

<sup>2</sup> Об этом см. [Весселовский 1883: 129—130].

<sup>3</sup> Об этом см. [Барщевский 1914: 3—9; Власова 2001: 23—126].

<sup>4</sup> Об этом см. [Беляев 1854: 76—78].

<sup>5</sup> О заимствованной природе скоморошества см. [Весселовский 1883: 183].

исконное. Скоморохи — это специфически русское явление, независимо от того, каково происхождение слова. Следовательно, ожидается появление этого слова в памятниках, составленных или переведенных на Руси. Однако это слово встречается и в текстах, которые были переведены в Болгарии: в хронике Иоанна Малалы, Житии Иоанна Златоуста, Синайском Патерике.

Я оставляю в стороне вопросы этимологии и вопрос о том, было ли явление заимствованным или исконно русским, и сосредоточусь на употреблении слова *скоморох* (*скомрах*) в текстах XII—XVIII вв. При работе были рассмотрены контексты с корнем *скомрах-/скоморох-*, которые собраны в картотеке «Словаря русского языка XI—XVII вв.» и картотеке «Словаря русского языка XVIII века»<sup>6</sup>. Кроме того, были проанализированы тексты, входящие в сборник документов «Скоморохи в памятниках письменности», выпущенный Пушкинским домом в 2007 г. (далее [Скоморохи в памятниках 2007]).

При анализе контекстов становится очевидным, что слово *скоморох* сугубо книжное. Одним из доказательств является то, что неполногласная форма *скомрах* встречается достаточно часто. Слово *скомрах/скомрах* чаще всего появляется в текстах правового характера как переводных: Кормчая, Третьяк (раздел: покаяние священническое), — так и непереводных: Судебник Федора Иоанновича, многочисленные жалованные грамоты, Стоглав и др. Кроме сугубо правовых текстов оно встречается также в текстах иных жанров в контекстах учительного характера.

Обращает на себя внимание тот факт, что слово *скоморох* регулярно появляется в книжных контекстах, имеющих запретительное или осуждающее содержание. Вот некоторые из них:

Но сим дьявол льстит и другими нравы всякими и лъстими пребавля ны от Бога трубами и скомрахи и гуслеми и русальями видим бо игрища утолочена и люд(ей) множество на них [Радзивиловская летопись 1902: 99] (XV в);

Сотона... присно и многыми кзыньми ч(е)л(ове)кы врагы Б(ог)у сътворяеть всякими лъстими превибляя (отлучая) ны от Б(ог)а труба-

---

<sup>6</sup> Пользуюсь случаем выразить свою признательность сотрудникам Отдела исторической лексикографии и исторической грамматики Института русского языка им. В. В. Виноградова РАН (руководитель В. Б. Крысько) и Группы исторической лексикологии Института лингвистических исследований РАН (руководитель И. А. Малышева) за возможность пользоваться картотеками словарей русского языка XI—XVII и XVIII в.

ми (съпельми) и скомрахи и иными играми [Сведения и заметки I. 3: 41] (XII в.);

О неких не приемлених людским судом: и скоморох и ели и еретик и жидовин не прияти и [Мерило праведное 1961: 158] (сер. XIV в.);

Се бо сатанинско замышление, горши поганых есть, сий бо позоры замыслил есть: смехотворцы, кощунники и скомрахи изучи, да тех дела злыми и позоры погубит зле [Пономарев 1897: 106] (XIV в.);

А попрошатаем у них, в тех деревнях ездя, не просить и скоморохам не играти; а учнут у них попрошатаи ездя просит и скоморохи играти, и яз тех велел имати и давати на поруки, и ставити перед собою, перед великим князем (*Жалованная грамота Великого князя Василия Ивановича Кассиано-Учелскому монастырю об освобождении от пошлин монастырских сел и деревень в Углицком уезде 1522*. Цит. по [Скоморохи в памятниках 2007: 22]);

В мирских свадьбах играют глумотворцы и органики, и смехотворцы, и гусельники и бесовские песни поют. (...) К венчанию ко святым божиим церквам скоморохом и глумцом перед свадьбою не ходити (*Стоглав ст. 16 1551*. Цит. по [Скоморохи в памятниках 2007: 35]);

Также в праздники, вместо духовного торжества и веселия затевают игры бесовские, приказывают медведчикам и скоморохам на улицах, торжищах и распутиях сатанинские игры творить, в бубны бить, в сурны реветь, в ладоши бить и плясать; по праздникам сходятся многие люди, не только молодые, но и старые, в толпы ставятся, а бывают бои кулачные великие смертного убийства; в этих играх многие и без покаяния пропадают. Всякие беззаконные деле умножились еллинския блядословия, кощунства и игры бесовские; сядя удавленину и по торгам продают, да еще друг друга бранят позорною бранью, отца и мать блудным позором и всякою беззастудною нечистотою языки свои и души оскверняют (*Грамота Патриарха всея Руси Иосафа против беспорядков, происходивших во время церковной службы в московских церквах 1636*. Цит. по [Скоморохи в памятниках 2007: 55]).

Из приведенных примеров видно, что рядом со словом *скоморох* появляются слова: *дьявольский, сатанинский, бесовский, дьявол, враг* и подобные. Праведная жизнь противопоставляется неправедной: если в праведной жизни царит духовное торжество и веселие, то в неправедной — скоморошья игры и глум.

Риторическая структура фразы, осуждающей скоморошество, такова, что рядом со скоморошеством осуждаются и другие вещи. Во-рожен, шахматы, качели, кулачные бои — все эти явления так или иначе соотносятся в сознании авторов документов и поучений с язычеством.

Скомраховъ и всякого козлогласования и баснословия их не творити [Стоглав 1887: 186] (XVII в.);

В сицевых играст и утешается и радуется душа, неже скомрахи и плясцы и шахматы и тавлен... [Дружинин 1909: 80] (XVI в.);

И мы, великий государь, жался о православных христьянех, велели {...} в городе, и в слободах, и в уезде мирских всяких чинов люди, и жены их, и дети в воскресные и Господеские дни и великих Святых к церквам Божиим к пению приходили и у церкви Божии стояли смиренно, меж себя в церкви Божии в пение никаких речей не говорили, и слушали б церковного пения со страхом и со всяким благочинием внимательно, и отцов своих духовных и учительных людей наказания и учения слушали, и от безмерного пьяного питья уклонялися, и были в твердости: и скоморохов с домрами и с гуслими, и с волынками, и со всякими играми, и ворожей, мужиков и баб, к большим и ко младенцам в дом к себе не призывали, и по зорям, солнечного восходу смотря, не веровали, и в первой день луны и в гром на воде не купались, и серебра по домам не умывались, и олова и воску не лили, и зернья, и карты, и шахматы, и лодыгами не играли, и медведей не водили, и с сучками не плясали, и никаких бесовских дел не творили и на браках песней бесовских не пели и никаких срамных слов не говорили, и по ночам на улицах и на полях богомерских и скверных песней не пели и сами не плясали и в ладони не били, и всяких бесовских игр не слушали, и кулачных боев меж себя не делали, и на качелях ни на каких не качались, и на досках мужсково и женсково полу не скакали, и личин на себя не накладывали, и кобылок бесовских, и на свадьбах бесчинства и сквернословия не делали [Скоморохи в памятниках 2007: 66—67] (1648 г.).

Кажется логичным предположить, что здесь мы имеем дело со стандартным средневековым топосом, где слова *скоморох*, *скоморошество* указывают на разного рода народные увеселения и развлечения, осуждаемые Церковью как языческие игрища. В некоторых контекстах слова *скоморошеский*, *скоморошество* покрывают все возможные действия, в других — на первом месте стоит *скоморошество*, а за ним все остальные развлечения, т. е. слова *скоморох*, *скоморошеский*, *скоморошество* — обозначают в некотором смысле родовые, а не видовые понятия. С очевидностью, этот топос восходит к 24 и 51 правилам VI Вселенского собора, а также отчасти к 62 правилу того же Собора и 54 правилу Поместного Лаодикийского собора. Здесь перед нами встает текстологическая проблема, которую в рамках настоящей статьи мы решать не будем. Как известно, правила Вселенских соборов входили в состав юридических сборников разного состава. Обычно по отношению к этим сборникам упо-



требуется общее наименование Кормчая книга. Анализ функционирования интересующей нас лексики в кормчих, относящихся к различным редакциям, — дело будущего. Здесь же мы ограничимся тем, что приведем соответствующие правила по стандартному изданию еп. Никодима (Милаша):

#### Правило 51 VI Вселенского собора

Святейший вселенский собор сей совершенно возбраняет быти смехотворцам, и их зрелищам, такожде и зрелища звериные творити и плясания на позорищи. Аще же кто настоящее правило презрит и предастся которому либо из сих возбраненных увеселений: то клирик да будет извержен из клира, а мирянин да будет отлучен от общения церковного [Никодим I: 536].

#### Правило 24 VI Вселенского собора

Никому из числящихся в священном чине, ни монаху, не позволяется ходити на конския ристалища, или присутствовать на позорищных играх. И аще кто из клира зван будет на брак: то при появлении игр, служащих к обольщению, да встанет, и тотчас да удалится: ибо так повелевает нам учение отец наших [Никодим I: 506].

#### Правило 62 VI Вселенского собора

Так называемые календы, вота, врумалия и народное сборище в первый день месяца марта, желаем совсем исторгнути из жития верных. Такожде и всенародная женская плясания, великий вред и пагубу напосити могущая, равно и в честь богов, ложно сближати именуемых, мужеским или женским полом производимыя плясания и обряды, по некоему старинному и чуждому христианского жития обычаю совершаемые, отвергаем, и определяем: никакому мужу не одеваться в женскую одежду, ни жене в одежду, мужу свойственную: не носить личин комических, или сатирических, или трагических: при давлении винограда в точилах, не возглашати гнусного имени Диониса, и при вливании вина в бочки не производить смеха, и по невежеству, или в виде суеты не делати того, что принадлежит к бесовской прелести. Посему тех, которые отныне, зная сие, дерзнут делати что-либо из вышесказанного, аще суть клирики, повелеваем извергати из священного чина, аще же миряне, отлучати от общения церковного [Никодим I: 550].

#### Правило 54 Поместного Лаодикийского собора

Не подобает освященным или причетникам зрети позорищныя представления на браках или на пиршествах: но прежде вхождения позорищных лиц вставати им и отходить [Никодим II: 113].

При параллельном чтении юридических (учительных) контекстов со словами *скоморох*, *скоморошество* и соборных правил становится

понятным, почему скоморошьи игры называются дьявольскими или сатанинскими.

И понятной становится еще одна вещь. В переводных текстах слово *скоморох* соответствует не только греческому *μῖμος*, т. е. 'мим', но и *ἵπποδρομία* — 'конское состязание' и *ῥήτορας* — 'возничий, правящий колесницей'<sup>1</sup>. В этом случае не стоит говорить о неточности и неадекватности перевода. Конские ристалища в соборных правилах стоят рядом с позорищами, где играют мимы. И слово *скоморох* является не столько точным переводом, сколько знаком, отсылающим к знакомому и важному для христианина контексту.

Осуждение народных увеселений связано с осуждением языческих проявлений, которые недопустимы в христианском государстве. Причем язычество здесь понимается достаточно широко: от очевидно славянских явлений (например, ворожен) до абстрактных книжных обозначений язычника (например, сллины), от отечественных кулачных боев до непонятно чему соответствующих «конских уристаний». Таким образом употребление слова *скоморох* оказывается достаточно абстрактным, не несущим конкретной информации о язычестве в Древней Руси.

Помещенные рядом фрагменты из средневековых текстов и соборные правила объясняют, почему в работах историков зачастую нет различия между скоморохами и волхвами, скоморохами и ряжеными. Источники объединяют эти понятия общим контекстом осуждения, не позволяя провести отчетливую границу между ними. На наш взгляд, за словом *скоморох* не стоит какого-либо определенного общественного института, оно обладает скорее обобщенной осуждающей семантикой. Оно не было общим названием профессии или самоназванием людей, имеющих отношение к тому, что мы называем народной смеховой культурой. Вообще, выводы историков, сделанные на основании письменных источников, содержащих упоминания о скоморохах, весьма сомнительны. Это все равно, что на основании христианских риторических текстов, осуждающих блуд и блудодейцев, делать выводы о существовании института гетер в русской деревне. А ведь именно так поступают историки, исследуя вопрос о скоморохах.

Мой вывод об отсутствии скоморошества как социального института не означает, что не существовало *гудочников, свирельщиков,*

---

<sup>1</sup> Некоторое недоумение по поводу перевода слов, означающих разнообразные византийские реалии, словом *скоморох* выражает С. А. Иванов в своей работе «Jesters and the Byzantine Hippodrome» [Иванов 1992].

*домрачеев, игрецов, глумцов, бахарей, ряженных, медведчиков* и др. лиц, занятием которых была потеха и игра. И в контекстах, где нет запретительного значения, появляются именно эти слова. Характерно, что при описании, например, царских развлечений появляются именно *бахари, гудочники* и просто *веселые люди*, но не *скоморохи*. А в Третьем послании Андрея Курбского, обвиняющем царя в том, что он не праведный православный царь, а язычник, употребляется именно слово *скоморох*, которое опять же в духе средневековой книжной риторики ставится в один ряд с *волхвами* и *чаровниками*. И противопоставляется *богодуховенным книгам* и *священным молитвам*.

... Егда церковь твою гласную осквернили различными нечистотами, ноипаче же пятоградные гнусности пропастию и иными бесчисленными и неизреченными злодѣйствы напроказили, имиже всегубитель нашъ, диявол, род чловѣческій издавна гнусен творит и мерзок перед Богом и во послѣднюю погибель врѣзает, яко ныне и твоему величеству от него случилось: вмѣсто избранных и преподобныхъ мужей, правду ги плаголющихъ, не стыдѣся, прескверныхъ паразитовъ и маньяковъ поднесъ тебѣ; вмѣсто крѣпкихъ стратиговъ и стратилатовъ прегнусодѣйныхъ и богомерзкихъ Бельскихъ с товарищи и вмѣсто храбраго воинства кромѣшниковъ, или опришниковъ кровоядныхъ, тыи тмами горшихъ, нежели палачей; вмѣсто богодуховенныхъ книгъ и молитвъ священныхъ, имиже душа твоя безсмертная наслаждалася и слухи твои царскіе освящалися, скомороховъ со различными дудами и богоненавистными бѣсовскими пѣснями, ко осквернению и затворенію слуха входу ко феологии; вмѣсто блаженнаго оного презвитера, яже ты былъ примирилъ ко Богу покаяніемъ чистымъ, и другихъ совѣтниковъ, духовно часто бесѣдующихъ с тобою, яко намъ здѣ повѣдаютъ, не вѣмъ, сѣтъ ли правда чаровниковъ и волхвовъ от далѣчайшихъ странъ собираешь, пытающе ихъ о счастливыхъ дняхъ [Курбский 1993: 116—117].

В обличительном тексте, каковым является цитируемое выше послание Андрея Курбского, явно не место веселым, гудочникам, домрачам и гуслисткам. Зато в текстах вне риторики осуждения и учительства они появляются в большом количестве. Наиболее общим значением обладает слово *веселый (веселые)*. По своему употреблению оно стоит ближе всего к современному употреблению слова *скоморох*. Вообще слово *веселый (веселые)* является максимально широким для обозначения людей, развлекающих и потешающих. Это слово появляется там, где имеет место нейтральное описание ситуации и где нет риторики осуждения и запрещения.

Веселые Андрей Степанов и Филат Завьялов платили по 6 денег с человека. Веселые Евдоким Ярафеев да Нифон Семенов платили явки 8 денег [Таможенные книги, I: 262];

Марта в 3 день веселые Третьяк Матвеев, Третьяк Ларионов, Томило Афанасьев, Иван Петров, Прокопей Ларионов платили по 4 деньги с человека [Таможенные книги I: 265];

А в те поры в Новгороде, и по всем городам и по волостем, на государя брали веселых людей да и медведи описывали на государя (...) у кого скажут [Новгородская II летопись: 107] (1572 г.);

И Яков сказал: веселые были иноволосные, а были в деревни и збирали себе хлеб, а у меня веселье не играли (*Акты Александрова Сvirского монастыря 1659*. Цит. по [СЛРЯ XI—XVII в., 2: 112]).

В связи с тем, что можно достаточно уверенно указать на осуждающий компонент в значении слова *скоморох* в текстах XII—XVII вв., еще раз вернусь к вопросу, о котором говорилось в начале статьи. Скоморох — это профессия и промысел или развлечение? Этот вопрос отсылает нас к попыткам найти следы скоморохов в писцовых и таможенных книгах XVI—XVII вв.<sup>8</sup> На материалах этих книг историки пытаются выяснить, каково было число скоморохов в городах и сельской местности<sup>9</sup>. При этом научная ценность выводов кажется

---

<sup>8</sup> Речь идет прежде всего о работе В. И. Петухова «Сведения о скоморохах в писцовых, переписных и таможенных книгах XVI—XVII вв.» [Петухов 1961].

<sup>9</sup> Вот как выглядят материалы, на основе которых делаются выводы о распространении скоморошества:

Ноября в 20 день... Явил новоторжец Кирилла Иванов сын Рогов на двух возех дватцать два пуда сала сырцу да воску два пуда... Цена прода-  
ному товару восьмнатцать рублев...

Ноября в 24 день... Явил с Едрова яму посацкой человек Яков Тимофеев сын Дудолодов на двух возех пятьдесят кож... Цена тому товару дватцать пять рублей с полтиною...

Генваря в 18 день... Явил ямогородец Кузьма Федоров сын Дудин на дву-  
натцати возех двенатцать кип хмелю весом восемнатцать берковеск да пуд с  
четыю меду... Цена хмелю и меду семьдесят шесть рублей с полтиною...

Марта в 5 день. Явил иванягородец Антип Ондреев сын Смычецково  
для товарные покупки дватцать рублев денег...

Марта в 24 день... Явил в проезд ошашковец Кондратей Богданов сын  
Трубицын на семи возех шестьсот кож яловичных да бочка сала топлени-  
цу... И того он товару в Великом Новгороде не продал... (*Таможенная  
книга Великого Новгорода 1610/11 и 1613/14*. Цит. по [Скоморохи в памя-  
тниках 2007: 326]).

Все перечисленные персонажи понимаются исследователями как дети скоморохов.

очень сомнительной. Во-первых, если в этих книгах и упоминаются скоморохи (чаще всего эти упоминания выглядят следующим образом: Данилка-рожечник, Истомка-скоморох, Ивашка сын Дудин, Филипка сын Трубников, Микифорка-Куколник), нет возможности провести различие между прозвищем человека и его реальным умением, например, играть на музыкальных инструментах. Во-вторых, людей, записанных как скоморохи, очень мало. В одной из последних работ, посвященных изучению писцовых книг, читаем:

Установить не точное, а хотя бы приблизительное количество скоморохов в том или ином городе практически невозможно: для писцов скоморохи не представляли интереса, если не принадлежали к группе зажиточных. Попадать на перо писцу и брать на себя подати и «тягло» не было смысла и для скоморохов [Власова 2007: 443].

Мне кажется, что отсутствие упоминания связано не с имущественным цензом, а с тем, что скоморох — это не особый род занятий. Это слово говорит о некоторой неблагонадежности горожанина и без необходимости не употребляется (аналоги: гулящий, попрошатай, нищий).

Выше говорилось, что большинство контекстов со словом *скоморох* находятся в переводных или непереводаемых текстах правового или учительного характера. Другой устойчивый жанр, где появляется слово скоморох — жития. Известно житие Вавилы (VI—VII в.), который был комедиантом в Тарсе Киликийском, имел две жены, а затем, случайно зайдя в церковь, обратился и вместе с женами принял монашеский постриг [О.В.Л. 2003: 470], в русской традиции он назван Вавилой-скоморохом. Замечу, что для христианской литературы праведный скоморох звучит примерно так же, как праведный разбойник. Любопытно, что память Вавилы празднуется в Сырную субботу, то есть на масляной неделе, накануне Прощенного воскресенья. В русской литературе этот сюжет был обыгран Н. С. Лесковым в рассказе «Скоморох Памфалон» [Лесков 1989: 113—164].

Жития, созданные на русской почве, рассказывают о святом, который встречает на своем пути скомороха и отказывается слушать его игру или же разбивает музыкальные инструменты. Первая история столкновения святого со скоморохами содержится в Житии Феодосия Печерского, однако самого слова *скоморох* здесь нет.

Въ един же от дыни шедшу к тому блаженному и богоносному отцю нашему Феодосію, и яко вниде въ храм, идѣже князь сѣдый, и се видѣ многы играюще пред нимъ: овы гусленыя гласы испущающим, и

инѣм мусикейскыя пискы гласящим, иныя же органныя, и тако вѣм играющим и веселящимся, якоже обычай есть пред князем. Блаженный же бѣ въскрай его сѣдя и долу зря поникъ, и яко мало въсклонився, рече к тому: «будет ли снѣ въ онъ вѣкъ будущій». И абіе князь словом блаженаго умился и мало прослезился, повелѣ тѣм престати. Оттогѣ и еще когда повелѣваше тѣм игры творити и когда услыша Феодосіа блаженаго пришествіе, то повелѣваше тѣм тихо стати и молчати [КПП 1931: 68].

То, что речь идет о скоморохах, а не просто о княжеских музыкантах, не вызывает сомнения у исследователей. И это, на мой взгляд, правильное понимание контекста. Святой реагирует на инструментальную музыку так, как положено духовному лицу, согласно церковным юридическим нормам. Именно в подобных случаях (то есть при столкновении священника или монаха с музыкантами) должно было употребляться слово *скоморох*.

В старообрядческом житии Ивана Неронова иерей Иоанн также встречается со скоморохами (здесь они названы именно *скомра*хами, хотя из контекста мы видим, что речь идет о Святках, следовательно, перед нами не просто музыканты, а ряженые). Иван Неронов сражается с бесовскими слугами, то есть ведет себя так, как положено священнику (с той разницей, что преподобный Феодосий смиренно опускает глаза, а старообрядческий иерей крушит ряженных-скоморохов как реальных врагов, материализовавшихся бесов)<sup>10</sup>.

Бе же в граде том наученнем днавольским множество *скомра*хов, иже хождаху по стогнам града с бубны и с домрами и с медведьми. Иоанн же непрестанно заирещаше им, да останутся такового злаго обычія и смехотворных игралищ, яже не суть угодна Богу, и сокрушаше их бубны и домры. Они же, гнева на нѣ и ярости исполняющеся, бияху Божія иерея. И многа страдания от *скомра*хов оных, яко от слуг сатанинских, подъемляше; а иныи, видяше терпение его и непрестанную по Бозе ревность, оставляхуся от того злаго дела, и в покаяніи приходяху, и припадающе к служителю Господню Иоанну, просяху прощения и притекаху к Святей церкви. Многожды же исхождаше Иоанн против *скомра*хов с ученики своими во время Рождества Христова и Святаго Богоявления, в ты дни иже нарицаются Святки:

<sup>10</sup> Аналогичная сцена прямой борьбы со скоморохами есть и в Житии протопла Авакума: «И я паки позавелся, а дьявол и паки воздвиг на меня бурю. Придоша в село мое плясовые медведи с бубнами и с домрами, и я, грѣшник, по Христе рсвнуя, изгнал их, и хари и бубны изломал на полѣ един у многих, и медведей двух великих отнял, — одново ушиб, и паки ожил, а другога отпустил в полѣ» [ПЛДР, XI: 357].

посе же и в полуночи хождаше по стогам града, и сражахуся с бесовскими слугами, и повелеваше учеником своим орудия игр бесовских разбивати и сокрушати. И тако сражающеся мнози раны от скомрахов, бесовских слуг, приемляше Иоанн и ученицы его, и носяще страдание на теле своем, яко некий дар, с радостию, кровию обогрени, ели живы, в дом возвращахуся [Материалы 1885: 261].

Так же как в случае с Феодосием Печерским, этот контекст вновь отсылает нас к церковному праву, запрещающему священнослужителям присутствовать на позорищных играх. То есть присутствие скоморохов в житийных текстах скорее факт агнографической риторики, а не реальной истории.

История слов *скоморох*, *скоморошеский*, *скоморошество* в XVIII—XIX вв. заслуживает отдельного исследования. Здесь я постараюсь наметить лишь пунктирную линию дальнейших разысканий. Хорошо известно, что в XVII в. скоморошество было запрещено не только церковной, но и государственной властью<sup>11</sup>. То, что скоморохи исчезли накануне петровских реформ, является общим местом, однако медведчики, кукольники и другие бродячие актеры существовали и в XVIII, и в XIX веке<sup>12</sup>, поэтому с уверенностью мы можем говорить лишь о том, что слово *скоморох* исчезает из документов. Любопытно, что именно на это время приходятся первые свидетельства о появлении в России профессионального театра.

Исчезнув из языка законодательства, слово *скоморох* начинает осваиваться новым литературным языком. В XVIII в. оно активно употребляется в качестве уничижительной характеристики явлений старой культуры. Когда российские литераторы говорят об искусстве скомороха, они имеют в виду грубую, простонародную музыку, которая не причастна европейской культурной традиции. То есть скоморох — это музыкант из прошлой жизни, не знающий подлинного высокого искусства.

Стиль шутовский, презрев рассудность головою,  
Сперва всех обманул своею новизною.  
Без шильца вот нигде уж не было Стихов.  
Парнасский стал язык на площади каков.  
Катится без узды Стих вольно как горохом;  
И Аполлин тогда сам стал быть скоморохом [Тредиаковский, I: 6].

<sup>11</sup> Обзор актов, направленных против скоморошества см. [Фаминницын 2009: 198—206].

<sup>12</sup> См. [Искрылова 1988].

Но суд удобен всем: искусство тяжело.  
Посудим-ка себя, нахмуривши чело.  
Увы!.. я не сорвал без герний розу.  
Мое достоинство — писать на рифмах прозу.  
Без воображения, противу языка,  
Всечасно падая под критикову лозу.  
Осталось ли со мной сравненье виртуозу.  
Пленяющему слух движением смычка?  
Его художество прекрасно, благородно;  
Чтобы возвыситься, поэзия должна  
Из живописи быть с музыкой сложена.  
Достоин Ариост идти с Паизиселом,  
Но сельский скоморох достался мне уделом,  
Который на гудке заставлен поскрыпеть,  
Мешает мужикам согласно песню спеть (1783) [Муравьев 1967: 222].

Особо следует сказать об использовании слова *скоморошество* В. Н. Татищевым. Он использует это слово в ряду оппозиционных пар (музыка-скоморошество, знаменованис-живопись, танцевание-плясане и т. д.), в которых старая культура противопоставляется новой.

Какіе науки щегольскія разумѣются?

Отвѣтъ.

Оныхъ наукъ есть число не малое, но я вамъ токмо нѣкоторыя упомяну, яко: 1) стихотворство или поэзія, 2) музыка, русски скоморошество, 3) танцваніе или плясаніе, 4) вольтежированіе или на лошади садиться. 5) знаменованіе и живопись, которыя по случаю могут полезны и нужны быть, яко танцваніе не токмо плясанію, но болѣе пристойности какъ стоять, идти, поклониться, поворотиться учить и наставляеть; знаменованіе же во всѣхъ ремеслахъ есть нужно [Татищев 1979: 92].

Современное понятие *скоморох*, по всей видимости, родилось в XIX в. в трудах отечественных историков. Характерно, что И. Забелин считает необходимым комментировать встречающееся в источниках, но вышедшее из употребления слово *веселые* словом *скоморохи* (Про Ивана Васильевича: «он точно так же любил веселых, т. е. *скоморохов*, любил медвежью травлю и тому подобные удовольствия») [Забелин 1895: 356]. В работах историков и филологов XIX в. слово *скоморох* употребляется в связи с достаточно широким спектром представлений. На Руси так же, как и средневековой Европе, должны были быть свои менестрели (певцы княжеского двора), свои бродячие актеры и свои шуты. Именно для обозначения отечественного вариан-



та этих персонажей в историко-филологических науках используется книжное по происхождению слово *скоморох*.

Для истории слова *скоморох* важны еще два факта истории XX в. Во второй половине XX века это слово активно используется в связи с прочтением работ Бахтина и со стремлением использовать понятие смеховой культуры по отношению к Древней Руси [Белкин 1975: 2—6]. А в художественном дискурсе представление о скоморохе, по всей видимости, было сформировано Андреем Тарковским и Роланом Быковым в фильме «Андрей Рублев». Этот образ был растиражирован в многочисленных спектаклях, фильмах и детских утренниках. В результате большинство наших соотечественников с трудом представляют себе, как выглядели Феодосий Печерский или князь Святослав, зато твердо знают, как выглядели скоморохи, которых преподобный встретил у князя.

## ЛИТЕРАТУРА

- Барщевский 1914 — *Барщевский И.* Несколько слов из истории искусства скоморохов. Ростов Ярославский, 1914. С. 3—4.
- Белкин 1975 — *Белкин А. А.* Русские скоморохи. М., 1975.
- Беляев 1854 — *Беляев И.* О скоморохах // Временник Императорского Московского общества истории и древностей российских. Кн. 20. М., 1854.
- Веселовский 1883 — *Веселовский А. Н.* Разыскания в области русского духовного стиха. VI—X. СПб., 1883.
- Власова 2001 — *Власова З. И.* Скоморохи и фольклор. СПб., 2001.
- Власова 2007 — *Власова З. И.* Скоморохи по документам XV—XVII вв. // Скоморохи в памятниках письменности. СПб., 2007. С. 441—462.
- Грунтовский 2002 — *Грунтовский А. В.* Потехи страшные и смешные. СПб., 2002.
- Дружинин 1909 — *Дружинин В. Г.* Несколько неизвестных литературных памятников из сборников XVI века // Летопись занятий Археографической комиссии за 1908. Вып. 21. СПб., 1909. С. 45—106.
- Забелин 1895 — *Забелин И.* Домашний быт русских царей в XVI—XVII в. М., 1895.
- Иванов 1992 — *Ivanov S. A.* Jesters and the Byzantine Hippodrome // *Oaks Papers. Vol. 46. Homo Byzantinus: Papers in Honor of Alexander Kazhdan.* 1992. P. 129—132.
- КПП 1931 — *Абрамович Д.* Кисво-Печерський Патерик. Кисв., 1931 [Пам'ятки мови та письменства давньої України. Т. IV.]

- Курбский 1993 — Переписка Ивана Грозного с Андреем Курбским / Подгот. текста Я. С. Лурье, Ю. Д. Рыков. М., 1993.
- Лесков 1989 — *Лесков Н. С.* Собр. соч.: В 12 т. Т. 10. М., 1989.
- Материалы 1885 — Материалы по истории раскола за первое время его существования. Т. I. М., 1885.
- Мерило праведное 1961 — Мерило праведное по рукописи XIV в. / Изд. под наблюдением и со вступит. ст. М. Тихомирова. М., 1961.
- Миллер 1894 — *Миллер В. Ф.* Былинное предание в Олонецкой губернии // *Русская мысль* 1894, март; 1895, сентябрь, октябрь.
- Морозов 1946 — *Морозов А. А.* Скоморохи на севере // Север: Альманах. Архангельск, 1946.
- Морозов 1950 — *Морозов А. А. М. Д.* Кривополенова и наследие скоморохов // *Кривополенова М. Д.* Былины, скоморошины, сказки. Архангельск, 1950.
- Муравьев 1967 — *Муравьев М. Н.* Стихотворения / Подгот. текстов Л. И. Кулаковой. Л., 1967.
- Некрылова 1988 — *Некрылова А. Ф.* Русские народные городские праздники, увеселения и зрелища. Конца XVIII — нач. XX в. Л., 1988.
- Никодим, I—II — Правила Православной Церкви с толкованиями *Никодима*, епископа Долматинско-Истрийского. Т. 1—2. М., 1996.
- Новгородская II летопись — Новгородские летописи (так называемые Новгородская вторая и Новгородская третья летописи). СПб., 1879. С. 1—122.
- О.В.Л. 2003 — *О. В. Л.* Вавила // *Православная энциклопедия*. Т. VI. М., 2003. С. 470.
- Петухов 1961 — *Петухов В. И.* Сведения о скоморохах в писцовых, переписных и таможенных книгах XVI—XVII вв. // *Труды Московского Гос. историко-архивного института*. М., 1961.
- ПЛДР XI — Памятники литературы Древней Руси. XVII век. Кн. 2. М., 1989.
- Пономарев 1897 — Памятники древнерусской церковно-учительной литературы. Вып. III / Под ред. А. И. Пономарева. СПб., 1897.
- Радзивиловская летопись 1902 — Радзивиловская, или Кенигсбергская, летопись. Т. I. СПб., 1902.
- Скоморохи в памятниках 2007 — Скоморохи в памятниках письменности. СПб., 2007.
- Сведения и заметки I — *Срезневский И. И.* Сведения и заметки о малоизвестных и неизвестных памятниках. Т. I. № 1—40 // *Сб. ОРЯС*. СПб., 1867. Т. I. № 6, 7, 8, 9.
- СЛРЯ XI—XVII: 1—28 — *Словарь русского языка XI—XVII вв.* Вып. 1—28 — (издание продолжается). М., 1975—2011—.
- Стоглав 1887 — Стоглав. Казань, 1887.

- Таможенные книги I — Таможенные книги Московского государства XVII в. / Под ред. А. И. Яковлева. М.; Л., 1950. Т. I. Кн. 2.
- Татищев 1768 — *Татищев В. Н.* История государства российского СПб., 1768. Т. I.
- Татищев 1979 — *Татищев В. Н.* Избранные произведения. Л., 1979.
- Тредиаковский. I—II — Сочинения и переводы как стихами, так и прозою Василия Тредиаковского. Т. I—2. СПб., 1852.
- Фаминицын 2009 — *Фаминицын А. С.* Скоморохи на Руси. М., 2009.
- Фасмер. I—IV — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I—4. М., 1986—1987.
- Фрэнсис 2007 — *Фрэнсис Е. П.* Скоморохи и церковь // Скоморохи в памятниках письменности. СПб., 2007. С. 463—480.

## ***Кликуши: к истории слова и понятия\****

Анализируя культурно значимую лексику исследователю порой бывает трудно провести границу между историей слова и историей понятия, за этим словом стоящего. О кликушестве написано достаточно много. Этнографический материал обобщен в соответствующей статье словаря «Славянские древности» [Левкиевская 1999], исторический — А. С. Лавровым [Лавров 2000: 376—393], культурологический — А. А. Панченко [Панченко 2004: 321—340]. Кроме того, существует фундаментальная книга медика Н. В. Краинского [Краинский 1900], содержащая не только медицинский, но этнографический и юридический материал, связанный с феноменом кликушества.

Под кликушеством обычно понимается форма поведения, встречающаяся в русской и восточно-белорусской народной традиции. Кликуши не выносят христианских символов — креста, икон, святой воды, молитв, запаха ладана, не могут подойти к причастию. Приступы часто провоцируются христианскими святынями (крест, иконы, святая вода, запах ладана, определенные молитвы, в первую очередь, Херувимская песнь). Слово *кликуша* происходит от глагола «кликать», поскольку во время припадка кликуша «кличет» разными голосами, «выкликает» имя того, кто навел на нее порчу. В диалектах кликуша может называться кликотницей или икотницей (мужчина — миряк)<sup>1</sup>.

---

\* Эта статья не была бы подготовлена без материалов картотек «Словаря русского языка XI—XVII вв.» (ИРЯ РАН, Москва) и «Словаря русского языка XVIII века» (Институт лингвистических исследований, Санкт-Петербург). Пользуясь случаем выразить свою признательность сотрудникам этих словарей за полезные консультации и возможность работать с материалами картотек.

<sup>1</sup> Подробнее см.: [Левкиевская 1999: 509].

## I

Первые фиксации того явления, которое мы называем кликушеством, относятся к началу XVII в.<sup>2</sup> Причем употреблено здесь слово *икота*, а не *кликота*.

Два наиболее ранних документа, фиксирующих это явление, относятся к середине июля 1606 года. В грамотах Ивана Васильевича, адресованных пермскому воеводе Семену Юрьевичу Вяземскому, содержится рассказ о двух похожих историях. Грамота от 14 июля была инициирована челобитной крестьянина Тренки Васильева, обвиненного в наведении порчи. Поскольку следствие проводилось с нарушениями, царь приказал Семену Вяземскому провести новое расследование и, если будет установлена невинность Тренки, отпустить его:

Билъ намъ челомъ Пермичинъ, Чердынского уѣзда крестьянинъ Тренка Васильевъ (...) на Пермичина жъ, (...) діачка на Оничку Кичимова, а сказалъ: в нынѣшнемъ де во 114 году, билъ челомъ на него тотъ Оничка и челобитную подалъ в Перми, Якову Прокудину да подьячему Ивану Федорову, будто де онъ у того Онички на жену его напустилъ икоту, о онъ де Тренка у того Оничка жены его не порчивалъ и икоты не не напускалъ; и Яковъ де прокудинъ да Иванъ Федоровъ, безъ нашего указу и безъ сыску, по ложному челобитью, поровя Оничкѣ по посуломъ, на пыткѣ пытали его и огнемъ жгли, и на пыткѣ три встряски были, и вкинули въ тюрьму, и нынѣ де сидитъ в тюрьмѣ.

И будетъ такъ, какъ намъ Тренка Талевъ билъ челомъ, и какъ къ тебѣ ся наша грамота придетъ, и ты бѣ въ Перми на посадѣ обыскалъ протопопы и попы по священству, а Пермичи посадскими старосты и цѣловальники и всеми посадскими людьми и волостными крестьяны по нашему крестному цѣлованью: Тренка Васильевъ сынъ Талевъ у Оничка Кичимова жену его испортилъ ли? да будетъ къ обыску обыскные люди скажутъ, что Тренка Талевъ у Оничка Кичимова жену его не порчивалъ, и ты того Тренку велѣлъ изъ тюрьмы выпустити [АИ, II: 82].

Второй документ [АИ, II: 83] сообщает похожую историю и мы не будем его приводить.

Из этих двух документов видно, что наведение кликоты является поступком уголовно наказуемым и основанием для освобождения об-

---

<sup>2</sup> Учитывая, что на XVI—XVII века в Западной Европе приходится пик преследования ведьм, возникает соблазн соотнести эти события.

виняемых являются допущенные во время следствия процессуальные нарушения. Документы фиксируют и название действия, в результате которого здоровый человек получает икоту — *порча*. В пропитированной выше грамоте царь приказывает Семёну Няземскому выяснить, «сынъ Талевъ у Оничка Кичимова жену его испортилъ ли». Аналогичное распоряжение содержится и в грамоте от 16 июля, обязывающей восводу выяснить:

Семейка Ведерникъ людей портить ли, и будетъ портить, и кого именемъ чьмъ испортилъ? да будетъ въ обыску обыскные люди скажутъ, что Семейка Ведерникъ людей не портит и никакимъ воровствомъ не промышляеть, и ты бѣ Семейку велѣлъ изъ тюрьмы выпустити... [АИ, II: 83].

Если само явление может называться по-разному (кликота, икота, кликотница), то действие, превращающее обычную женщину в кликушу, всегда называется *порчей*.

Подобные случаи имели место и позже, однако первая фиксация слова *кликуша* связана с контекстом совсем иного рода. Впервые это слово мы встречаем в петровском указе от 7 мая 1715 г., в котором «Великій Государь указалъ: ежели гдѣ какія явятся мужеска и женска пола кликуши, и ихъ имая, приводить въ приказы, и розыскивать...» [ПСЗРИ I, т. 5 (1715) № 2906: 156]. В мотивационной части этого указа рассказывается о событии, которое произошло пятью месяцами ранее в Исаакиевском соборе:

Во время святой литургіи плотничья жена Варвара Логинава кричала, будто испорчена и потом она спрашивана, а въ допросъ сказала, что она не испорчена и кричала притворствомъ, будто испорчена [Там же].

В ходе дальнейшего допроса выяснилось, что симулировала она с целью наказать человека, который когда-то избил ее мужа.

Мы видим, что контекст, в котором впервые было зафиксировано слово *кликуша*, более чем на полтора столетия определил отношение государства к этому феномену. Теперь преступником считается не колдун, наславший порчу, а жертва порчи. Таким образом, преступлением становится кликушество как таковое.

На причины, по которым Петр с особым пристрастием относился к кликушам, указал в свое время Татищев:

Великий плут Иван Милославский, ища Петра Великаго в народной любви искоренить, а царевну Софію в большое почтение при-

вести, несколько таких скверных женщин научил в церквах кричать и ломаться, и одна была знаменитаго шляхетскаго рода девица, которая в Соборе Успенском безобразно кричала, а царевна София, приступя ко оной с заклинанием диявола, молилась, котораго диявол, якобы не могши терпеть, просил перво царевны, чтоб ему дала покой и огнем не мучила, а потом изшел, что в подлѣмъ народѣ в великую ей святость причли. Иные при таком коварствѣ Петра Великаго поносили и пр. [Татищев 1979: 326].

Напомним, что к моменту выхода этого указа со дня смерти Софьи прошло более 10 лет.

Петровскіе запреты кликушества были закреплены в тексте архиерейской присяги (1715), где архиерей обещал ежегодно посещать свою паству и следить за тем, чтобы в епархии не было «притворныхъ бѣснующихся» [ПСЗРИ I, т. 6 (1716): 193] и Духовным регламентом (1721), где *ложные беснующіеся* архиерейской присяги названы кликушами:

Смотрѣти же долженъ Епископъ, чего смотрѣтъ *обещатся съ клятвою на своемъ поставленіи* (выделено мной. — А. К.), сіесть о монахахъ, дабы не волочились безпутно, дабы лишніихъ безлюдныхъ церквей не строено, дабы иконамъ Святымъ ложныхъ чудесъ не вымышленно; такоужъ о кликушахъ, о тѣлесахъ мертвыхъ несвидѣтельствованныхъ, и прочихъ всего того добре наблюдать [Там же: 323].

При объездах епархии епископ, среди прочего, должен удостовериться, что в данной местности нет кликуш:

Спроситъ же Епископъ священства и прочихъ чловѣкъ, не дѣлаются ли где суевѣрія? Не обрѣтаются ли кликуши? Не проявляются ли кто для скверноприбытства ложныхъ чудесъ при иконахъ, при кладѣзяхъ, источникахъ и прочая? И таковыя бездѣлія запретитъ со угроженіемъ клятвы на противляющихся упрямецъ [Там же: 329].

Таким образом, законодательно оформляется ситуация, при которой кликушество объявляется преступлением, а наблюдение за тем, чтобы эти преступления не совершались, становится обязанностью архиереев. И архиереи честно выполняли то, что «обещались с клятвою». В относящемся к 1785 г. «Делѣ о кликушахъ» Архангельскаго наместническаго правленія имеется «Мнение архиеп. Архангельскаго и Холмогорскаго Вениамина (Краснопольскаго-Румовскаго)»:

Я по должности и из сожаления моего о причине сей болезни в себе рассуждал; и не могу на то положиться, чтобы оная происходила от какого ни есть колдовства, как многіе из простаго народа сему

верят, а заключаю по одному моему мнению, что вся сия болезнь и зараза делается в тех краях от воды болотной и имеющийся в нечистых ямах, стоячих озерах и в ручьях от тех же ям, озерков и болот вытекающих; которою водою по лености или по неудобству на большие реки ходить, те жители питаются.

Далее идет рассказ о том, как он наблюдал употребление в пищу очень плохой воды при объезде епархии. Он полагает, что икотники пьют воду и в их организм попадают семена или зародыши «таких червей, которые зародясь в их желудках, болезни те производят. {...} Болезнь оная икота бывает более на женском поле, нежели на мужском {...} Сие делается может быть из того, что в женских желудках, яко слабейших, семена или зародыши тех червей более, а в мужских от работ или крепких напитков не столько усиливаются, или в самом начале истребляются» [Ефименко 1864: 83—87].

## II

Указ 1714 г. на долгое время предопределил употребление слова *кликуша*. Наряду со словами *ханжа* и *пустосвят* оно вошло в число слов, обозначающих осуждаемые официальной идеологией проявления традиционной религиозности. При этом в текстах XVIII века слово *кликуша* встречается очень редко, в то время как *ханжа* достаточно часто. При этом, как это видно, например, из поэмы Ломоносова «Петр Великий», ханжа — это не просто ‘человек сомнительных моральных качеств’, но и ‘враг государства’:

Ты вѣдаешь расколь, что начал Аввакумъ  
И пустосвятъ злодѣй, его сообщникъ думъ.  
Невѣжество почеть за святость старой вѣры  
Пристали ко стрѣльцамъ ханжи и лицемѣры [Ломоносов 1760: 23].

В литературе XVIII века борьба с ханжеством оказывается важной просветительской задачей. Так, в XIV оде Сумарокова («Государыне императрице Екатерине II на день Ея рождения, апреля 21 дня 1764»), читаем:

Повержемъ идолы златыя,  
Чтобъ умъ народа просвѣщать;  
И станемъ Истинны святыя,  
Мы тамо имя возвѣщать:  
Освободимъ ихъ мысли тщетны,  
Погибнуть ихъ ханжи нещетны,



И сусвѣры, на всегда,  
 Почтенны сими чудесами,  
 Которыхъ не выдали сами,  
 И не увидятъ никогда [Сумароков II: 64].

Употребление слова *ханжа* по отношению к приверженцам традиционного благочестия неизбежно провоцировало попытку противопоставить уничижительный термин той практике, с которой он ассоциировался. В 1842 г. епископ Нижегородский Димитрий (Сеченов) писал:

...кто посты хранить, называли ханжа. Кто молитвою с богомъ бесѣдуетъ, постосвяты. Кто іконамъ кланяется, суевѣръ. Кто языкъ от сусловія воздерживаетъ, глупъ, говорить не умѣетъ. Кто милостыню любве ради ко Христу и ко ближнему не оскудно подаетъ, простъ, не умеетъ куды имѣнія своего употребить, не къ рукамъ достался. Кто въ церковь часто ходитъ, въ томъ де пути не будетъ [Димитрий 1742: 15].

Обратиться к слову *ханжа* мне понадобилось для того, чтобы показать, что ситуация со словом *кликунша* совершенно иная. Я не знаю ни одного текста, относящегося к XVIII веку, автор которого, подобно еп. Димитрию Сеченову, попытался бы пересмотреть привычные употребления слова *кликунша*, соотнеся кликушество с упоминаемой в Писании бессодержимостью. К тому же, в отличие от слова *ханжа*, зафиксированного большинством словарей, слово *кликунша* словари XVIII в. не фиксируют<sup>1</sup>.

Отсутствие слова *кликунша* в словарях объясняется тем, что для обозначения соответствующего понятия употребляется слово *бесноватый* (*бесноватая*). И действительно, в соответствии с греческим ὁ δαιμονισμένος и латинским *insaniens* Лексикон Федора Поликарпова дает *бѣснующійся* [Поликарпов 1704: 37], а не *кликуншествующій*, а переведенный И. И. Татищевым второй том «Словаря Французской академии» [Вомперский 1986: 70] в соответствии с франц. *possédé* дает «бѣсноватый, бѣсный, бѣснующійся» [ПФР. II: 219]. При этом

<sup>1</sup> При этом в энциклопедических словарях XVIII в. слово *кликунша* используется. В словаре М. Чулкова, описывающем мифологические представления разных народов, статья «Кликунша» имеется: «Кликунши, бывають кликушами вдохновенныя, или испорченныя женщины, кои приходя въ нѣкоторое неистовство, плетутъ всякой вздоръ, и дѣлають иногда пророчества, онѣ кричатъ голосами разныхъ животныхъ по временамъ, и выкликивають того имя, кто ихъ испортилъ» [Чулков 1786: 222]. О статье «Кликунша» в Лексиконе Татищева см. ниже.

в энциклопедический «Лексикон российский исторический, географический, политический и гражданский» Татищев включает соответствующую статью: «Кликуша, то же, что славянское бесноватая или беса имеющая» [Татищев 1979: 326—327]. Но в языковых словарях XVIII в. это слово нам не встретилось. Соответствующее явление эти словари называют не кликушеством, а беснованием, бесоодержимостью и т. д.:

*Obsédé du diable.* Vom Teufel besessen. Obsessus a Daemone, energumenus. Бѣсной бѣсноватой, бѣснующейся, въ комъ бѣсъ [Волчков, II: 498];

*Demonique.* Von dem Teufel besessen. Daemonicus. Бѣсноватой; бѣснующейся, бѣса имѣющей, бѣснующей [Волчков, I: 684];

*Exorciser un possédé.* Den Teufel beschwören, aus einem Besessenen austreiben. Exorcismos daemoni, изъ бѣсноватаго чловѣка бѣса выгнать [Там же: 980];

*Fanatique.* Unsinnig, besessen. Fanaticus, ca, cum. Безумной, съ ума спешней, сумозбродъ, бѣсенной, бѣснующейся, бѣснующей, бѣсомъ одержимой [Там же: 971];

Беснующиися, ася, сеся, part. vom Teufel besessen, rasend, unsinnig, demoniaque enragé [Нордстедт, I: 52];

Behaftet, obstrictus, одержимы [Вейсман 1731: 73];

Vom Teuffel besessen, obsessus a daemone, диаволомъ осиленный, бѣса имущи, бѣсомъ одержимы, бѣсоватыи [Там же: 630].

Не встретилось это слово и в переводных текстах. Например, Санкт-Петербургские ведомости в 1735 г. сообщали:

Парламенту предложено изданное отъ находящагося въ Камбаре Архиепископа повѣщеніе противъ притворно бѣснующихся людей [СПб ведомости 1735: 173].

Переводчик популярного медицинского текста также предпочел употребить слово *бесноватый*, а не *кликуша*:

Я видѣлъ одного чловѣка, которой между простымъ народомъ почитался бѣснующимся, но которой въ самой вещи страдалъ надучею болѣзнию [Бьюкен, I: 343].

Примеры употребления слова *кликуша* в XVIII веке мы можем привести лишь из произведений Татищева. В «Разговоре дву приятелей о пользе науки и училищах» Татищев, рассуждая о вредной науке «чернокнижестве», считает кликуш отечественным аналогом европейских колдунов и шарлатанов:

И хотя сны науки или зломудрия ничего совершенного в себе не имеют и по разсуждению многих философов смертию их, яко умо-изступленных казнить не безгрешно, но за то, что, оставя полезное, в безпутстве время тратят и других обманывают, телесное наказание неизбежно должны. Не безприлично же сему дурачеству вымысел кликуш и кликунов, которые сказывают в себе быть диявола, что сами себе от злости, когда иным образом досадить не могут, яко бабы, не любя мужа, свекровь и пр., оное притворяют, иногда же в том притворе невинно на кого-нибудь клеветают и в несмысленных злобу приводят. Иные же по научению сребролюбивых церковников такие притворы чинят, дабы чрез изгнание того новое чудо явить и от людей суеверных деньги выманивать. Котораю зла в России весьма было расплодилось и повсюду в церквах, а особливо в праздники при службе Божией мерские крики и ломание тела произносили, но вечно достойныя памяти его императорское величество Петр Великий жестокими на теле наказании всех оных бесов повыгнал, так что ныне, почитай, уже нигде не слышно, а особливо в тех местах, где благорассудный начальник случится [Татищев 1979: 93—94].

Мы можем констатировать, что в русском литературном языке имеется устойчивая оппозиция — бессоодержимость настоящая (описанная в Евангелиях, побеждаемая «молитвою и постом» (Мф 17:21), а также отчиткой) и бессоодержимость ложная (*кликунство*). Тот страт культуры, языком которого был русский литературный язык, называл кликушеством ложное беснование (симуляцию или душевную болезнь). А раз ложное — значит, лечить его следует, по цитированному выше изречению В. Н. Татищева, жестокими телесными наказаниями. Характерно, что И. П. Сахаров считал, что кликуши сознательно вызывают приступы, задерживая при помощи трав месячные<sup>4</sup>, а В. И. Даль лучшим лекарством от кликушества считал порку [Даль 1994: 28—29]. И даже С. В. Максимов, использовавший в очерке о кликушестве не только собственные наблюдения, но и материалы Этнографического бюро князя Тенишева, писал об эффективности нака-

---

<sup>4</sup> «Доселѣ еще остаются темныя понятія о кликушахъ, которыхъ всегда выдають за бѣснующихся. Но и это есть болѣзнь: искусственная истерика. Кровагонительныя средства, нарушая отправленіе женскихъ органовъ, возвышая раздраженіе нервной системы, образуютъ такое искусственное состояніе нервного электричества, что врачи никакъ не могутъ подвести болѣзни этого рода подъ обыкновенные законы происхожденія болѣзней. Заметимъ еще важное обстоятельство: многіе изъ поселянъ обладаютъ особеннымъ знаніемъ дѣйствія веществъ на человѣчскій организмъ, знаніемъ недоступнымъ для врачей» [Сахаров, I: 83].

заний и о том, что по мере просвещения народа кликушество постепенно сходит на нет [Максимов 1903: 153—154].

Церковные писатели также глядели на кликушество сквозь призму Духовного регламента. Позицию епископа Вениамина (Краснопевкова-Румовского) мы уже приводили. Весьма показательным в этом отношении является словарь Г. Дьяченко. Кликуш он определяет так:

Действительно больные или притворяющиеся женщины, странными гласами кричащая, преимущественно в церкви. *Въ духовномъ Регламентѣ* предписано епископамъ смотрѣть, чтобы не было въ епархіяхъ ихъ кликушъ [Дьяченко 1899: 252].

При этом слова *бесноватися*, *беснующийся* этот словарь толкует как 'бесноватый, одержимый бесом', а в качестве иллюстрации дает ссылки на Священное писание. То есть кликушество и беснование оказываются совершенно разными явлениями. Взаимных ссылок эти статьи не имеют.

Характерное распределение слов *кликуша* и *бесноватый* мы обнаруживаем в материалах следствия Тайной канцелярии по делу князя Е. В. Мещерского (1721 г.). В принадлежащем следователям тексте в основном используется слово *кликуша*, в то время как в речах допрашиваемых преобладает слово *бесноватый*:

Князь Мещерский сказал, которые были у него с женою Аленой многие бесновались [Дело Мещерского: 24, цит. по Сергазина 2011: 113];

Пойманы бабы и кликуши, они же раскольницы, Елена Ефимова и сестра ее Целагея, которые у себя имели таким же пристанище и учили раскольническому и притворному кликанью и по многим монастырям и церквам собравшись, ходили и оное притворство чинили, а именно ходили к князю Ефиму Мещерскому, который у себя имел образ богородичен и сказывал многим приходящим, что от оного образа беснующиеся исцеление приемлют, о чем у него и книга тех чудес учинена, которая с оным образом взята в приказ. Да у него взято сухарей пшеничных с полчетверика, которые он раздавал и маслом помазывал и водою кропил и от этого будто приходящие исцеление получали [Дело Мещерского: 15].

Рассмотренный выше материал дает основания утверждать, что для послепетровской культуры отношение к *кликушам* всегда негативно. Кликуши могут обвинять в симуляции, могут объявлять кликушество болезнью, но отождествления кликушества и бесоодержи-

мости не происходит. Поэтому, кстати сказать, кликуши, в отличие от юродивых, не становятся предметом любования или героизации, чего, вообще-то, можно было бы ожидать. Однако никому не пришло в голову увидеть в кликуше русскую Кассандру. Дискурс, заданный петровскими указами, не позволил это сделать.

### III

Наиболее ранней из известных мне попыток отличить кликушество (ложное беснование) от бессодержимости является медицинское исследование кликушества, вышедшее в 1860 году. Эта книга была написана врачом Александром Ивановичем Клементовским и выпущена с разрешения духовной цензуры. Основной приводимый Клементовским аргумент в пользу того, что кликушество отличается от бессодержимости, сводится к тому, что все упоминаемые в Писании примеры беснования «доказывают, что над духом тьмы полную силу имеет могущество Божие, с помощью которого дьявол изгоняется из человека» [Клементовский 1860: 32—33]. Случай кликушества оказывается совершенно противоположным:

Здесь дьявол, поселившийся в утробе женщины, входит с ней в храм Божий, без ужаса слушает молитвы и прославление имени Спасителя, и наконец в один из самых великих моментов литургии повергает кликушу на землю, и не выходя из нее, заставляет ее бесчинствовать самым возмутительным образом, и как бы в насмешку нарушать торжественность богослужения. Где же власть Иисуса Христа над ним, где Божие величие и где святость церкви? Неужели это тот самый демон, который трепещет произношения имени Божия, и далеко бежит от человека, сотворившего крестное знамение? [Там же: 33].

Отвергнув предположение, что кликушество является бессодержимостью, а затем отказавшись признать кликуш симулянтами, Клементовский предполагает считать кликушество болезнью и дает этой болезни название *Demonomania hysterica*.

Дискурс, заданный «Духовным регламентом», для медиков не был актуальным. Именно медику принадлежит наиболее полный и беспристрастный свод данных о кликушестве. Речь идет о монографии Н. В. Краинского, увидевшей свет в 1900 г. Принципы своей работы автор формулирует так:

При своих исследованиях я столько же сталкивался с медицинской стороной дела, сколько и с бытовой, и, взвешивая итог своих размышле-

ний, склонен отдать перевес значению бытовых условий жизни русского народа, как причине кликушества. Та физиологическая основа кликушества, которую я усматриваю в состоянии сомнабулизма, еще представляет много загадочного, а явления ясновидения кликуш в науке выступают впервые, и потому я буду счастлив, если будущие исследователи проверят и освятят этот вопрос подробнее, а мои исследования послужат для них полезным материалом [Краинский 1900: с. 1 (вне пагинации)].

#### IV

Выше мы говорили о том взгляде на кликушество, который демонстрировала образованная часть общества. При этом народная культура видела в этом явлении настоящее беснование, лечить которое следовало или отчитыванием, или же различными обрядами<sup>5</sup>. Приведем несколько сообщений о кликушах, помещенных в опубликованных материалах Этнографического бюро князя Тенишева. При чтении этих материалов следует помнить, что Тенишевские корреспонденты, хотя и хорошо знали жизнь крестьян, но сами, как правило, принадлежали к иным социальным группам (учителя, священники, мелкие чиновники). Их взгляд — это, как правило, взгляд не участника, а квалифицированного стороннего наблюдателя.

Крестьяне твердо убеждены, что виновником кликушества является бес, что он вселился в несчастную и мучит ее. Никакие доводы не в состоянии поколебать подобного убеждения. Мнение это поддерживается еще тем обстоятельством, что большая часть кликуш не выносит церковного Богослужения или вовсе, или некоторых песнопений; есть кликуши, которые не могут выносить даже присутствия священника с крестом. В нашей деревне есть подобный субъект, который в течение более 10 лет не был на исповеди только по причине кликушества. Кликуши встречаются исключительно среди женщин. Если же мужчина подвержен подобным припадкам, то такого прямо считают сумасшедшим, их или лечат при помощи докторов, или прибегают к религии: поют молебны, водят по монастырям. (...) Все кликуши, по мнению крестьян, порчены колдунами, и исцелить их может только колдун же, но обладающий большою силою. (Костромская губ.) [РК I: 319—320].

«Кликуши» в прежнее время встречались в народе очень часто. Ныне их нет совсем. «Кликуши», по народному понятию, женщины «порченные», такие женщины, в которых сидит бес, посланный в них

---

<sup>5</sup> Именно с позиций народной культуры говорит о кликушах Ф. М. Достоевский в «Братьях Карамазовых».

колдуном или знахарем. Отличительное свойство «кликуш» состоит в том, что они спокойно стоят в церкви и благоговейно молятся вместе с прочими. Но как только запоют Херувимскую песнь, как с ними начинается припадок, их корчит как в припадке падучей болезни, причем они вопят и кричат. Некоторые выкликают при этом имя того человека, который их испортил (отсюда и название — «кликуши»). Некоторые «кликуши» издали чувствуют приближение к ним священника, и с ними делается в то же время припадок. Для изгнания из «кликуш» беса их приводили прежде к священникам, которые и прочитывали над ними «страшные молитвы» или по народному «страшную», т. е. заклинательные молитвы, изложенные в большом требнике. Если с «кликушей» случится припадок, ее тот час же прикрывают с головой салфеткой со стола, вспыскивают водой и, между прочим, прижимают крепко рукой мизинец левой руки (Ярославская губ.). [РК, II, 1: 197];

Кликуш здесь порядочно. Я лично знал трех. Две из них — молодые женщины, живы и сейчас, третья, старуха лет 75, умерла три года назад. О них я и расскажу, что знаю сам и что слышал от посторонних. К нам на поденщину ходила девушка дер. Ямны Акулина; девка здоровая, толстая, удалая работница, и очень веселая. Это было лет 6 тому назад — ее выдали замуж; и вот я слышу, что ее «испортили», т. е. она стала кликушей. «Сидит, сидит, — рассказывали про нее ее родные, — а там как заплачет, как заголосит! Воет, воет, а потом — бряк оземь — найдет на нее слюна, так и мужики никак не удержат, а она все кричит: "пустите меня, лихо мне!", а там замыкает по-кошачьи, забрешет по-собачьи, грудь и живот у ней так и радуется не знамо как; а кричит у ней словно в животе». На мой вопрос: «Когда это у ней бывает?», мне отвечали: «В неделю раз, а то и в две, — а в церкви постоянно, как пойдет, достанет до Херувимской, так и закричит». В 1892 году я и сам увидел Акулину вот в каком положении: пришли мы с товарищем к обедне в с. Вассы и видим около церкви стоит толпа баб; подошли, гляжу — Акулина, и правда, слюна у нее бьет клубком, сама лежит неподвижно, бледная как смерть. Я велел бабам смочить ей голову холодной водой, и она очнулась. Бабы говорят, что ей в «середку» черта посадили во время свадьбы, потому что муж ее собирался взять другую девушку, но обманул, вот Акулине-то за то, что пошла за него, и сделали. Кричит она в припадке-то и говорит: «А это ты (называет женщину) меня испортила, собака ты такая-сякая! Это ты, потаскуха, мне беса посадила!» Возили Акулину куда-то отчитывать (куда — я не мог дознаться); теперь она не кричит. (...) Здесь иногда обращаются с вопросами — куда девалась пропажа, и говорят, много кликуши угадывают (Калужская губ.). [РК, III: 497—498];

Кликуши в данной местности встречаются довольно часто. Крестьяне считают их одержимыми бесами, которых нагоняют в людей колдуны по злобе, т. е. порят их, а потому кликуши иначе зовутся

порченными. Портят колдуны женщин и преимущественно замужних. Обыкновенно кликуши бывают вполне покойны: если же их чем раздражать, то они начинают кричать громко, не произнося слов, а издавая лишь стоны или охая. При этом кликуши падают на землю и начинают биться, и во рту показывается пена. Вид кликуш становится страшен, и глаза становятся мутными. В это время домашние опрыскивают кликуш крещенской водой, и если стараются давать этой воды кликуше внутрь, то та ни за что святой воды не возьмет. Иногда кликушам одевают на шею хомут, но кликуши не даются и начинают бросать в окружающих чем ни попадя. Хомут крестьяне стараются надеть на кликушу затем, чтобы она сказала им, кто ее испортил, т. е. кто вогнал в нее беса. Если священник идет по селу или по деревне с иконами, то кликуша, хотя и не видит этого, все-таки чувствует и начинает волноваться. Особенно тягостно чувствуют себя кликуши на первой и на последней неделях великого поста: и кричат чаще, нежели в другое время. В церковь к службам кликуши ходят наравне с другими и по собственному побуждению. Стоят они в церкви покойно и молятся. Во время Херувимской [Херувимской] песни и при малом входе со святыми дарами, а также во время причащения святыми тайнами мирян кликуши начинают сильно кричать, падают, бьются, пока сами собой не успокоятся. Если женщина кликуша кричит, то крестьяне думают, что это не она кричит, а бес, сидящий в ней. Некоторые думают, что кликушами женщины делаются и от черных жучков. (...) Кликуш возят лечить к колдунам, при этом колдун тот должен быть сильнее колдуна, испортившего женщину (...) Кликуши неохотно соглашались ездить к колдунам лечиться (отговариваться): присутствие колдуна, как и священника, делается для них противным (Калужская губ.), [РК, III: 463—464];

Кликушами, или, как их обыкновенно называют, «порченными», признают женщин, одержимых бесом, особенно сильно терзающим их в новолуние, когда бес «кричит»: в это время кликуши обладают даром предсказания, пророча, однако, окружающим их одни бедствия. (...) Чтобы изгнать из кликуш беса, одни их «отчитывают», для чего приглашают священника, другие же «отговаривают», для чего ездят к специальным колдунам и колдуньям. Во время же припадка, чтобы таковой прекратился, кликуше прикрывают голову чем-нибудь темным: платком, фартуком и т. д. Бес в это время ничего не видит и замолкает, почему прекращается и припадок. Припадки у кликуш совершаются не в одно только новолуние, но и во время приближения к кликушам икон, священника, святой воды и т. п., причем кликуши, хотя и не видят еще этих предметов, но уже издали чувствуют их приближение, причем священника поносят всякими бранными словами, часто более чем неприличными: ругают они и всякие священные предметы. Не только сами кликуши, но и народ твердо верят в то, что брань эта



исходит не от человека, а от самого беса, сидящего в человеке. Сильнее, чем во всех остальных припадках, бес терзает кликушу в церкви во время Херувимской песни. (...) Отчитывают священники кликуш по «требнику», причем кликуша сама указывает во время припадка того священника, который может ее «отчитать», например, она кричит: «Боюсь попа Василия, боюсь!». В это время надо у нее спросить, какого попа Василия она боится. Тогда кликуша укажет город или село, где живет этот поп Василий. Другой священник уже кликушу не отчитает (Калужская губ.). [РК, III: 408];

Кликуш крестьяне различают как «порченных», обыкновенно на свадьбах, и собственно «бесноватых». В первых признают лихую болезнь, посланную колдуном, а в последних нечистого духа, посланного тоже колдуном. Для исцеления кликуш, для отгнания от них злого духа, их водят по церквам и по монастырям. Здесь накладываются на больных воззвания *от рак преподобных; читаются священниками заклинательные молитвы от нечистых духов Василия Великого и Иоанни Златоустого, изложенные в Большом Требнике*. Полагают, что кликуши отличаются ясновидением, потому что бывают (...) факты, удостоверяющие крестьян в этом. (...) По поверью крестьян, порченные еще далеко чувствуют приближение к ним священника, особенно с крестом, которых носят ругательствами, оправдываясь, что бранит священников дух, находящийся в них. Кликуши приходят в особенное волнение, как только начнется пение Херувимской (Вологодская губ.). [РК, V.4: 474];

Кликуши признаются бесноватыми. Бес, сидящий в кликушах, иногда выкрикивает имя того знахаря, который причинил вред больной. Излечить или «вывести беса из кликуши» может или тот знахарь, который и посадил его, или другой, более сильный знахарь. Беса впускают в человека или в питье или «по ветру». Чтобы облегчить страдания кликуш во время припадков, их покрывают «пасхальной скатертью», т. е. тою, которая накрывается на стол в первые дни Пасхи, перед приходом священников. (...) Бесы, сидящие в кликушах, с удовольствием бранят священников (Вологодская губ.). [Там же: 40];

Все женщины, страдающие кликушеством, испорчены колдуном, который напустил на них эту болезнь. Вылечить от кликушества может только тот колдун, который был виновником этого; затем может «отчитать» порчу священник, но только не всякий. Наибольшую популярность в этом отношении пользуется священник с. Спас-Чекряк Болховского у. Орловской губ.; к нему стекаются больные со всех концов России\* (Тульская губ.). [РК, VI: 450].

---

\* Речь идет о протоиерее Георгии Коссове (1885—1928), причисленном в 2000 г. к лику святых [Амиргилова 2006]. Ему посвящен очерк С. А. Нилуса «Отцы Егор Чекряковский» [Нилус 1992: 239—274], в котором об исцелении кликуш не говорится ни слова.

Священники, отчитывающие кликуш, рисковали, поскольку указом Синода от 13 мая 1773 г. духовенству было запрещено петь молебны и читать слово Божие над кликушами и проч. порченными людьми, о которых «не иное должно иметь рассуждение, как о прямом притворстве, обмане и суеверии» [Краинский 1900: 48]. Священник, принявший народный взгляд на феномен кликушества, рисковал куда больше, чем его прихожане. Во время эпидемии кликушества 1861 года на хуторе Букреевском Екатеринославской губернии крестьяне подали в суд на тех, кто насылал порчу. Соответствующие документы готовил местный священник. Суд постановил, что с крестьян спроса нет, так как они люди темные, а поступок священника передать на рассмотрение Консистории<sup>7</sup> [Там же: 65—67]. Известны попытки оправдать участие священнослужителей в практике отчитывания кликуш, апеллируя существованию в старопечатных требниках соответствующих молитв:

Существование молитв в старинных церковных требниках от презора, очес, от порчи, над очарованным местом или лицом указывает на признание фактов сглаза, порчи и очарования и служителями христианских алтарей; но они смотрели на такие факты другими глазами, очами христианского вероучения. Обращаясь к кликушам, можно утвердительно сказать, что один из них — несчастные жертвы, мучимые духом злобы, от которого они избавляются постом и молитвою, или чудесными действиями угодников Божиих, другие же, пользуясь суеверным убеждением членов своей семьи, притворяются, чтобы, с одной стороны, возбудить к себе в них сожаление и большее снисхождение в домашних трудах, с другой, — поселить неприятные чувства к особам, заговариваемым ими. Такие факты нередко встречаются в больших семьях, где две или три невестки и столько же им золовок. [Успенский 1875: 501].

Священники, занимающиеся отчитыванием кликуш, видели в кликушестве бесоодержимость. В дневнике за 1865 г. Иоанн Кронштадтский<sup>8</sup> прямо отождествляет кликушество с бесоодержимостью:

Так бесноватые бывают покойны до того времени, доколе их не поведут к святыне, а поведут — откуда возьмется сила необыкновенная. Отвращение от святыни, хула, оплевывание святыни, проклятый крик. Вот вам, господа, объяснение или разрешение вашего недоуме-

<sup>7</sup> Как мы помним, по российским законам наказуемым было обвинение в насылании порчи.

<sup>8</sup> Этот фрагмент был указан Юлией Балакишиной, которой я выражаю свою признательность.

ния — отчего бесноватые или так называемые кликуши кричат в Церкви во время обедни или когда их подводят к святым мощам... [Иоанн Кронштадтский, VII: 134].

К концу XIX века церковные власти, по всей видимости, окончательно смирились с практикой отчитывания. Сообщения об этой практике появляются в церковных журналах<sup>9</sup>.

## V

Вплоть до начала XX в. 937 статья «Уложения о наказаниях» определяла наказание кликушам, выкрикивавшим имя наставшего на нес порчу. Это правонарушение грозило тюремным заключением на срок от четырех до восьми месяцев:

Такъ называемыя кликуши, которыя дѣлають на кого либо извѣты, утверждая, что онъ причинилъ имъ зло, будто бы посредствомъ чародѣйствія, подвергаются за сей злостный обманъ заключенію въ тюрьмѣ на время отъ четырехъ до восьми мѣсяцевъ [Свод законов, XV: 87].

На рубеже веков, в связи с обсуждением новой редакции Уложения, встал вопрос об исключении этой явно анахронической статьи<sup>10</sup>. В новой редакции Уложения, принятой 22 марта 1903 г., кликуши уже не упоминаются.

## VI

Мы видим, что к концу XIX века резко негативное отношение к кликушам, заданное петровским законодательством, постепенно затухает: церковные журналы перестают считать кликуш обманщицами, законодательство больше не видит в них преступников, а врачи не обвиняют их в симуляции. К началу XX века это слово явно утратило негативную семантику и начинает употребляться в текстах, относящихся к различным жанрам. Однако говорить о «реабилитации» этого слова нельзя, не обратившись к творчеству Ф. М. Достоевского. Дело в том, что в романе «Братья Карамазовы» слово *кликуша* регулярно употребляется в том значении, в каком его использовала народная

<sup>9</sup> См., например, журнал «Кормчий», 1901, 41, 6 окт.

<sup>10</sup> О юридических проблемах, связанных с кликушеством см. [Левенстрим 1897].

культура. Уже в самом начале роман Ф. М. Достоевский соотносит болезнь Софьи Ивановны Карамазовой с простонародным кликушеством:

Впоследствии с несчастною, с самого детства запуганной молодою женщиной произошло вроде какой-то нервной женской болезни, встречаемой чаще всего в простонародье у деревенских баб, именуемых за эту болезнь кликушами [Достоевский, XIV: 13].

Далее Софья Ивановна регулярно называется в тексте *кликушей*:

«Знаешь ли ты, — стал он часто говорить Алеше, приглядываясь к нему, — что ты на нее похож, на кликушу-то?» Так называл он свою покойную жену, мать Алешу [Достоевский, XIV: 22];

Может быть, подействовали и косые лучи заходящего солнца пред образом, к которому его протягивала его кликуша-мать [Там же: 25];

Так я ее тогда в монастырь для смирения возил, отцы святыя ее отчитывали. Но вот тебе Бог, Алеша, не обижал я никогда мою кликушечку! Раз только разве один, еще в первый год: молилась уж она тогда очень, особенно богородичные праздники наблюдала и меня тогда от себя в кабинет гнала [Там же: 126].

Таких примеров можно привести довольно много. В народном значении Ф. М. Достоевский использует слово *кликуша* и в главах, посвященных старцу Зосиме [Достоевский, XIV: 29, 44]. Однако такое словоупотребление является уникальным и для творчества самого Ф. М. Достоевского. Во всех остальных произведениях Достоевского слово *кликуша* не встречается ни разу, а *кликушество* — лишь в публицистике и в обычном уничижительном значении [Достоевский XXVI: 85].

Лишь к началу XX века слово *кликуша*, как кажется, утрачивает отрицательные коннотации:

Мужчины-юродивые, женщины-кликуши никогда не переводились в России и, нужно думать, не скоро еще переведутся. В странах более культурных и устроенных, где людям сравнительно легче живется и где «мысль» — то упорядочивающее начало, без которого существование на земле так мучительно трудно, — раньше, чем у нас, вошла в свои права, дикие вопли на людях или бесприютная и беспризорная жизнь — явления почти не встречающиеся. Циники, о которых в истории философии довольно много рассказывается, отошли в безвозвратное прошлое и почти никого не интересуют. А в России народ не только чтит, но почему-то любит своих духовных уродов. Будто чувствует, что бессмысленные вопли не совсем так уже ни на что не нужны и

жалкое существование бездомного бродяги не так уже отвратительно [Шестов 2001: 351].

О стирании границ между кликушеством и бессодержимостью свидетельствует появление уже в наше время словосочетания *ложное кликушество*:

Обер-фискал велел содержать ее за семью замками, к розыску еще не приступал, но уже ясно: от сей ложной кликуши нити тянутся и к булавинцам, и к чающим воцарения Алексея Петровича [Говоров 1980].

Прочитированный выше фрагмент исторического романа, написанного в 80-е годы XX века, интересен тем, что для автора слово *кликуша* означает 'бессодержимая' или 'больная', а ложная кликуша симулирует одно из этих состояний. В XIX в. в подобном контексте употребили бы просто слово *кликуша*. Но наиболее активно сочетания «ложная кликуша» и «лицемерная кликуша» используются в политических памфлетах:

А миссиофобия и есть идиотизм, помноженный на клевету, безправствительность, мизантропию и лицемерное кликушество (7.08.2009)<sup>11</sup>;

Что касается Болтянской и К<sup>а</sup>. — в отличие от реальных кликуш им за это деньги платят (и думаю, неплохие). Значит, мы имеем дело с ложными кликушами. Возможно, единственная реальная кликуша, взыравшая от мороженая, в нашей политике — это В. И. Новодворская (31.03.2007)<sup>12</sup>.

Таким образом, вроде бы можно говорить о тенденции постепенного сближения значения слов *кликушество* и *бессодержимость*. По всей видимости, это связано с экспансией в церковную культуру представлений, которые в начале XX века были свойственны исключительно народной религиозности<sup>13</sup>.

<sup>11</sup> <http://kirillfrolov.livejournal.com/631251.html>.

<sup>12</sup> <http://zubkoff.livejournal.com/51190.html?thread=79094#t79094>.

<sup>13</sup> В некоторых случаях авторы популярных текстов о кликушестве стараются не употреблять этого слова, имеющего, по их мнению, отрицательные коннотации. Показательным в этом отношении является документальный фильм Дмитрия Сорокина «Икотка» (2010 г.), в котором кликушество рассматривается в ряду паранормальных явлений. Создатели фильма последовательно используют слова *икота* и *икотка*, старательно избегая слова *кликуша*. Слово *кликуша* звучит в фильме только один раз в цитате из В. М. Бехтерева.

## ЛИТЕРАТУРА И ИСТОЧНИКИ

- АИ II — Акты исторические, собранные и изданные Археографическою комиссиею. Т. 2. СПб., 1841.
- Амиргулова 2006 — *Амиргулова В. И.* Георгий Коссов // Православная энциклопедия. 2006. XI. С. 18—19.
- Бьюкен. I—V — *Бьюкен У.* Полный и всеобщий домашний лечебник. Твор. Г. Бухана. Т. 1—5. М., 1790—1792.
- Вейсман 1731 — *(Вейсман Э.)* Немецко-латинский и русский лексикон купно с первыми началами русского языка к общей пользе при Императорской Академии наук печатию издан. СПб., 1731.
- Волчков. I—II — Новой лексикон на французском, немецком, латинском, и на российском языках, переводу асессора Сергея Волчкова. Ч. 1—2. СПб., 1755—1764.
- Вонперский 1986 — *Вонперский В. И.* Словари XVIII века. М., 1986.
- Говоров 1980 — *Говоров А.* Жизнь и дела Василия Киприанова, царского библиотекаря. М., 1980.
- Даль 1994 — *Даль В. И.* О повериях, суевериях и предрассудках русского народа. СПб., 1994. С. 28—29.
- Дело Мещерского — Дело о князе Ефиме Мещерском, имеющем в своем доме дароносицу с церковными дарами и икону, на поклонение которой скликал народ и о людях, участвовавших в сем деле // РГАДА. Ф. 7. Оп. 1. Д. 93. 1721 г.
- Димитрий 1742 — Слово в день Благовещения пресвятыя Богородицы... проповеданное Димитрием Сеченовым в Москве 25 марта 1742 года. СПб., 1742.
- Достоевский. I—XXX. — *Достоевский Ф. М.* Полное собрание сочинений: В 30 т. Л., 1972—1990.
- Дьяченко 1899 — Полный церковнославянский словарь (с внесением в него важнейших древнерусских слов и выражений) / Сост. свящ. Г. Дьяченко. М., 1899. [Репринт: М., 1993.]
- Ефименко 1864 — *Ефименко П. С.* Икота и икотницы // Памятная книжка Архангельской губ. на 1864 г. Архангельск, 1864. С. 75—92.
- Иоанн Кронштадтский. VII — *Святой праведный Иоанн Кронштадтский.* Дневники. Т. VII. 1865 год. (в печати).
- Клементовский 1860 — Кликуши. Очерк сделанный А. Клементовским // Московская медицинская газета. М., 1860. № 25—32.
- Краинский 1900 — *Краинский Н. В.* Порча, кликуши и беснование как явления русской народной жизни / С предисл. акад. В. М. Бехтерева. Новгород, 1900.
- Лавров 2000 — *Лавров А. С.* Колдовство и религия в России: 1700—1740. М., 2000.

- Левенстим 1897 — *Левенстим А.* Суеверие и уголовное право (Юридическая библиотека № 15). СПб., 1898.
- Левкиевская 1999 — *Левкиевская Е. Е.* Кликушество // Славянские древности. Этнолингвистический словарь / Под общ. ред. Н. И. Толстого. Т. 2. М., 1999. С. 508—511.
- Ломоносов 1760 — *Петр Великий*, героическая поэма Михаила Ломоносова. СПб., 1760.
- Максимов 1903 — *Максимов С. В.* Нечистая, неведомая и крестная сила. СПб., 1903.
- Нилус 1992 — *Нилус С. А.* Великое в малом. Записки православного. М., 1992.
- Нордстет, I—II — Российский, с немецким и французским переводами, словарь, сочиненный надворным советником Иваном Нордстетом. Ч. I—II. СПб., 1780—1782.
- Панченко 2004 — *Панченко А. А.* Христовщина и скопчество: Фольклор и традиционная культура русских мистических сект. М., 2004.
- Поликарпов 1704 — *{Федор Поликарпов}*. Лексикон трезязычный, сиречь речений славенских, еллиногреческих и латинских сокровище. М., 1704.
- ПСЗРИ I — Полное собрание законов Российской Империи [Собрание I-е]. Т. I. СПб., 1830.
- ПФР, II — Полный французский и российский лексикон, с последнего издания лексикона Французской академии на русский язык переведенный Собранием ученых людей. Т. 2. СПб., 1786.
- РК, I—V.4. — Русские крестьяне. Жизнь. Быт. Нравы. Материалы «Этнографического бюро» князя В. Н. Тенишева. Т. I—V.4. СПб., 2004—2008 (издание продолжается).
- Сахаров, I—II — Сказания русского народа, собранные И. П. Сахаровым. Ч. I—II. СПб., 1885.
- Свод законов I—XVI — Свод законов Российской Империи. Все 16 томов со всеми относящимися к ним продолжениями в одной книге / Под ред. Ф. Волкова и Ю. Филишова. СПб., 1900.
- Сергазина 2011 — *Сергазина К. Т.* Монастырская культура XVIII века и кликушество (по документам дела о князе Е. В. Мещерском) // Православный собеседник: альманах Казанской духовной семинарии. Вып. 1 (21). Казань, 2011. С. 111—117.
- СПб ведомости 1735 — Санкт-Петербургские ведомости. СПб., 1735.
- Сумароков I—X — *Сумароков А. И.* Полное собрание всех сочинений. Т. I—X. 2-е изд. М., 1787.
- Тагишев 1979 — *Тагишев В. Н.* Избранные произведения. Л., 1979.
- Успенский 1875 — *Успенский.* О народных приметах и повериях // Курские епархиальные ведомости. 1875. № 10.

Чулков 1786 — Абвега русских суеверий, идолопоклоннических жертвоприношений, свадебных престонародных обрядов колдовства, шеманства и проч. сочиненная М. Ч.[улковым]. Изданием Ф. Гиппиуса. СПб., 1786.

Шестов 2001 — *Шестов Л.* Афины и Иерусалим. М., 2001.



## СУЕВЕРИЯ И ЗАБОБОНЫ

Оба слова, о которых пойдет речь в настоящей работе, *суеверие* и *забобы*, значащие одно и то же, появляются в русском языке только в XVII в., и такой повышенный спрос на слова с одним значением не может быть случайным. Культурно-исторический контекст этого языкового перепроизводства вполне понятен. Христианская церковь, в том числе и церковь православная, всегда боролась с суевериями, но иногда эта борьба велась с большим пылом, а иногда с меньшим. В России за борьбу с суевериями всерьез принимаются в XVII в. в рамках общего процесса религиозного дисциплинирования населения. Этот процесс носит общеевропейский характер, он может пониматься как элемент того, что Филипп Горски называет дисциплинарной революцией [Gorski 2003]. В предшествующий период суеверия (что бы под ними ни разумелось) также могли вызывать осуждение церковных авторов, однако они обходились описательными выражениями: нетрудно предположить, что они могли обходиться и без единого (объединяющего разные виды суеверий) понятия: в конце концов, гадание можно рассматривать как один тип предосудительного деяния, а чтение заговоров — как другой тип. Сочетать их под одной рубрикой могла побудить прежде всего целенаправленная политика их искоренения, при которой существенным становилось обнаружение (и частое последующее уничтожение) всех их разновидностей. Эта благая цель побуждала, в свой черед, обращаться к тем образцам, которые могли снабдить искомой классификацией.

**Предыстория.** То, как обходились с этой понятийной проблемой до XVII в., т. е. до начала русской дисциплинарной революции (впрочем, потерпевшей провал), может быть проиллюстрировано на примере епитимийников и средневековых поучений против язычества и магии. Понятно, что обвинители язычества обвиняли не только и не столько настоящее язычество (которое для всего, что читалось в

XIV—XVII вв., оставалось в далекое прошлое), сколько его реликты в виде разнообразных верований и обрядов, которые позднее именовались суеверными. До середины XVII в. эти предосудительные практики упоминались в пространных или не очень пространных списках, разбирались по отдельности, были предметом обличения и рассматривались как грехи, требующие покаяния, но не трактовались как единый комплекс «неправославного» поведения и умствования.

Так, в весьма подробном епитимийнике, составленном на Руси, видимо, не позднее XIV в., «Заповедь ко исповедующимся сыном и дочерем» в качестве грехов названы различные суеверные действия, например:

в ст. 105:

Ако неаѣпо еѣ еллинскыѣ предаѣи хрѣсти, и празѣникѣ нечѣтвыѣ, иже ѿ хрѣтианѣ со тѣцаниеѣ твораѣтъ, въ градеѣ и въ кесѣѣ, не въѣдаѣтъ сѣ гниѣуще. (...) Нѣсть достоинно високоѣнаго лѣта вѣюсти насаженіе вина, ни въ ино всѣко дѣло. (...) ни нарицати зла дѣе оуклапати же сѣ звѣздочетца, и коѣдесника вѣюстисѣ, воѣшества и подокныѣ тѣмъ неѣ лѣпо колаѣвати, ни рѣсалии играти, ни индикѣтъ чести (...) [Смирнов 1912: 124];

ст. 114:

Аще кто кощониѣ сѣмѣхотвореніемъ, и играеѣтъ да поклоннѣсѣ, т. [Там же: 125];

ст. 127:

Аще кто крѣтитѣ вторѣю трапезѣ, родѣ и роженницаѣ, трепанѣмъ стѣмъ вѣца. І тои ѣсть и пиетѣ, да вѣдетѣ проклатѣ [Там же: 126].

Все эти грехи позднее подпадают под рубрику суеверий, но в разбираемом тексте они перемежаются статьями, посвященными совсем другим прегрешениям, и никак не видно, чтобы составитель епитимийника как-либо нуждался в обобщающем понятии.

Еще более отчетливо об отсутствии единого концепта свидетельствует такой памятник, как «Притча и заповеди господня», для которого Н. М. Гальковский предполагает, впрочем, без достаточно веских оснований, южнославянское происхождение; это краткое сочинение известно по разным спискам XIV—XVI вв. Здесь грехи разделяются на «телесные» и «душевные». К числу телесных относятся: «Ѹбийства, вѣдѣи, чародѣйства, позоры [вм. потвори], колѣшка, наѸзи,

идолопоклонение требы идоломъ и вѣсомъ»; видимо, сюда отнесены те «суеверные» практики, которые связаны с физическими действиями. К числу душевных принадлежат:

хѹба. зань помысли. ереси. (...) зависти. клеветы. ненависти. (...) инѹвѣрїе, иже чюжюу вѣрѹ хвалити (...) и оучитисѹ астрологїи и вѣрѹвати к' метанїа. и къ ажиаа писанїа къ еллинскїа концѹны. и каснотворѹа. к' страчю. и к' конш. и к' спокїдѣнїа. гром'шк'. коладникѹ. иггичїи чароке. и весь мартолон проклатїи. иже творятѹ злыа дни и часы. да вѹдѹтъ проклати [Гальковский, II: 274—275].

Конечно, наблюдаемое здесь деление носит формальный характер, но тем не менее разные «суеверные» грехи поставлены в разный контекст, и не видно никакой интенции к их объединению. Не содержат объединяющего понятия и довольно редкие слова *двоувѣрие*, *двоувѣрьство*, *двосвѣрие* [Срезневский, I: стб. 639—640]; они иногда используются для обличения тех православных, которые соединяют обычаи языческого происхождения с христианскими обычаями или текстами, но употребляются не как обобщающие понятия, а как характеристики отдельных действий.

В этом отношении русская культурно-языковая ситуация отличалась от ситуации латинского мира. Имею в виду два аспекта. Во-первых, в латинском языке понятие *superstitio* существовало еще до распространения христианства (о его значении будет сказано ниже), и проблема состояла, таким образом, не в создании нового понятия, а в адаптации словоупотребления римских языческих авторов к новому христианскому узусу. Как справедливо отмечает Эдвард Петерс в главе, посвященной суевериям и их концептуализации в Средние века на латинском Западе, «the Latin language maintained a particular set of terms for the subjects of this chapter that in many cases shaped the vernacular languages of Europe and imposed at least a linguistic and conceptual identity on a set of originally very diverse phenomena» ([Peters 2002: 177]; описание процесса формирования «*superstitio* als Oberbegriff» см. [Harnening 1979: 33—42]).

Во-вторых, хотя до Тридентского собора борьба с суевериями не отличалась последовательностью и настоятельностью и практическое отношение к неблагоприятным или магическим действиям и верованиям могло быть относительно терпимым, практические проблемы обрастали на Западе теоретическими рассуждениями и суеверие оказывалось предметом богословских разработок, для которых, конечно же, требовались общие понятия. В особенности это характерно

для схоластики, так что в «Summa theologiae» Фомы Аквинского мы находим подробный разбор понятия суеверия, того, что под него подпадает, и того, к чему оно прилагается неоправданно, и в этом контексте весьма подробную классификацию разного типа суеверий.

Фома, цитируя Цицерона и толкуя Августина, анализирует проблему суеверий, в частности и объема этого понятия, в вопросах 92—96 второй части второй книги Суммы. Понятие *superstitio* подразделяется на четыре разряда: (1) неправильное почитание истинного Бога; (2) суеверие идолопоклонства; (3) суеверие гаданий; (4) суеверие обычаев (разбирая понятие суеверия, он пишет «*primo, de superstitione indebiti cultus veri Dei; secundo, de superstitione idololatriae; tertio, de superstitione divinationum; quarto, de superstitione observationum*» (Quaestio 93, Prooemium — Thomas Aquinas, XL, 10). Как можно видеть, последние три рубрики покрывают и приводят в логический порядок все те случаи магии, гаданий и ложных верований, которые отличаются в средневековых православных памятниках; первый разряд, однако, не находит себе прямого соответствия в православных перечнях, если только не считать таким соответствием ересь, т. е. неправильную христианскую веру, которая в восточнославянских представлениях неизбежно предполагает и неправильное почитание. Однако правомерность такого соотнесения сомнительна, поскольку ересь в качестве отдельной рубрики есть и у Фомы, а недолжное почитание нетождественно ереси (см. Quaestio 94, art. 1 — Там же, 18—24).

**Первые примеры.** Как уже было сказано, специальные обозначения для всего комплекса «суеверных» практик и воззрений появляются во второй половине XVII в. Само их появление может рассматриваться как элемент западного культурного влияния. Возможно, в случае слова *суеверие* перед нами гот недостаточно изученный случай, когда заимствуется понятие, а не слово, а для усвоенного понятия создается выражение, базирующееся на автохтонных компонентах. Первое фиксируемое в Картогесе «Словаря русского языка XI—XVII вв.» употребление находится в «Слове о суеверии и сущестии» Симеона Полоцкого (по рукописи БАН, 33. 7. 4 первой четверти XVIII в., л. 33 об.; изд. [Симеон Полоцкий 1683: л. 32—40 2-й пагинации (Приложение слов на различныя нужды)]; ср. [Смилянская 2004: 123]; Смилянская ошибочно ссылается на «Обед душевный» Симеона). Симеон пространно рассуждает о разновидностях суеверий, о их внутренней взаимосвязи и об их губительной природе. Он перечисляет подрубрики и приводит многочисленные примеры. У него не получается такой

четкой систематики, как у Фомы, и это побуждает думать, что Фома не был для Симеона прямым источником. Не берусь пока что судить, насколько оригинально исчисление суеверий у Симеона. У него много местного материала, который, конечно, не мог быть почерпнут из латинского источника, однако не исключено, что в построении аргумента был использован какой-нибудь школьный латинский образец, опосредованно связанный с *Summa theologiae*.

Симеон начинает с указания на многообразие суеверий:

Кѣ же сѣть плевелы сѣвѣрѣа; мнози сѣть, но нѣтъ въ тѣхъ точію имать глати (...) іаже выкають, егда кто сѣвѣаи нѣкѣа имать за знаніа вѣдѣщихъ, и егда кто дѣетъ что, или глаголетъ бесполезное, и ѿ цркве неприѣтное. вѣрѣ прилагая недостойнымъ вѣрѣ [Симеон Полоцкий 1683: л. 33].

В первом случае речь идет, конечно, de superstitione divinationum, а во втором, казалось бы, de superstitione indebiti cultus veri Dei, однако в последнем случае это впечатление обманчиво, поскольку далее говорится о магических практиках, которые должны трактоваться как superstitiones observationum (со ссылкой на некоего премудрого учителя, которого я не берусь идентифицировать):

Снцѣво естъ по единомѣ ѿ премѣдрѣ оучитель сѣвѣрѣе, всякое оуказаніе, и вращество лекарственною хитростію ѿреченное. Аще во шептахъ или напѣваніихъ: аще въ характерахъ нѣкѣихъ, или писаніихъ: аще въ закѣщеніи нѣкѣихъ вещей, и казаніи, или во скаканіи, еже не ради дѣлствіа тѣлесѣ, но во знаменованіа таиннаа, или явнаа бываетъ [Там же: л. 33].

Эта классификационная странность объясняется, возможно, тем, что Симеон имеет в виду, в частности, заговоры, обращенные не к нечистой силе, а к Богу; он упоминает о бабе, которая напесая колдует и обращается к Богу:

тогда во ради паче возненавиди ю, и ѿвращайся, іакъ бже нма во оукрореніе оупотребляетъ, іакъ хрѣтіанѣ себе выти глаючи, языческаа дѣла творить [Там же: л. 35].

Имеются у Симеона и две другие рубрики томистской классификации. Он посвящает несколько пассажей своего слова «языческим» обычаям, т. е. superstitiones idololatriae, называя прежде всего «обычай во хрѣтіанехъ поганскій» [Там же: л. 36 об.] плясания и скакания на Ивана Купалу. Плясание, скакание, качание на качелях и прочие праздничные игры рассматриваются им как

преданіа поганскаа, дѣланіа вѣсковская, вѣб' мерзская, демономъ пріатнаа: аггавомъ ненавистнаа, діаволѣмъ любезнаа, дѣшамъ же кашымъ пагубнаа [Симеон Полоцкий 1683: л. 35 об.].

Симеон не проходит мимо и *superstitiones indebiti cultus veri Dei*, первого разряда в классификации Фомы, которому, как я уже говорил, в традиционных русских обличениях ничего не соответствует. Симеон, несомненно знакомый с католическими теориями, оказывается здесь новатором, хотя об этом виде суеверия говорится отнюдь не на первом месте и как бы мимоходом. Симеон пишет:

Суевѣрія видъ есть, чудесемъ неправеднымъ, или некимъ-шымъ, вѣскорѣ и кромѣ свѣдѣтельствъ вѣрѣ вати, проповѣдати же словомъ, или писаніемъ: Нечестіе же мощи ныа, в'мѣсто стѣхъ: или вещь инѣ, в'мѣсто мощей стѣхъ под'лагати [Там же: л. 33 об. — 34].

однако вслед за этим без всякого перехода говорится о встрече с волком, зайцем или иноком как дурных предзнаменованиях, что у Фомы относится, конечно, к *superstitiones divinationum*, так что Симеон оказывается не очень тверд в классификации и не дает читателю ясного представления о том, какие именно религиозные практики, кроме прямого подлога, осуждаются как суеверия неправильного почтания Бога.

Как бы то ни было, Симеон не только создает слово *суеверие*, но и утверждает в русской дискурсивной практике само понятие о суеверии, руководствуясь при этом западными (без сомнения, католическими) образцами. Что касается самого словотворчества, то в нем никакой загадки нет. Слово построено по модели употреблявшихся в средневековой письменности лексем *суетмудрыи, суетмыслыни, суетытаніе, суетсловіе* [Срезневский, III: стб. 610; дополнения, стб. 251], в которых компонент *сует-* может означать 'ложный'<sup>1</sup>. В понятийном отношении это новообразование соотносится с такими концептами в традиционных обличениях различных нечестивых обрядов и верований, как *злаа вѣра* и *злооуміе* (в обличении обычая мыться и посвящать мясо умершим в Великий четверг [Гальковский, II: 15—16]). В Слове «Како первое погани суще языци кланялися идолом» может

<sup>1</sup> Мнение В. В. Виноградова, согласно которому, «[б]ыть может, явной второго южнославянского влияния занесены в русский литературный язык такие слова, как *суетер, суетверіе, суетверный*» [Виноградов 1994: 1024], высказано без всяких фактических оснований.

также говорится о том, что «зловѣрнѣи» приносили жертвы идолам, «амѣице соудѣице истинною» [Гальковский, II: 22]. В другом поучении поклонение роду и рожаницам именуется службою «коуѣмиромѣ соудѣице» [Там же: 87].

Понятнейшее содержание другого нового слова, *забобоны*, не раскрывается с такой же эксплицитностью. В немногочисленных примерах из текстов XVII в. это слово прилагается к нехристианским религиозным обычаям. В одном случае речь идет о мусульманах. В сочинении «О основании Цариграда и зданіях его наряднейших», переведенном с польского трактата Шимона Старовольского во второй половине XVII в., находим: «любовь свою и мѣрдне тѣмѣу скоутѣ показывають, чтобѣ своен соблазненои вѣрѣ и завоковнѣи ни в чемѣ не переступити» (ср. [СлРЯ XI—XVII вв., 5: 136]); в польском оригинале «abo gaszej zachować zabobony swoje pogańskie»; весьма характерно, что в переводе добавлена *соблазненная вера* как своего рода глосса к *забобонам*, видимо, пока еще плохо знакомым московскому читателю. Другой пример, приводимый в «Словаре русского языка XI—XVII вв.», может быть отнесен к русскому языку XVII столетия лишь весьма условно, поскольку он появляется в украинском церковнославянском тексте, позднее, правда в XVIII в., переиздававшемся в Москве и входившем в круг чтения московских авторов. Речь идет о Синописисе Иннокентия Гизеля, изданном в Киеве в 1681 г. в котором обычай обливаться водой на Пасху характеризуется как бесовский; юношей и стариков «поливаетъ водою, томѣжде вѣсѣ жертвѣ древнихъ завоковъ ѿновляюще» [Rothe 1983: 194]; этот текст перепечатан Гальковским [Гальковский, II: 298], откуда он и попадает в картотеку «Словаря...», теряя свою украинскую идентичность.

Можно заключить, что слово *забобоны* появляется в русской письменности в конце XVII в. со значением 'языческий (нехристианский, бесовский) обряд' и при семантическом расширении может становиться синонимом другого нового слова, *суеверие*. Во всяком случае в Лексиконе трехязычном Федора Поликарпова (в котором слово *суеверие* отсутствует) *забобоны* получают те латинские и греческие эквиваленты, которые свидетельствуют об освоении интересующего нас комплексного понятия, ср. здесь: «Забоконы, притворная вѣра, superstitio, ἡ δεισιδαιμονία, ἐθελοθρησκεία, ficta religio; Забоконный, δεισιδαιμων, supersticiosus, superstitione imbutus» [Polikarpov 1988: л. 112]; показательно, что *забобоны* оказываются синонимичными заблуждению в вере, ср.: «Завлѣждение вѣ вѣрѣ, ἡ δεισιδαιμονία,

superstitio: **Заблужденный в' вѣрѣ**, *δεισιδαίμων*, *superstiosus*) [Polikarov 1988: л. 112]<sup>1</sup>.

Слово заимствуется из польского, где оно обладает более широким спектром значений ('суеверие', 'идол', 'талисман, амулет'), употребляется не только как *pluralia tantum* и входит в обширное словообразовательное гнездо, см. [Karlłowicz, VIII: 24—25; Linde, VI: 600]. Понятно, что в польском оно и фиксируется существенно раньше, по крайней мере с XV в. (см. [Urbańczyk, XI: 48]: '*superstitio, fides artis magicæ*' и с древнейшим употреблением в качестве глоссы к «*dyabolicas divinationes*»). Возможно, заимствование осуществляется через посредство украинского языка или, по крайней мере, текстов украинского происхождения. В украинском это слово также оказывается более укоренено, чем в русском, обладая и более развернутыми словообразовательными связями, и более разнообразным спектром употребления, см. [СУМ, III: 25; УРС, II: 9; Гринченко, II: 7]. Впрочем, несмотря на свой заимствованный характер, оно и в русском не остается исключительной принадлежностью книжного языка, но со значением 'суеверные приметы, суеверия' попадает и в русские говоры, преимущественно, однако же, западные [СРНГ, IX: 260].

**Дальнейшее семантическое развитие: суеверие.** Если для Симеона Полоцкого суеверие как неправильное почитание истинного Бога (*de superstitione indebiti cultus veri Dei*) было понятием маргинальным, то в XVIII в. оно становится едва ли не основным. Это связано с изменениями в политике религиозного дисциплинирования, происходившими в эпоху Петра I. Конечно, в XVII в. с суевериями боролась и церковная власть, и проводившаяся этой властью политика дисциплинирования включала подавление несконтролируемой харизматической религиозности (например, юродства) и несанкцио-

---

<sup>1</sup> Перевод *superstitio* (наряду с *ficta religio* и *anili cultus*) дается для слов *забобоніе* и *забобоны* в словаре И. Г. Спарвенфельда; там же для прилагательного *забобонный* дается поясняющий его контекст («самовольный слугитель») и перевод: *superstiosus, anili superstitione imbutus* [Sparwenfeld, I: 407]. *Самовольное служение* вряд ли имеет отношение к реальному русскому употреблению, но обусловлено, видимо, дефинициями соответствующих греч. и лат. слов (*δεισιδαίμωνία, ἐθελωφρησκεῖα, superstitio*) в доступных Спарвенфельду лексикографических пособиях (ср. [Lampe 1961: 406]). Не вдаваясь в сложную тему истории понятия суеверия и греческом, замечу, что в греческом не было такого обобщающего термина как *superstitio*, так что, видимо, греческие прецеденты не имеют для русских процессов сколько-нибудь существенного значения.



нированных форм благочестия. Тем не менее церковная власть была относительно толерантной в проведении этой политики и не стремилась изменить большинство традиционных православных религиозных практик. Продолжали появляться и новые святые, и новые мощи, и новые чудотворные иконы, и новые священные источники. Церковь хотела контролировать народное благочестие, но не стремилась реформировать его сколько-нибудь радикальным образом.

У Петра были совсем иные задачи. Он мечтал о построении «регулярного» государства. Сама идея требовала социального дисциплинирования, в том числе и в сфере религиозной. Поэтому политика религиозного дисциплинирования апроприруется государством. Для государства, которое замыслил Петр, было необходимо всеобщее служение; для того чтобы внушить населению этот идеал, Петру нужно было представить служение государству как высшую добродетель. В силу этого служба претендовала на то, чтобы стать не только основой социального успеха, но и главным инструментом христианского спасения. В текстах петровского времени неоднократно утверждалось, что, служа отечеству, спастись можно скорее, чем в молитвенном затворничестве. Ожидать спасения из посторонних источников было запрещено; это приравнивалось к отказу от служения царю и государству, и надежда на эти источники объявлялась суеверной (см. об этом подробнее в [Живов 2009]).

Конечно, это включало и практики, трактовавшиеся как суеверные до Петра. Гадание и предзнаменования, позволяющие «суеверцу» «узнать» будущее и переиграть власть, колдовство и ворожба, предназначенные наделить прибегающего к ним «незаконными» возможностями успеха, всегда находятся в конфликте с рациональным контролем, составляющим существо дисциплинирования. Суеверие — это способ выскочить из-под этого контроля и получить даром то, что власть дозирует по заслугам. Однако еще большие опасности представляли вполне православные сотериологические верования, предполагавшие неинституциональное спасение — с помощью чудотворных икон, странствующих старцев, новоявленных мощей или священных источников. Конечно, полностью искоренить соответствующие практики Петр и его сподвижники не могли и не хотели, поскольку они были слишком прочно внедрены в фактуру политикорелигиозной жизни православной империи — как, скажем, Владимирская или Казанская иконы Божией Матери или мощи св. Александра Невского. Можно было, однако, ограничить развитие новых сотериологических практик этого типа, запретить новые культы, с

которыми особенно часто связывались надежды на избавление от обстояний самодержавного насилия. Эти новые «пародные» религиозные движения как раз и начинают в Петровскую эпоху трактоваться как «суеверные».

Едва ли не первый пример такого употребления находим у самого Петра, когда он в 1716 г. требует внести в архиерейское обещание статью, согласно которой епископ обязуется

уиичъ и запрещать дабы расколовъ, съѣбѣрія, и въопротивнаго чествованія не было, дабы невѣдомыѣ и ѿ цркви неспидѣтельствован-ныхъ гробовъ за стѣну не почитали. притворныѣ вѣснѣющихъ, а калѣбнаѣ, косыхъ, и к рѣбашкахъ ходящихъ не точно наказывать. но и градскомъ судѣ ѿсылать, и протчиѣ по ѿобразу калгочестія притвор'ныхъ и прелестныхъ дѣла дхов'наго и мир'скаго чина не принимали, дабы стѣхъ иконъ не боготворили и нахъ ложныхъ чуде-съ не вымышляли [Живов 2004: 204].

«Несвидетельствованные гробы» и «ложные чудеса», производимые святыми иконами, представляют собой элементы нового дискурса, и именно эти сотериологические заблуждения начинают характеризоваться как суеверные. Понятие суеверия расширяется, охватывая вполне традиционные православные религиозные практики, вступающие в противоречие с петровским этатизмом и рационализацией.

Это расширение, как и многие другие петровские инновации, создаст впечатление некоторой преемственности с предшествующим узусом. Как мы видели, о ложных чудесах и поддельных мощах упоминал и Симеон Полоцкий, хотя различные эксцессы православного благочестия, например, юродство, под рубрику суеверия у него — в отличие от Петра — никак не подпадают. Существенно, что то, что у Симеона было проходным замечанием, сделанным для схоластической полноты перечисления, у Петра оказывается в центре внимания и приобретает актуальное политическое значение. Источники, как это обычно и бывает, не определяют функцию. В том интеллектуальном запасе, из которого Петр и его сподвижники (прежде всего Феофан Прокопович) строят свою дисциплинарную парадигму, Симеон, безусловно, занимает периферийное место.

Важнее, надо думать, было томистское учение об эксцессах веры, когда главным объектом поклонения оказываются внешние предметы, ср. у Фомы Аквинского в Сумме:

И потому Августин (De vera relig. III) цитирует слова Луки (17:21) «Царствие небесное внутри вас» против «суеверий», т. е. иными сло-

вами против тех, кто уделяет основное внимание внешним вещам (*exterioribus principalem curam impendunt*) (Quaest. 93, art. 2 — Thomas Aquinas, XL, 14—16);

Прокопович несомненно был с ним знаком<sup>1</sup>, а до Петра он мог прийти в многократно опосредованном виде. Еще важнее, можно предположить, был другой западный источник, по существу несовместимый с томизмом: когда, однако, идеи заимствуются с определенным политическим заданием, при рецепции могут смешиваться компоненты, по видимости не подлежащие смешению. В данном случае я имею в виду протестантскую критику различных католических верований и практик как «суетверных». Русские авторы, безусловно, не могли воспринять весь репертуар протестантской критики, поскольку они никак не собирались отказываться, например, от почитания Божией Матери или святых, но отдельные выпады против Aberglaube легко могли быть использованы в дисциплинирующем рационализаторском дискурсе.

Понятие суетверия, обнимающее как неправославные, так и православные религиозные практики, разъясняется Прокоповичем в Первом учении отроком вполне в духе западного (как протестантского, так и католического) теоретизирования:

Суетверцы, якови и междо хрѣтіани шверѣтаются, котори снѣхъ иѣккую вредную, или полезную воспользуютъ вѣщею или лицами иѣккими, таковыя силы не имѣющимъ [Феофан Прокопович 1744: л. 3].

В соответствии с этим пониманием эксцессы православного благочестия приравниваются к идолопоклонству, и в предисловии к «Библиотекам» Аполлодора Прокопович, не обвиняясь, пишет:

Когда, глаголю, сами своимъ мозгомъ мудрствовать начинаемъ, не слѣпоотвѣщаемъ ли по подобію языческому, мало ли у насъ набасно от лжеучителей суетверія и басенъ; и многіи ли не вѣруютъ им; не токмо многіи вѣруютъ, но и когда слышать проповѣдусмыи прямыи путь спасенія, огь неложныхъ словесъ самаго Бога, по словеси пророческому, окаментѣвають сердца своими, и ушима тяжко слышать, а очи свои смежаютъ: А суетверныя росказы сладѣхъ пріемлютъ: не спраши-

<sup>1</sup> Можно предположить, что с представлениями о недопустимых эксцессах в почитании истинного Бога связан следующий пассаж из Слова Феофана Прокоповича в день св. Екатерины 1717 г.: «Окаже сѣтъ иѣкка и знаменіа тогѣ икоже ко вѣ притворнои к Бгѣ любки свойственныи характеръ есть нездѣланое суетверіе, такъ и въ любки к книженѣ непостоянныи и ложной характеръ сѣтъ иѣккіа суетныа почестіи» [Феофан Прокопович 1717: л. 6].

вая ни мало, чем сіе, или оноє преданіе утверждается: гдѣ написано: обрѣтается ли въ священномъ писаніи: научили ли тако Апостоли, и имъ послѣдовавшии отцы; но просто и без всякого разсужденія вѣрують. Таковѣи убо, когда чтуть Аполлодорову сію книгу, и удивляются слѣпому языку вѣроятію; да помышляютъ и о самихъ себѣ, како опасни суть [Аполлодор 1725: предисл., 13—15].

Это понятие о суеверии реализуется и в основном памятнике петровской церковной политики, а именно в Духовном Регламенте. Здесь в разделе о посещении архиереями своей епархии говорится: «Спросит же Епископ священства и прочих человек, не делаются ли где суеверия? Не обретаются ли кликуши? Не проявляет ли кто для скверноприбытства ложных чудес при иконах, при кладезях, источниках? и прочая» [Духовный Регламент 1904: 44]. Здесь дается и своеобразная дефиниция суеверия, подразумевающая преимущественно традиционные православные практики и прямо противопоставляющая их институциональному спасению:

[С]ловом рещи, что либо именем суеверия нарециши может, сиесть лишнее, ко спасению не потребное, на интерес только свой от лицемеров вымышленное, а простой народ прельщающее, и аки снежные заметы, правым истины путем идти возбраняющее [Там же: 24].

В течение всего XVIII в. слово *суеверие* может встречаться не только в приложении к различным нехристианским верованиям и обычаям, но и в приложении к традиционным православным религиозным обычаям, таким, скажем, как поклонение новым чудотворным иконам или священным источникам. Я не говорю здесь о просвещенческом употреблении, в котором *суеверие*, соотносясь с *superstition* французских *philosophes*, означает всевозможные заблуждения человечества, в том числе и традиционные церковные ритуалы и доктрины: *суеверие* в таком значении нередко встречается, например, у Радищева; это употребление вряд ли требует особых комментариев. Я имею в виду примеры, в которых суеверие относится специфически к тем аспектам традиционного православия, с которыми — в рамках политики дисциплинирования — боролся Петр и его преемники. Такое употребление развивает традицию, заложенную петровским антиклерикализмом.

Например, в так называемой IX сатире А. Д. Кантемира о ревнителях старины, осуждающих любые нововведения, говорится:

Те-то суеверие все в народе родят;  
От сих безмозгих голов родятся расколы;  
Всякий простонародный в них корень крамолы [Кантемир 1956: 182].

Суеверие — в полном согласии с петровским дискурсом — автор приравнивает к обскурантизму. Обращаясь к солнцу, он так описывает суеверного невежу:

Буде б честь от нас богу ты узнать желало —  
В-первых, бы суеверий бездну тут сыскало.  
Мужик, который соху оставил недавно,  
Аза в глаза не знает и болгнуть исправно,  
А прислушайся, что врет и что его вздоры!  
Ведь не то, как на Волге разбивают воры.  
Да что ж? Он ти ворогги богословски речи:  
Какие пред иконы должно ставить свечи,  
Что теперь в церквах вошло старине противно:  
Как брадобритье терпит бог, то ему дивно.  
На что, баэт, библию отдают в печати.  
Котору христианам больно грешно знати? [Кантемир 1956: 181]

В Слове Димитрия Сеченова на Благовещение 1742 г. о Петре Великом говорится: «А паче неусыпное Его тщаніе было о сохранении благочестивыя вѣры, не малое попеченіе имѣлъ, какъ бы въ духовныхъ сребролюбный нравъ истребить, расколы испразднить, суевѣріе отгнать» [Димитрій Сеченов 1742: 13]. Ломоносов, описывая стрелецкий бунт в поэме «Петр Великий», противопоставляет стремление царя к просвещению клерикальным предрассудкам его противников:

Едва сей бурный вихрь несчастьем укротился  
И Я в спокойствіи къ наукамъ обратился,  
Искалъ, гдѣ знанія сіяетъ ясной лучъ.  
Другая мнѣ гроза и мракъ стущенныхъ тучъ  
Отъ суевѣрія и грубости восходитъ.  
И видомъ святости сугубой страхъ наводитъ.  
Ты вѣдаешь расколъ, что началъ Аввакумъ  
И пустосвятъ злодѣй, его сообщники думъ.  
Невѣжество почеть за святость старой вѣры  
Пристали ко стрѣльцамъ ханжи и лицемѣры... [Ломоносов, II: 202]

Когда в 1754 г. в очередной раз была сделана попытка упорядочить законодательство и составить новое уложение, Сенат разослал по судебным местам план будущего свода законов, в котором предусматривалась глава «О еретичествѣ и суевѣріи» [ПСЗ, XIV: № 10283 от 24 августа 1754 г., с. 208]. В «Приговоре Высочайше учрежденной особенной Генеральной Коммиссии над виновниками и соучастниками бывшего в Москве мятежа», которым были осуждены участники чумного бунта 1771 г. (случившегося из-за того, что народ верил, что

московський архієпископ Амвросій Зертис-Каменський собирається убрати чудотворну ікону Боголюбської Богородиці), говориться о том, «коль пагубны роду человеческому вообще слепота и суеверие, корыстолюбием частным и малых людей воспламененная» [ПСЗ, XIX: № 13695 от 10 ноября 1771 г., с. 366]. В «Примечаниях» Болтина находим: «Нехотѣвшие грудами рукъ своихъ снискивать себѣ пропитаніе, постригся в монахи, и оставалися на цѣлой вѣкъ свой тунеядцами, на счотъ суевѣрія и ханжества. Нынѣ вывелися сии трутни» [Болтин 1788, I: 122]. Насколько я могу судить, это специфическое приложение слова *суеверіе*, связанное с политикой дисциплинирования, перестает встречаться с начала XIX в. (такое приложение данного слова следует отличать от его употребления в антирелигиозных сочинениях, обличающих церковь за ее «суеверія»; употребление последнего типа, конечно, хорошо представлено в текстах XIX и XX в., особенно в контексте советской антирелигиозной пропаганды).

**Дальнейшее семантическое развитие: забобоны.** *Забобоны* в целом ведут себя в XVIII в. как младший брат *суеверія*, хотя в их семантическом развитии обнаруживается одна существенная особенность, отличающая их от *суеверія*. Так же как *суеверіе*, *забобоны* начинают обозначать те традиционные православные верования и практики, которые стремится искоренить Петр I. Так, например, Феофан Прокопович в Слове в день святого благоверного князя Александра Невского 1718 г., весьма важном тексте, в котором как раз и говорится о том, что спастись нужно, служа государю, а не удаляясь в монастырь, пишет:

И каковое неистовство въ сердца многих вселилось! аки бы другій желаетъ какъ спастися, а что по званію своему должень, о томъ ниже помышляя, но и многажды еще званію своему противное творя, ищеть пути спасеннаго у сыновъ погибельныхъ, и вопрошаетъ: какъ спастися? у лицемеровъ, мнимыхъ святцевъ, и развѣ для того безгрѣшныхъ, яко о ірѣхахъ своихъ не помышляютъ: что же они? видѣнія скажутъ, аки бы шпионами къ Богу ходили, притворныя повѣсти, то есть бабія басни бають, заповѣди бездѣльныя, храненія суевѣрная кладуть, и такъ безстыдно лгутъ, яко стыдно бы востиннику и просто человѣкомъ, не точію честнымъ нарещися тому, кто бы такъ безумнымъ расказчикамъ вѣрить! но обаче мнози вѣрують, увы окаянства! О слѣпін спасенія искатели! которыхъ такое буссловіе усаждаетъ. Сей ли путь спасенія? яко помраченъ забобонами не знаешь, что ты должень еси Богу, Государю, отечеству, всякому собственно ближнему, словомъ рещи, что должень званію твоему [Феофан Прокопович, II: 16].

В Записках А. А. Матвеева о стрелецком бунте 1682 г. рассказывается об архиепископе Афанасии Холмогорском, вступившем в полемику со старообрядцами:

При томъ же соборѣ быть одинъ изъ архиресевъ Афанасій, архиепископъ Холмогорскій и Важскій, мужъ слова и разума зѣло доволенъ, прежде предержащійся оныхъ расколовъ, разсмотрѣвъ же опасно ихъ лживые и безумные забавоны, того ради отъ оныхъ къ Восточной церкви обратися, явился крѣпкий православия защитникъ, и тотчасъ начать ихъ капитановъ лживыя изобретении и уничтоженныя забавоны изобличать и яко сирѣлами уязвлять [Сахаров 1841: 40].

Эти записки пересказываются (близко к тексту) П. Н. Крещинным в сочинении «О зачатии и о рождении великаго государя императора Петра Великаго», и здесь вновь упоминаются «ложные и безумныя забавоны» ревнителей старины (РИБ. Погод. № 1718, л. 23 об.). И во второй половине XVIII в. о забобонах как обманной и вредной вере может говориться даже в официальном документе, ср.: «и дабы впредь подобнымъ сему на одной только коварной злости и обманѣ основаннымъ забобонамъ повода не было ко вреду другихъ» (ПСЗ, XIX, № 13427, с. 25 — 1770 г.).

*Забобоны* в качестве синонима *суеверия* не выдерживают конкуренции с этим последним. *Суеверие* — это почтенное сложное слово, похожее на такие книжные слова, как *суесловие* или *правоверие*, и в силу этого приличествующее ученому и официальному языку. *Забобоны* на книжное слово непохожи, они скорее напоминают такие *pluralia tantum*, как *растабары* или *бубны*, и, возможно, сохраняют некоторый отпечаток своего (гипотетически) оноματοпоэтического происхождения, ср. в сербохорватском *бобонити* 'шуметь' [Фасмер, II: 70]. Это постепенно дисквалифицирует их в качестве «серьезного» слова, пригодного для законодательства, поучений или рассуждений. В начале XIX в. в «Словаре Академии Российской» о *забобонах* говорится: «Въ просторѣч. вздорныя, нелѣпныя враки основанныя на суевѣрїи и незаслуживающія вниманія разумнаго челоувѣка» [САР<sup>2</sup>, II: стб. 484]; существенна здесь и семантическая характеристика, и указание на просторечие. В лексикографических трудах середины XIX в. значение 'суеверия' вообще исчезает, а остаются одни пустяки и вздор. Так, в «Академическом словаре» 1847 г. указывается: «ЗАБОБОНЫ, овъ, с. м. мн. Простон. Вздорныя, нелѣпныя розсказни, враки» [СЦРЯ, II: 3]. Аналогично у Даля: «ЗАБОБОНЫ м. мн. забобонница ж. вздор, пустяки, нисенитница, враки, вздорные слухи и вести, особ. сулящие разных благ. Веръ забобонам. Забобонный к нелепостям, сулящим что

либо, относящийся» [Даль, I: 553]<sup>4</sup>. Кажется правдоподобным, что исчезновение у *забобонов* значения 'суеверия', которое можно датировать концом XVIII — началом XIX в., обусловлено в конечном счете провалом русской дисциплинарной революции: суеверия и прежде всего традиционные православные религиозные практики, со времен Петра трактовавшиеся как суеверные, перестали преследовать и перестали публично презирать, и поэтому больше не было нужды в полемически уничижительных *забобонах*.

Развитие значения 'взор, враки' вполне объяснимо: пейоративное отношение к суеверным вымыслам распространяется на другие нерациональные и нелепые простонародные фантазии, слова и поведенческие модели. Заслуживает внимания, что данный процесс начинается весьма рано, еще в тот период, когда *забобоны* вполне активно использовались в «серьезной» литературе. Правда, однозначные примеры появляются лишь к концу XVIII в., например, в послании В. П. Петрова «К... из Лондона» предположительно 1772 г. (здесь о стихах автора иронически говорится «Идут они в дела, идут и в забобоны, На мерки для портных и войску на патроны» [Поэты XVIII в., I: 354]), или у А. Т. Болотова в «Сельском жителе» за 1778 г. («наскучил вамъ своимъ умствованіями и расказами (...) не могу ничего и судить объ вас однако какъ легко статья можетъ, что вы такихъ забобоновъ нелюбите и ихъ терпѣть не можете...» — Сельский житель, ч. I, л. 4, с. Г5), или в «Енейде на изнанку» Н. П. Осипова 1796 г. («Всѣ описать дѣла геройски... Какъ здѣсь Троянцы работали, Латинцовъ плотно оплетали, Тузя безъ дальнихъ забобонъ» [СРЯ XVIII в., VII: 163]). Непременный секретарь Российской академии Н. И. Лепехин полагал (в 1801 г.), что Академия должна составить учебную риторiku и пиитику, не похожие на простые учебники, чтобы «академия избрала настоящую стезю и не следовала школьнымъ забобонамъ» [Сухомлинов, VIII: 205]. Нередко приводимые в качестве примера стихи из «Разговора с Анакреоном» Ломоносова поддаются разной интерпретации:

---

<sup>4</sup> У Даля появляется еще и «*Забобонный или забубенный человек, головушка, разгульный*». Такое толкование вряд ли основано на употреблении, скорее оно объясняется тем, что составитель словаря спутал два «простонародных» прилагательных. От Даля это коллокация переходит — со ссылкой на Даля — и в Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии Наук (под ред. Я. К. Грота), в котором дается «*Забобонный человек — разгульный, забубенный человек (Д.)*» [Грот, II: стб. 698].



Ты жиль по тѣм законамъ,  
Которые писал:  
Смѣялся забобонамъ,  
Ты пѣть любилъ, плясалъ... [Ломоносов, II: 279]

Остается неясным, смеялся ли Анакреон над суевериями или над иными нелепостями нефилософствующего человечества. Тем не менее появление интересующего нас значения четко фиксируется русско-французским словарем А. Д. Кантемира. В нем мы находим:

**Забобонны**" Adj. Superstitieux; § Extravagant нести в забобонную  
Dire des Galimatias, des Extravagances. Battre la compagne. **Забобонны**  
Plur. S. M. Superstition § Extravagance. Galimatias. **Забобоню** V. N. Etre  
Superstitieux. § Dire des Extravagances. Battre la Campagne [Кантемир.  
I: 345].

В XIX в., насколько можно судить, *забобоны* употребляются исключительно в данном значении. Так, у В. Т. Нарезного в «Российском Жилблазе» (1814) находим: «Не глуп ли подлинно был я, что опять пустился следовать нравственной философии, которая столько раз тирански со мною поступала, да притом я дал уже однажды и клятву, оставя забобоны совести, попытаться, не буду ли счастливее, своротя немного с ее дороги» (пример из Национального корпуса русского языка). У Мельникова-Печерского в «В лесах» встречаем: «Эх, Васенька, Васенька! умный ты человек, а ину пору таких забобонов нагнешь, что и слушать-то тебя грех» [Прот, II: стб. 699]. В завершение этой истории можно еще указать, что Д. Н. Ушаков исключил по неясным для меня причинам *забобоны* из своего словника, этот пример был усвоен всей советской лексикографией.

**Итоги.** Кратко суммирую основные положения предлагаемой читателю работы. Слова *суеверие* и *забобоны*, бывшие поначалу синонимами, появляются в русском языке в XVII в. Их появление может рассматриваться как концептуальная инновация, поскольку до этого у русских отсутствовало единое понятие, объединяющие обряды и верования, подпадающие под современное понятие о суеверии. Они не представляли собой единый комплекс, но распадались на разрозненные рубрики, для которых существовали разнообразные слова. Эта концептуальная инновация обусловлена культурным контекстом, доминирующей характеристикой которого становится с середины XVII в. религиозное дисциплинирование, включающее и борьбу с суевериями. Данный контекст актуализует западные разработки понятия о суеверии, прежде всего схоластические (томистские) постро-

ения, которые — непосредственно или опосредованно — отражаются в сочинениях московских авторов.

Со времени государственной апроприации борьбы с суевериями при Петре I основным объектом преследования становятся не народные обычаи языческого происхождения, а традиционные православные религиозные практики. В результате именно к этим практикам начинают по преимуществу прилагаться слова *суеверие* и *забобы*. Примеры такого употребления встречаются в течение практически всего XVIII в. В XIX в. подобное использование данных слов больше не практикуется, и это можно связать с концом политики религиозного дисциплинирования. При этом судьба у слов *суеверие* и *забобы* оказывается разной. *Суеверие* продолжает употребляться как русский эквивалент *superstitio* (в частности в рамках просвещенческого и антрелигиозного дискурса), а *забобы* отбрасываются в сферу простонародной лексики, утрачивая семантику 'суеверия' и развивая появившееся у них в начале XVIII в. значение 'вздора, врак'.

## ЛИТЕРАТУРА

- Аполлодор 1725 — Аполлодора грамматика афинского библиотеки или о богах. М., 1725.
- Болтин 1788 — *Болтин И. И.* Примечания на историю древняя и нынешняя России 1. Лексика. Т. I—II. СПб.: Типография Горного училища, 1788.
- Виноградов 1994 — *Виноградов В. В.* История слов: около 1 500 слов и выражений и более 5 000 слов, с ними связанных. М.: Толк, 1994.
- Гальковский, I—II — *Гальковский И. М.* Борьба христианства с остатками язычества в Древней Руси. Т. I. Харьков, 1916; Т. II. М., 1913. (Репринт: М.: Индрик, 2000).
- Гринченко, I—IV — *Гринченко Б. Д.* Словарь української мови. Т. I IV. Київ: Вид-во АН Української РСР, 1958—1959 [репринт].
- Грот, I—IV — Словарь русского языка, составленный Вторым отделением Императорской Академии Наук / Под ред. Я. К. Грота. СПб./Пг./Л., 1891—1930 (незавершенное изд.).
- Даль, I—IV — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. 2-е изд. Т. I—IV. СПб.: М., 1880—1882. (репринт: М.: Русский язык, 1978.)
- Димитрий Сеченов 1742 — Слово в день Благовещения пресвятыя Богородицы в придворной церкви Ея Имп. Величества... Елисаветы

- Первыя императрицы всея России проповеданное Архимандритом... Димитрием Сеченовым. В Москве 1742 года марта 25 дня. СПб., 1742.
- Духовный Регламент 1904 — Духовный Регламент Всепресветлейшего, державнейшего государя Петра Первого, императора и самодержца всероссийского. М., 1904.
- Живов 2004 — *Живов В. М.* Из церковной истории времен Петра Великого: Исследования и материалы. М.: Новое литературное обозрение, 2004.
- Живов 2009 — *Живов В. М.* Дисциплинарная революция и борьба с суевением в России XVIII века: провалы и их последствия // Антропология революции: Сб. статей по мат-лам XVI Банных чтений журнала «Новое литературное обозрение» (Москва, 27—29 марта 2008 года) / Под ред. И. Прохоровой, А. Дмигрисва, И. Кукулина, М. Майофис. М.: Новое литературное обозрение, 2009. С. 327—360.
- Кантемир. I—II — Русско-французский словарь Антиоха Кантемира. Т. I—II / Вступит. ст. и публ. Е. Бабасовой. М.: Азбуковник; Языки славянской культуры, 2004.
- Кантемир 1956 — *Кантемир А.* Собрание стихотворений. Л.: Советский писатель, 1956. [Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд.]
- Ломоносов. I—VIII — *Ломоносов М. В.* Сочинения. Т. I—VIII. СПб.; М.: Л., 1891—1948.
- Поэты XVIII в., I—II — Поэты XVIII в. / Сост. Г. П. Макогоненко, И. З. Сермана. Т. I—II. Л.: Советский писатель, 1972. (Библиотека поэта. Большая серия. 2-е изд.)
- ПСЗ, I—XLV — Полное собрание законов Российской империи [Собрание 1-е]. Т. I—45. СПб., 1830.
- САР<sup>2</sup>, I—VI — Словарь Академии Российской, по азбучному порядку расположенный. Ч. I—VI. СПб., 1806—1822.
- Сахаров 1841 — *Сахаров И. П.* Записки русских людей. События времен Петра Великого. СПб., 1841.
- Симеон Полоцкий 1683 — [*Симеон Полоцкий*]. Вечера душевная. М.: Верхняя типография, 1683.
- Смилянская 2004 — *Смилянская Е.* «Суевения» и народная религиозность в России Вeka Просвещения // *Canadian American Slavic Studies*. 2004. 38. № 1—2. С. 121—154.
- Смирнов 1912 — *Смирнов С. И.* Материалы для истории древне-русской покаянной дисциплины. (Тексты и Заметки) // Чтения в Имп. Обществе истории и древностей российских. 1912. Кн. 3. С. 1—568.
- Срезневский, I—III — *Срезневский И. И.* Материалы для словаря древне-русского языка по письменным памятникам. Т. I—III. СПб., 1893—1912.

- СРНГ, I—XXXVIII — Словарь русских народных говоров. Т. I—XXXVIII. JL/СПб.: Наука, 1965—2004— (продолжающееся издание).
- СлРЯ XI—XVII вв., I—27 — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. I—27. М.: Наука, 1975—2006— (продолжающееся издание).
- СРЯ XVIII в., I—XVI — Словарь русского языка XVIII века. Вып. I—XVI. СПб.: Наука, 1984—2008— (продолжающееся издание).
- СУМ, I—XI — Словник української мови. Т. I—XI. Київ: Наукова думка, 1970—1980.
- Сухомлинов, I—VIII — *Сухомлинов М. И.* История Российской Академии. Вып. I—VIII. СПб., 1874—1888.
- СЦРЯ, I—IV — Словарь церковно-славянского и русского языка, составленный Вторым Отделением Имп. Академии наук. Т. I—IV. СПб., 1847.
- УРС, I—VI — Украинско-русский словарь / Под ред. И. П. Кириченко. Т. I—VI. Киев: Изд-во АН Укр. ССР, 1953—1963.
- Фасмер, I—IV — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка / Пер. с нем. и доп. О. Н. Трубачева. Т. I—IV. М.: Прогресс, 1964—1973.
- Феофан Прокопович, I—IV — *Феофан Прокопович.* Слова и речи поучительные, похвальные и поздравительные. Ч. I—IV. СПб.: Сухопутный Шляхетный Кадетский Корпус, 1760—1774.
- Феофан Прокопович 1744 — [*Феофан Прокопович*]. Первое учение отроком. М.: Синодальная типография, 1744.
- Gorski 2003 — *Gorski Ph.* The Disciplinary Revolution: Calvinism and the Rise of the State in Early Modern Europe. Chicago: London: Univ. of Chicago Press, 2003.
- Harmening 1979 — *Harmening D.* Superstition: Überlieferungs- und theoriegeschichtliche Untersuchungen zur kirchlich-theologischen Aberglaubensliteratur des Mittelalters. Berlin: E. Schmidt Verlag, 1979.
- Karłowicz, I—VIII — Słownik języka polskiego / Pod red. J. Karłowicza, A. Kryńskiego, W. Niedzwiedzkiego. T. I—VIII. Warszawa, 1900—1919.
- Lampe 1961 — A Patristic Greek Lexicon / Ed. by G. W. H. Lampe. Oxford: Clarendon Press, 1961.
- Linde, I—VI — *Linde S. B.* Słownik języka polskiego. Wyd. trzecie fotooffsetowe. T. I—VI. [Warszawa] Państwowy Instytut Wydawniczy. [Warszawa] 1951.
- Peters 2002 — *Peters E.* The Medieval Church and State on Superstition, Magic and Witchcraft: From Augustine to the Sixteenth Century // *Jolly K., Raudvere C., Peters E.* Witchcraft and Magic in Europe: the Middle Ages /

- Ed. by B. Ankarloo, St. Clark. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2002. P. 173—272.
- Polikarpov 1988 — *Polikarpov F.* Leksikon trejazyčnyj. Dictionarium trilingue. Moskva 1704. Nachdruck und Einleitung von H. Keipert. München: Verlag Otto Sagner, 1988. (Specimina philologiae slavicae. Bd.79.)
- Rothe 1983 — Sinopsis. Kiev 1681. Facsimile mit einer Einleitung von H. Rothe. Köln; Wien: Böhlau Verlag, 1983. [Bausteine zur Geschichte der Literatur bei den Slaven. 17. Bd.]
- Sparwenfeld, I—IV — *Sparwenfeld J. G.* Lexicon Slavonicum / Ed. and commented by U. Birgegård. Vol. I—IV. Uppsala: Almqvist & Wiksell, 1987—1992. [Acta Bibliothecae R. Universitatis Upsaliensis. Vol. XXIV. P. 1—5.]
- Thomas Aquinas, I—I.X — *Thomas Aquinas.* Summa theologiae. Latin text and English translation, introductions, notes, appendices, and glossaries. [Cambridge]: Blackfrairs, 1964—1976.
- Urbanczyk, I—XI — *Słownik staropolski* / Red. St. Urbanczyk. Warszawa; Kraków: Polska Akademia Nauk, 1953—1998.

Е. П. Снегова

**ОТ ПОЗОРИЩА ДО ПЕРФОРМАНСА:  
НОМИНАЦИИ СО ЗНАЧЕНИЕМ  
«ПРЕДСТАВЛЕНИЕ РАЗВЛЕКАТЕЛЬНОГО ХАРАКТЕРА»  
В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XVII—XXI вв.**

Как известно, иноязычные слова ассимилируются принимающим языком, в случае если новые реалии приживаются в чужой культуре или новые названия для свойств, явлений и т. п. действительности, вступив в конкурентную борьбу с исконными словами языка-реципиента, одерживают полную или частичную победу, переводя исконное слово в ряд архаизмов либо развивая оттенок лексического значения.

В лексической системе русского языка мы можем наблюдать подобные передвижения внутри самых разных тематических групп и в частности на примере целого ряда номинаций с общим значением «представление развлекательного характера». Этот ряд на протяжении столетий — начало XXI в., XX—XVIII вв. и ранее — не оставался неизменным: отдельные его члены со временем приобрели иное значение, другие перешли в пассивный словарный запас, третьи появились в языке недавно.

Номинации-синонимы к слову *представление*, имевшиеся в русском языке в XVII—XX вв. (до 80-х гг. XX столетия), описаны в словарях русского языка. Для полноты картины все же сделаем ретроспективный обзор, чтобы затем перейти к лексическим новациям последней четверти XX века.

Лексикографические источники фиксируют и словарные картотеки (Картотека «Словаря русского языка XVIII века» — [КСХ VIII]) содержат следующие слова со значением «представление развлекательного характера»: *балаган, действо, зрелище, игра, игральница, игрище, комедия, позорище, потеха, представление, спектакль, театр*.

Номинация **балаган** содержится в словарях [САР-1; САР-2; СЦСРЯ; Брокгауз; Даль; СлРЯ XI—XVII] и [СРЯ XVIII] в другом

значении. В «Словаре...» Ушакова находим следующее определение: «2. Народное театральное зрелище с примитивной сценической техникой». Подобное толкование дают [ССРЛЯ 1948—1965; БАС 2004; Ожегов, Шведова 1994].

Слово **действие** включено в [СЦСРЯ; ССРЛЯ 1948—1965] в другом значении. Интересующее нас значение приводят следующие словари: [Ушаков]: «В начале русского театра (17 в.) — драматическая пьеса, спектакль»; [Ожегов 1981]: «В старину — драматическое представление»; [СРЯ XVIII], с поместой «сокращение употребления»: «Театральное представление. *Поехал я смотреть оперных действий*. Александр. 147»; [БТС]: «Устар. Театральное представление (первоначально на церковный сюжет)»; [БАС 2004]: «В старину — пьеса, театральное представление (обычно на церковный сюжет)».

П. Н. Берков в статье о терминологии русского театра отмечает:

...уже в первое десятилетие русского театра (середина XVII столетия. — Е. С.) слова «комедия» и «действие» изредка стали одинаково употребляться в значении «инсценировки» [Берков 1955: 284].

Лексическая единица **зрелище** входит в большинство словарей русского языка в значении «представление развлекательного характера». [САР-1]: «2. Лицедейственное представление»; [САР-2]: «2. Всякое театральное, лицедейственное представление»; [СЦСРЯ]: «2. Театральное представление»; [Ушаков]: «2. Инсценировка, представление, рассчитанное на многочисленных зрителей»; [ССРЛЯ 1948—1965]: «1. Представление, спектакль»; [Ожегов 1981]: «Театральное или театрализованное представление»; [Ожегов, Шведова 1994]: «Театральное или театрализованное, цирковое представление, спортивные выступления»; [СРЯ XVIII]: «1. Театральное представление, спектакль. *В некий день множеству людей после комедии идущу со зрелища*. Апофегм. 38; *Англичане весьма страстны к зрелищам, и я не знаю, может ли Франция показать столько Драматических сочинений, сколько Англия имеет*. Маркиз V 42»; [БТС]: «Театральное или театрализованное представление, спортивные выступления»; [БАС 2004]: «Театральное или театрализованное представление, рассчитанное на многих зрителей (спектакль, концерт, цирковые, спортивные выступления и т. п.)».

Номинация **игра** зафиксирована в рассматриваемом нами значении только в двух исторических словарях: [СлРЯ XI—XVII]: «6. Театральное представление. *А когда изволит царское величество быть им в комедии, и им давать от игры по 50 рублей*. Док. Моск. Театра,

3. 1672 г.»; [СРЯ XVIII]: «3. Театральное представление; публичное зрелище. *За всякую игру или комедию, что перед великим государем учнут творить, давать бы им [комедиантам] по 50 рублей.* Московский театр при царях Алексее и Петре. [Документы по истории театра за 1672—1709 гг.] — 1914 г.». Словари [СЦСРЯ; ССРЛЯ 1948—1965; Ожегов 1981; Ожегов, Шведова 1994; БТС; БАС 2004] приводят другое значение.

П. Н. Берков пишет:

Комедия и трагедия называются [в работе В. Н. Перетца об античном и европейском театре; ссылка на работу; см. там же] «позорищными играми» [Берков 1955: 291].

Подобным образом представлена лексема **игралище**: словари [САР-1; САР-2; СЦСРЯ; Ушаков; ССРЛЯ 1948—1965; БАС 2004] приводят другое значение; исторические словари регистрируют актуальное для нас значение: [СлРЯ XI—XVII]: «3. Театральное представление»; [СРЯ XVIII]: «2. Театральное представление; какое-л. зрелище. *От публичных позорищ, то есть комедий, опер, балов и всяких игралищ за деньги, брать четвертую часть дохода в Воспитательный дом.* Полное собрание законов Российской империи. СПб., 1830. XVI».

П. Н. Берков замечает:

...с названием «игрище» и «игралище» в применении к народному репертуару XVIII века мы встречаемся в «Описании столичного города Санкт-Петербурга» акад. И. Георги, изданном в 1794 году в переводе П. Безака... «Игралница, — пишет Георги, — уже с древних времен были увеселением российского народа... Общества молодых мужчин, слуги и другие представляют... всякие комические и трагические важные деяния, басни, сказки, чудеса, кощунства и пр. Каждое представление не продолжается более получаса... Простой народ имеет также... сборища, игрищами называемые, где представляют разные смешные игралница, при коих арлекин или дурак всегда бывает» [Берков 1955: 298].

Слово **игрище** отмечено в [САР-1; САР-2; СЦСРЯ; Ушаков; ССРЛЯ 1948—1965; Ожегов 1981; Ожегов, Шведова 1994; БАС 2004] в другом значении. Интересующее нас значение присутствует: у [Даля]: «Всякое представление, лицедейство в театре, в балагане»; в [СлРЯ XI—XVII]: «Театральное представление»; в [СРЯ XVIII], с пометой «сокращение употребления»: «Театральное представление. *В начале осени Венера определила представить в нашем доме походную комедию, или попро-*



*сту игрище*. Чулков М. Д. Пересмешник, или Славянские сказки. М., 1789».

В статье Д. П. Дробининой читаем:

Народные театральные представления, отделившись в начале XVIII в. от простого ряжения, по свидетельству П. Н. Беркова, унаследовали старое название *игрище*. В отличие от заимствованного термина *комедия*, бытовавшего как в дворянской среде, так и в простонародной, старое русское слово *игрище* обозначало только народные представления и имело распространение главным образом в сфере народной речи [Дробинина 1965: 132].

Номинация **комедия** в основном встречается в другом значении: [СЦСРЯ: Брокгауз; Даль: Ушаков; Ожегов 1981; Ожегов, Шведова 1994; ССРЛЯ 1948—1965; СРЯ XVIII; БТС; БАС 2004]. В [САР-1; САР-2] находим: «1. Представление нравов и обычаев человеческих, в действие приведенных». Но примеры не соответствуют определению: в них речь идет о тексте, о пьесе. [СлРЯ XI—XVII] приводит искомое значение: «1. Веселое драматическое представление, спектакль».

У П. Н. Беркова находим:

...первые сообщения о «комедии»... относились не к жанру «комедии», а к зрелищам вообще, к «потехам». Такое понимание термина продержалось очень долго, причем оно преимущественно относится к зрелищам, «потехам» верхов феодального польского и русского общества. Однако наряду с таким употреблением слова «комедия» складывалось и другое, отличавшееся от первого тем, что слово применялось только к собственно театральным представлениям, независимо от осуществляемого в данном спектакле жанра. Поэтому в театре при дворе Алексея Михайловича всякий спектакль назывался «комедией»:

Термин «комедия» имел в России довольно длительную историю, которая коротко может быть сформулирована как переход от общего родового наименования к частному, видовому, от широкого обозначения зрелищ вообще в специальному жанровому названию [Берков 1955: 282; 280].

Слово **позорище** следующими лексикографическими источниками толкуется как «представление развлекательного характера»: [САР-1; САР-2]: «Зрелище, общенародное представление»; [СЦСРЯ]: «Общенародное представление; зрелище»; [Лексикон Вейсмана]: «Живоличное повести, или басни изображенне»; [Брокгауз], из статьи «Зрелища»: «...от публичных позорищ, т. е. комедий, опер, балов и всяких игрлиц за деньги, брать  $\frac{1}{4}$  часть дохода в воспитательный

дом. Высочайше учрежденный 1 сентября 1763 г. генеральный план воспитательного дома»; [СлРЯ XI—XVII]: «2. (Театральное или праздничное) представление»; [КСХ VIII]: «*Очутившись при сем позорище еще до начатия, и не зная, что представлено будет, спрашивал я о том стоявших возле меня...*», 1765, автор не указан; [НКРЯ]: «*Положа сим праздником начало нашим театральным позорищам, мы все, как голодные за корм, принялись за комедии...*» И. М. Долгоруков, «Повесть о рождении мосм...» Ч. 4. 1791—1798; «*Одни театральные позорищи понравились Добросерду: он почитал театр истинною школою не только для молодых людей, но и для стариков, в которой нужные всем наставления преподаются, и для того не прогуливал ни одного представления*». Н. И. Новиков, «Пустомеля. Ежемесячное сочинение, 1770 год, месяц июнь». Словари [Даль; Ушаков; Ожегов 1981; Ожегов, Шведова 1994; ССРЛЯ 1948—1965; БТС] приводят другое значение.

Данная номинация, как правило, выступает в составе сочетания «*театральное позорище*». Первым же его значением [Ушаков] и [ССРЛЯ 1948—1965] дают зрелище, не относящееся к театру, к развлечениям, зрелище вообще.

Лексема *потеха* только в два словаря входит в искомом значении: [СЦСРЯ]: «2. Стар. Публичное увеселение, напр. охота, кулачный бой, театральное представление и проч.»; [ССРЛЯ 1948—1965]: «2. Устар. Публичное увеселение (охота, кулачный бой, театральное представление и т. п.)». Словари [САР-2; Брокгауз; Даль; Ушаков; СлРЯ XI—XVII; КСХ VIII; Ожегов 1981; Ожегов, Шведова 1994] приводят другое значение.

П. Н. Берков пишет:

...возможно, «потехи», которые развлекали двор в начале XVII века, представляли соединение акробатики с отдельными сценками комического содержания. Во всяком случае, в статейном списке кн. А. Н. Львова-Ярославского о посольстве в Польшу в 1635 году театральное представление на библейскую тему названо было «потехой». Через два года русские послы в Польше... видели, как они потом сообщали в своем донесении, «комедию», по-русски «потеху» [Берков 1955: 281—282].

Д. П. Дробинина [Дробинина 1965: 128] указывает на наличие синонимических отношений между словами *игра, игрище, потеха, комедия*.

Номинация **представление** входит в [СЦСРЯ; Брокгауз; Даль; СлРЯ XI—XVII] в другом значении. Требуемое значение фиксиру-

ют: [САР-2]: «1. Действие представляющего и представившего что. *Представление театральное*». (примеры не соответствуют определению); [Ушаков]: «4. Изображение какой-н. пьесы в формах сценического искусства, спектакль, сценическое зрелище»; [КСХ VIII]: «*Одни театральные позорищи понравились Добросерду: он почитал театр истинною школою не только для молодых людей, но и для стариков, в которой нужные всем наставления преподаются, и для того не прогуливает ни одного представления*». Н. И. Новиков, «Пустомеля. Ежемесячное сочинение. 1770 год. месяц июнь»; «*Составьте оркестр из нескольких скоморохов и назначьте день для представления. Великие поднять завесу и выйдите на сцену*». Страхов. Карм. кн. приезж. в Москву. 1791, ч. 2; [ССРЛЯ 1948—1965]: «3. Сценическое зрелище, спектакль»; [Ожегов 1981]: «3. Театральное зрелище, спектакль»; [Ожегов, Шведова 1994]: «3. Театральное или цирковое зрелище, спектакль»; [БТС]: «3. Спектакль, театрализованное или увеселительное зрелище».

Р. С. Кимягорова в статье о «Драмматическом словаре» 1787 г. пишет:

Слово *представление*... впервые отмечается в Лексиконе П. Беринды, 1627 г., т. е. оно появилось в русском языке ранее слова *спектакль* и употреблялось в нем на протяжении всего XVIII в. [Кимягорова 1980: 163].

В отношении слова *представление* для нас важно то, что оно начинает встречаться в источниках раньше слова *спектакль* (эти номинации с XVIII столетия и до сей поры считаются, с некоторыми оговорками, почти полными синонимами) или, по крайней мере, одновременно с ним. М. Фасмер предлагает считать временем появления слова *спектакль* в русском языке XVI век, без более точной датировки; И. Я. Черных называет вторую половину XVIII века. Такое значительное расхождение в установлении времени заимствования объясняется, по-видимому, разным пониманием соотношения «иноязычное слово / заимствованное слово»: словарь Фасмера [Фасмер] отмечает первую лексикографическую фиксацию, словарь Черных [Черных] исходит из массового употребления новации. Слово *представление* не уступает своих позиций, оставаясь в активном словарном запасе в значении «театральное зрелище». Исконно русская и заимствованная номинации сосуществуют, становясь постепенно взаимозаменяемыми, а не конкурируют, как это можно было бы ожидать.

Слово **спектакль** находим: [Даль]: «Зрелище, особ. театральное»; [Ушаков]: «Театральное представление. *На завтрашний спектакль имеете билет?* Грибоедов»; [Яновский]: «Зрелище, позорище. Употребляется же особливо, говоря о театральном или каком-нибудь публичном представлении»; [КСХ VIII]: «...*В оперном Ея Императорского Величества доме имеет быть французский спектакль*». Камер.-фур. журн., 1765. 7; «*Итальянская оперы была выписана и спектакли начались...*». Щербатов М. М. О повреждении нравов, 1788. — Русская старина, 1870, II. 43; также [ССРЛЯ 1948—1965; Ожегов 1981; Ожегов, Шведова 1994; БТС]: «Театральное представление».

Р. С. Кимягорова отмечает:

Слово *спектакль*... является заимствованием из французского языка и появляется лишь с 50-х годов XVIII в. Интересно, что впервые оно отмечено в художественном произведении, в пьесе Сумарокова «Мать совместница дочери»... На протяжении XVIII в. это слово употреблялось в разных формах: спектакель, спектакуль, спектакль, что свидетельствует о заимствовании из разных языков. Но к концу века осталась лишь одна форма... Первой лексикографической фиксацией слова *спектакль* является Словарь Нордштега, 1782 г.

Следует обратить внимание на отсутствие данного заимствования в [САР1] и [САР-2], тогда как некоторые другие словари (и не только иноязычных слов), например «Драматический словарь» 1787 г., включают его в свой словник. Такой очевидный пробел можно считать, как нам кажется, намеренным игнорированием, поскольку и [САР-1] и [САР-2] преследовали двоякую цель: с одной стороны, максимально полно представить словарный состав русского языка своего времени, с другой стороны, попытаться сократить количество инородной лексики, доступными лексикографу способами повлиять на ход развития лексической системы родного языка.

Лексическую единицу **театр** словари [САР-1; САР-2; Брокгауз; Даль; Ушаков; Ожегов 1981; Ожегов, Шведова 1994; ССРЛЯ 1948—1965; БТС] регистрируют в другом значении. В искомом значении находим в: [СЦСРЯ]: «Позорище»; [КСХ VIII]: «*Обедал Иван Григорыч и Строганов; перед обедом марионетова театру смотрел*». 1765 г., дневник частного лица: «*По зимам, в городском его доме, всегда бывали театры...*». Последняя треть XVIII в., источник?

У Д. П. Дробининой читаем:

Материалы Картотекки ДРС располагают одной иллюстрацией XVII в. к слову *театрум* в значении «зрелище», «представление»:

«Театрум — позор. (Алфавит. 446, 226 об., XVII в., КДРС)». Слово *театрум* (*театр*) в этом значении пополнило нестертый ряд синонимов, которыми располагала русская лексика XVII — начала XVIII вв.: игра, игрище, потеха, комедия... Слово театр почти утратило значение «зрелище», «представление», но на основе этого развило новое, обобщающее: «искусство, состоящее в изображении, представлении чего-либо в лицах, осуществляемое в виде публичного зрелища» [Дробинина 1965: 128].

Из перечисленных номинаций прошли испытание временем, прочно закрепились в языке слова *спектакль* и *представление*. Это и понятно. *Спектакль* — сугубо театральная постановка; *представление* же может быть как театральным, то есть выступать в роли полного эквивалента слова *спектакль* (часто в составе сочетания *театральное представление*), так и театрализованным, то есть нести более широкое значение, называя зрелище несколько иного характера, например в большом концертном комплексе, на открытом воздухе и т. п.

Р. С. Кимягарова отмечает:

В «Драмматическом словаре» пьеса, представленная на сцене, называлась *представлением* или *спектаклем*... Оба эти слова сосуществовали как синонимы, т. е. выступали в одном значении, были нейтральны и употреблялись во всех литературных жанрах и языковых стилях... аналогичное их употребление сохранилось в русском языке до настоящего времени [Кимягарова 1980: 163].

Последнее утверждение сейчас, в начале XXI века, можно поставить под сомнение (см. выше), но на момент написания статьи (1980 г.) у автора, вероятно, были основания считать слова *спектакль* и *представление* полными синонимами.

Период, который в России принято называть перестроечным, — 80-е гг. XX столетия — это время активизации внешних связей нашего государства. Результатом динамичных и глубоких контактов с другими культурами стал шквал иноязычной лексики, часть которого, — об этом уже можно говорить уверенно, — органично влилась в словарный состав русского языка, а часть остается на его периферии.

К паре «*спектакль* / *представление*» присоединилась новация 70-х гг. XX в. — *шоу*. Это пример удачной и быстрой адаптации иностранного слова: оно часто встречается в печатных изданиях, специализирующихся на самых разных тематиках и предназначенных всем социальным группам; оно преодолело границы узкопрофессионального и псевдомассового употребления, когда слово фигурирует лишь

в прессе и специальной литературе, и вошло в обывденную устную речь; его включили в свой лексикон все возрастные категории; оно имеет широкую лексическую сочетаемость и включено в процесс словопроизводства; наконец, от его основного значения развилось переносное. Итогом всего перечисленного стало включение слова *шоу*, а также некоторых его производных в толковые словари (т. е. не только в словари иностранных и новых слов) русского языка. По нашим данным, первая словарная фиксация — [НСЗ 60-х], затем — [СИС 1979]. В толковый словарь оно внесено в 1989 г. ([Ожегов 1989], 21-е изд., перераб.).

Остановимся подробнее на сочетаемости и дериватах этой номинации. *Шоу* входит более чем в десяток словосочетаний устойчивого неидиоматического характера, имеющих различную частоту употребления. Это *праздничное шоу, телевизионное, эстрадное, лазерное, ледовое, водное, танцевальное, цирковое, спортивное, огненное, пиротехническое, автомобильное, боксерское, авиационное, светомузыкальное, юмористическое, пародийное, музыкальное, зрелищное, кулинарное шоу, шоу каскадеров*. Во всех примерах *шоу* имеет значение «зрелище развлекательного характера».

В отношении деривационной активности лексемы можно сказать следующее: ряд производных обширен, но 1) он характеризуется морфологическим и структурным единообразием — данная номинация образует исключительно сложные существительные, и 2) большинство членов этого ряда являются полными англицизмами, т. е. сложное слово заимствуется целиком.

Производные, в которые *шоу* включено в качестве второго компонента, называют разновидности увеселительного мероприятия: *телешоу, ток-шоу, реалити-шоу, авиашоу, фа(й)ер-шоу, фэшн-шоу, автошоу, мотор-шоу, байк(ер)шоу, дог-шоу, стрип(тиз)-шоу, травести-шоу, фрик-шоу, бизнес-шоу, транс-шоу, поп-шоу, скетч-шоу, хоррор-шоу* и др.

Номинация с *шоу* — первым компонентом обозначает нечто, относящееся к зрелищам, связанное со зрелищами, их проведением. В таких сложных существительных *шоу* выступает в атрибутивной функции: *шоу-бизнес, шоупрограмма, шоу-проект, шоу-технологии, шоу-рум, шоу-элита, шоу-звезда, шоумен, шоу-продюсер, шоу-бизнесмен, шоу-вумен, шоу-герл* и др.

Среди перечисленных составных наименований имеются, как уже было отмечено, целиком заимствованные из английского языка (*ток-шоу, фэшн-шоу, шоумен*), по-видимому, образовавшиеся на русской

почве (*шоу-тусовка, телешоу*), и такие, о которых сложно сказать однозначно — полное ли перед нами заимствование либо сложение ранее заимствованных русским языком из английского слов (*бизнес-шоу, шоу-проект, шоу-карьера*).

В толковый словарь одновременно с *шоу* включается также его семантический дериват — «нечто показное, рассчитанное на внешний эффект» [Ожегов 1989], что свидетельствует об укоренении иноязычного слова в языке-реципиенте.

Таким образом, в 70-е гг. XX века словарный состав русского языка пополнился еще одним заимствованием (английского на этот раз происхождения, в отличие от галлицизма *спектакль*) с общим значением «зрелище развлекательного характера» (ср. толкование в [БТС]: «1. Зрелище, представление»).

Примерно в то же время (80-е гг. XX в.) в лексическую систему русского языка проникли еще три неологизма: *хе(з)ппенинг*, *перфо(р)манс* и *инстал(л)ляция*. Все они английского происхождения и называют разновидности массового развлекательного мероприятия (лексема *инсталляция* имеет по крайней мере три значения; мы здесь будем говорить только об одном из них). Если вопрос о «постоянной прописке» в русском литературном языке слова *шоу* решен однозначно положительно (см., напр. [Ожегов, Шведова 1994]), то статус трех вышеупомянутых номинаций вызывает некоторые сомнения. Рассмотрим каждую из них.

**Хе(з)ппе(и)нинг.** [СИС 2008] дает такое определение: «Театрализованное представление на импровизационной основе, действие которого разворачивается не только на сцене, но и на улице, с активным участием в нем зрителей: для хеппенинга характерны абстрактность, алогизм, парадоксальность действия, отсутствие в нем четкого плана и сюжета; получил распространение в авангардистском искусстве 60—70-х гг. XX в.». Впервые слово зафиксировано в [СИС 1994].

Театральный термин *happening* (от англ. *to happen* «случаться», «происходить») был предложен в 1958 году американским художником Алланом Капроу для обозначения новой формы, родившейся на стыке музыкального, изобразительного и театрального искусств. Одной из главных задач хеппенинга было уничтожение границ между зрителем и сценой, актерами, вовлечение пассивного зрителя в происходящее действие.

*Хеппенинг* в лексикографических источниках определяется как род театрального / театрализованного представления [НСЗ 60-х; СНС].

Любопытное толкование даст [БТС]: «Удачное, счастливое событие; радостный случай (в постановке, фильме и т. п.)». Выделение подобного значения, восходящего к одному из значений слова в языке-источнике (англ. *happening* — случай; событие), в толковом словаре не может быть случайным, не может базироваться на скудном фактическом материале. Но [БТС] остается единственным лексикографическим источником, где приводится такое толкование: оно не попадает даже в словари новых слов. Составители, таким образом, оградили процесс семантической адаптации свежего заимствования, а спустя десятилетия мы видим, что значение не прижилось.

Анализ материала, который удалось собрать нам, позволяет сделать вывод о скромном присутствии слова *хепенинг* на страницах печатных изданий, предназначенных широкому кругу читателей: от единичного факта до трех-четырех десятков фиксаций за год (с 1985 по 2009 г., материалы информационного интернет-агентства «Интерграм»). Этот факт свидетельствует о слабой освоенности слова *хепенинг* современным русским литературным языком, причиной чего, как нам кажется, является неприживание на русской почве формы развлекательного мероприятия в чистом виде.

Приведем несколько примеров.

Новое творение Саша Вальц — это полуторачасовой хэппенинг с песнями, ритуальными танцами и элементами театра абсурда (Эксперт, 1999, 19);

Другой его хэппенинг поставлен по стихам Маяковского (Профиль, 2000, 12);

Новейшие театральные технологии — уличные спектакли, хепенинги и флеш-мобы — способны из любой искры раздуть самое сильное пламя (Всё ясно, 2005, 39);

Кто не знает, что дети любят хэппенинги, рвутся вмешаться в действие, но почему-то в детских театрах их упорно не ставят (Экран и сцена, 2008, 37—38).

Нам удалось обнаружить два производных от *хепенинг* — сложные существительные *концерт-хепенинг* и *спектакль-хепенинг*. Слово выступает в составе таких устойчивых сочетаний, как *литературный, музыкальный, театральный, театрально-музыкальный хепенинг*. Русифицированный орфографический вариант *хЕппЕнинг* лидирует в цитатном материале с большим отрывом (ср. [БТС] — там наоборот).

**Перфо(р)манс.** [СИС 2008] приводит следующее толкование: «1. Жанр публично создаваемой театральной импровизации (возник-



ший в 70-е гг. XX в.) без определенного текста, включающий экспромты, участие публики и не претендующий на долговечность (см. также хеппенинг)».

*Перформанс* как вид театрализованного представления появился позднее хеппенинга, примерно десятилетие спустя, в 70-е годы прошлого века, в среде художников. Эта форма не предполагает соучастия зрителя, в представлении-перформансе творит сам актер (если можно применить это слово по отношению к данной синтетической форме), или перформансист. Таким образом, *перформанс* стоит ближе к привычному театральному представлению, спектаклю, нежели хеппенинг.

Первая лексикографическая фиксация — [СИС 2002].

Из имеющегося в нашем распоряжении цитатного материала (это сотни (ок. 500 ед.) употреблений за период с 1990 по 1999 г. и тысячи (ок. 9 тыс. ед.) за период с 2000 по 2009 г.) мы отобрали только те контексты, где под *перформансом* понимается действие с участием актера, а не художника (ср. определение *перформанса* в [СИС 2008]: «2. Направление в живописи, в котором воплощение некой идеи достигается выходом художника за пределы двухмерного живописного пространства и проявляется действиями, совершаемыми им (или группой художников) перед зрителями в дополнение к нарисованному или к используемым предметам»).

Количество примеров на интересующее нас значение невелико: оно сопоставимо с данными по *хеппенингу* (см. выше), но все же превосходит его.

На следующий день — мой большой вернисаж, на котором мой друг — гениальный и любимый клоун Слава Полушин... устроит перформанс в Эрмитажном театре вместе со своими «Лицедеями» (Московский комсомолец 23.09.95);

...представления коллектива из чисто цирковых постепенно превратились в перформансы — театрализованные действия, своими декорациями, светом и хореографией не уступающие постановкам какого-нибудь модного альтернативного театра (Культура, 1998, 5);

Кстати: «перформанс» есть совмещение боди-арта, театра, пластического искусства, музыки, работы с объектом и всего, что только взбредет в голову. Мастерская паратеатральных форм Юрия Соболева в «Интерстудии» — почти единственное место в стране, где перформанс изучают как самоценность (Вечерняя Москва 06.07.99);

Это не спектакль даже, а перформанс, соединивший в себе видео-инсталляции, дивной красоты музыку Дж. Б. Перголеси в исполнении живого струнного квартета, сопрано и контратенора и повествовательный текст (Культура, 2002, 50);

Так закончилась первая часть перформанса, жанр которого трудно определить — то ли драма, то ли фарс (Известия 22.12.2008);

В программе праздника — ... камерный перформанс по произведениям А. П. Чехова в постановке театральной студии «Фонарик» (Культура, 2009, 1—2).

Мы зафиксировали всего три производных от *перформанс*: *перформансист* (в большинстве случаев о художнике, но есть несколько употреблений, где имеется в виду актер), *спектакль-перформанс*, *концерт-перформанс*. Устойчивые сочетания, называющие различные виды *перформанса*, следующие: *акустический*, *литературный*, *музыкальный*, *музыкально-поэтический*, *поэтический*, *световой*, *театральный перформанс*. Орфографические варианты номинации показывают, что слово воспроизводится в русском языке либо в соответствии с принципом транслитерации (*performance* — *перформанс*), либо в соответствии с принципом транскрипции (*performance* — *перфоманс*). Вариант *перфоРманс* имеет значительный количественный перевес.

Мы бы также не стали говорить об общеупотребительном характере данной номинации (в интересующем нас значении).

**Инстал(л)ация.** Современные лингвистические словари определяют *инсталляцию* как разновидность изобразительного искусства: «...художественное произведение, представляющее собой объемно-пространственную композицию из разнообразных реальных предметов (промышленные изделия и материалы, природные объекты, разного рода бытовые предметы и т. п.), объединенных единым художественным замыслом» [СИС 2008]. В словарях появляется с конца 1990-х гг. [СИС 1998]. Просмотренный нами материал содержит также примеры на другое значение слова *инсталляция*, которое мы можем сформулировать пока лишь приблизительно: синтетическая, или даже эклектическая, форма, сочетающая элементы сценического действия и художественно-пространственной композиции.

Вот наиболее яркие контексты на данное значение.

Его ученики осваивают «паратеатральные формы»: за три года ими созданы десятки инсталляций и перформансов (МН-Бизнес, 1996, 50);

Экспериментатор Форсайт, которому давно тесно в балетном мире, на сей раз откровенно предупредил: «“Endless house” — не балет, а инсталляция» (Коммерсантъ 24.06.2000);

Тон задают перформансы и всевозможные театральные инсталляции, представления, в основе которых лежит не слово, а изображе-

нис. — а Бонди показал Москве театр, выстроенный на принципах Станиславского (Эксперт, 2001, 26);

Голландец Иво ван Хове покажет спектакль-инсталляцию «Римские трагедии», поставленный сразу по трем пьесам Шекспира (Новые Известия 05.06.08);

Во Вроцлав Танги привез спектакль-инсталляцию «Ричеркар» — сновидческое зрелище, где отрывки из классических текстов (среди авторов — Вийон и Данте, Пиранделло, Кафка и Мандельштам) звучат на одних правах с музыкальными фрагментами (среди композиторов — Лист, Верди, Стравинский и Бетховен) (Новые Известия 06.04.09).

Производные от *инсталляция* того же типа, что и от двух вышеприведенных номинаций — это сложные существительные *балет-инсталляция*, *концерт-инсталляция*, *спектакль-инсталляция*, *танец-инсталляция*, *театр-инсталляция*. Устойчивые сочетания, обозначающие подвиды художественной формы, таковы: *интерактивная*, *пластическая*, *сценическая*, *сценографическая*, *театральная*, *хореографическая инсталляция*. Имеется незначительное количество употреблений с одной л.

Слово употребляется в значении «представление развлекательного характера», но не активно.

Подведем промежуточный итог. Относительно недавно проникшие в русский язык англицизмы — *хеппинг*, *перформанс*, *инсталляция* — обозначают некие развлекательные мероприятия, для которых характерны: 1) немассовость и 2) смешение в одной форме по крайней мере двух видов искусства — театрального и изобразительного. Те, кто пробует себя в этих неклассических формах, определяют их как паратеатральные и интердисциплинарные. В текстах, где употреблены данные номинации, речь часто идет о современном искусстве, о театральных фестивалях, экспериментальных студиях, о приближении искусства к жизни. Некоторые из выбранных нами контекстов говорят о неразличении понятий:

...в изобразительном искусстве почти исчезли в чистом виде скульптура, рисунок, живопись, а вместо них возникли сложные, порой непонятные жанры — инсталляция, перформанс, видеоарт, по своим видовым признакам относящиеся скорее к театру, кино (Новые Известия 07.08.99);

Несколько лет назад они культивировали чепуху, заиклись на абсурде, поиск подлинности и искренности, проявляя себя в инсталляциях, перформансах, хеппингах (Аргументы и факты, 2002, 23);

Выставки в строительных вагончиках — в течение всего фестиваля, а на два уикенда особая программа: перформансы-хеппининги-инсталляции под открытым небом (Афиша, 2003, 15);

Программа нынешнего «Острова» была по традиции пестра и разнообразна: традиционный драматический спектакль соседствовал с перформансом-инсталляцией (Культура, 2004, 23);

Достав из них свой реквизит, художники Максим Исаев и Павел Семченко начинают разыгрывать представление, которое на языке современного искусства с равной степенью приближения можно называть инсталляцией или перформансом (Ведомости 10.12.04);

Произведения, рассчитанные на годы и века, уступают место предназначенным для одного дня хеппинингам, перформансам, флэптези и инсталляциям (Политический класс, 2005, 9).

Нам представляется, что у членов данной триады — как компонентов ряда номинаций с «театральным» и околотеатральным значением — общего, сближающего больше, нежели дифференцирующего. Наличие производных с одинаковой первой составляющей («концерт-», «спектакль-») и идентичная сочетаемость («музыкальный», «театральный», «литературный» для *хеппининга* и *перформанса*; только «театральный» для *инсталляции*) — языковые свидетельства семантической диффузности, отсутствия четких границ между понятиями в сознании обычных людей — носителей русского литературного языка, неспециалистов. Автор задавала вопрос о значении описываемых номинаций людям, в достаточной мере образованным, читающим, и получала в лучшем случае ответ: «Ну, это что-то типа спектакля...» Составные образования *спектакль-инсталляция*, *спектакль-перформанс*, *спектакль-хеппининг*, *концерт-инсталляция*, *концерт-перформанс*, *концерт-хеппининг* отражают потребность говорящих на русском языке в уточнении смысла новых понятий, во включении их в ряд привычных наименований с близким, но не тождественным значением. Мы наблюдаем встраивание иноязычных слов в принимающую лексическую систему путем прикрепления их к общеупотребительным номинациям той же тематической группы.

Таким образом, англицизмы *хеппининг*, *перформанс* и *инсталляция* пополнили словарный состав русского языка, примкнув к группе номинаций с общим значением «представление развлекательного характера» *представление / спектакль / шоу*, но являются на данный момент лишь частично освоенными узусом. Они заняли место в конце того ряда, который начинают номинации *балаган*, *действие*, *зрелище*, *игра*, *игранище*, *игрище*, *потеха*, продолжают *комедия*, *позорище*, *те-*

*атр*, в который со временем вошли *представление* и *спектакль*, а два столетия спустя — *шоу*. Процесс активного освоения длится уже не менее десяти (имеются примеры из прессы) и, вероятно, не более двадцати — двадцати пяти (предшествующее словарной фиксации бытование новых иноязычии в языке) лет. Станут ли они полноправными членами лексической системы русского языка, обогатят ли ее новой, ярко выраженной семантикой или продержатся в ней несколько десятилетий, характеризуясь слабодифференцированным значением, и затем исчезнут, покажет время.

### Источники

- БАС 2004 — Большой академический словарь русского языка. М.: СПб., 2004—.
- Брокгауз — Брокгауз Ф. А., Ефрон И. А. Новый энциклопедический словарь. СПб., 1893—1904.
- БТС — Большой толковый словарь русского языка / Под ред. С. А. Кузнецова. СПб., 1998.
- Даль — Даль В. И. Толковый словарь живого великорусского языка. Ч. 1—4 / Под ред. И. А. Бодуэна-де-Куртене. 4-е изд. СПб.; М., 1904—1912.
- Интегрум — электронный архив СМИ ([www.integrum.ru/](http://www.integrum.ru/)).
- КСХ VIII — Картотека Словаря русского языка XVIII века.
- Лексикон Вейсмана — Немецко-латинский и русский лексикон Э. Вейсмана. 1731.
- НКРЯ — Интернет-ресурс «Национальный корпус русского языка». ([www.ruscorgo.ru/](http://www.ruscorgo.ru/))
- НСЗ 60-х — Новые слова и значения (словарь-справочник по материалам прессы и литературы 60-х годов). М., 1971.
- Ожегов 1981 — Ожегов С. И. Словарь русского языка. 13-е изд. М., 1981.
- Ожегов 1989 — Ожегов С. И. Словарь русского языка. 21-е изд. М., 1989.
- Ожегов, Шведова 1994 — Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый словарь русского языка. 2-е изд., испр. и доп. М., 1994.
- САР-1 — Словарь Академии Российской. Ч. 1—6. СПб., 1789—1794.
- САР-2 — Словарь Академии Российской. Ч. 1—6. СПб., 1806—1822.
- СлРЯ XI—XVII — Словарь русского языка XI—XVII вв. М., 1975—.
- СРЯ XVIII — Словарь русского языка XVIII века. Л., 1984—.
- СИС 1979 — Словарь иностранных слов. 7-е изд. М., 1979.

- СИС 1994 — Современный словарь иностранных слов. М., 1994.
- СИС 1998 — Крысин Л. П. Толковый словарь иноязычных слов. М., 1998.
- СИС 2002 — Современный словарь иностранных слов. М., 2002.
- СИС 2008 — Захаренко Е. Н., Комарова Л. Н., Нечаева И. В. Новый словарь иностранных слов. М., 2008.
- СНС — Словарь новых слов русского языка (середина 50-х — середина 80-х годов). СПб., 1995.
- ССРЛЯ 1948—1965 — Словарь современного русского литературного языка. Т. 1—17. М.; Л., 1948—1965.
- СЦСРЯ — Словарь церковнославянского и русского языка. Ч. 1—4. СПб., 1847.
- Ушаков — Ушаков Д. Н. Толковый словарь русского языка. Т. 1—4. М., 1935—1939.
- Фасмер — Фасмер М. Этимологический словарь русского языка. Т. 1—4. М., 1964—1973.
- Черных — Черных П. Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. Т. 1—2. М., 1993.
- Яновский — Яновский Н. Новый словотолкователь. Ч. 1—3. СПб., 1803—1806.

## ЛИТЕРАТУРА

- Берков 1955 — Берков П. П. Из истории русской театральной терминологии XVII—XVIII веков // ТОДРЛ АН СССР. Т. 11. М.; Л., 1955.
- Дробинина 1965 — Дробинина Д. П. К вопросу о происхождении современной музыкальной и театральной терминологии // Учен. зап. Лен. гос. пед. ин-та. им. А. И. Герцена. Т. 257. 1965.
- Кимягарова 1980 — Кимягарова Р. С. «Драмматический словарь» 1787 г. — источник для изучения русского языка XVIII в. Театральная терминология // Вопросы русского языкознания. Вып. 3. Проблемы теории и истории русского языка. М., 1980.

## К ИСТОРИИ СЛОВА СУБЪЕКТ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ\*

*Памяти Александра Борисовича Пеньковского*

Как смешно актер Эраст Гарин в старом фильме «Свадьба» произносит эту чеховскую фразу: «Я не субъект какой-нибудь, у меня тоже в душе свой жанр есть!» Нам смешно еще и потому, что герой несколько, на современный слух, неуместно употребляет слово *субъект* (в смысле *субчик, подозрительная личность*). Ну, как если бы, доказывая, что он выгодный жених, сказал: *Я не хмырь какой-нибудь!*

А ведь у Чехова в этой фразе говорится совсем не про *субчика* или *хмыря*.

### 1

Картина употребления слова *субъект*<sup>1</sup> в современном русском языке выглядит следующим образом. Если отвлечься от тех сугубо специальных словоупотреблений, которые не только непонятны, но и вообще незнакомы большинству неспециалистов (как, скажем, употребление слова *субъект* в переводах Канга), можно выделить три круга контекстов, в которых встречается это слово. В первом, книжном, типе контекстов *субъект* выступает как некоторая функция, сторона определенного отношения (*субъект Федерации, субъект собственности*, сюда же относится и *субъект истории*). Второй тип употреблений, напротив, очень разговорный, предметный и выражает негативную оценку (*Из подворотни вышел подозрительный субъект*). Наконец,

---

\* Работа выполнена при поддержке РГНФ, грант (проект 08-04-00173а) и Программы фундаментальных исследований отделения историко-филологических наук РАН «Русская культура в мировой истории» (проект «Эволюция русской языковой картины мира в аспекте культуры речи»).

<sup>1</sup> Примеры словоупотреблений частично взяты из «Русского национального корпуса» (<http://www.ruscorpora.ru>).

имеется тип употреблений, также книжный, связанный с традицией классической логики и лингвистики, который понятен образованному носителю литературного языка (*субъект и предикат*).

В своем основном типе употреблений слово *субъект* используется чаще всего в сочетании с родительным падежом: ср.:

Я беру отдельный листок бумаги и начинаю чертить что-то вроде генеалогического древа: в крупных квадратиках я обозначаю номера версий, от них веду линии к другим квадратикам — помельше — *субъектам* преступления, то есть лицам, их совершившим, и прямоугольничкам — имеющимся у нас доказательствам (Ф. Незнаевский. Ярмарка в Сокольниках);

Общепризнано, что процессуальное право призвано обеспечивать надлежащую реализацию материально-правовых отношений, которые существуют между *субъектами* права («Арбитражный и гражданский процессы», 2003);

*Субъектами* отношений по формированию и инвестированию средств пенсионных накоплений являются Пенсионный фонд РФ, специализированный депозитарий, управляющие компании, застрахованные лица («Коммерсантъ-Власть», № 12, 2002.04.02);

Итак, внутренняя структура проекта на всех этапах полностью обусловлена устройством институтов и соответствующими формами отношений между *субъектами* собственности (С. Чернышев. Управление собственностью: русский стандарт);

Это связано как с возрастанием объемов людских потоков и, соответственно, с ростом числа обращений за визами, так и с увеличением числа самостоятельных *субъектов* хозяйственной деятельности, установлением прямых контактов на различных уровнях (ИТАР-ТАСС Экспресс, 1996, вып. 18);

Его биография до сих пор не написана. И мы опасаемся, что (...) В. В. (...) из объекта живого, безоглядного благоговения превратится в одного из многих *субъектов* истории (А. Дмитриев. Закрытая книга);

Сокровенный смысл христианского вероучения состоит в утверждении абсолютного суверенитета души; лишь она одна может быть *субъектом* воли, а значит, она одна может быть и *субъектом* ответственности (Е. Елизаров, Ресквин).

Таким образом, в современном русском языке нет *субъекта*, как такового, а есть *субъект* как роль в определенной ситуации, так сказать, 'тот, кто'. Даже в тех относительно редких случаях, когда в предложении отсутствует родительный падеж при слове *субъект*, все равно подразумевается конкретная ситуация, относительно которой и определяется ее *субъект*. Так, в известной формулировке «спор хозяйствующих субъектов», многократно использованной во время кон-



фликта вокруг ИТВ, сочетание *хозяйствующий субъект* равносильно сочетанию *субъект хозяйствования*. Ср.:

Если из семи эпизодов шесть совершены одним *субъектом*, то он может дать ряд признаков и даже довольно точную дату рождения (А. Маринина, Мужские игры);

Такой вид отношений, как мы отмечали выше, характеризуется прежде всего отношениями равноправных *субъектов* как партнеров по общению (Уппсальский корпус);

Пришлось обеледовать факторы, связанные с проявлением говорящего (пишущего) *субъекта* и коллектива в сообществе носителей языка, особенности адресата и адресата речи (Уппсальский корпус).

Здесь во всех случаях подразумевается то действие или та ситуация, о месте в которой идет речь (соответственно *субъект преступления, субъект общения, субъект речи*).

Ясно при этом, что *субъект* — это не просто участник ситуации, а ее активный участник. Это свойство особенно ярко проявляется в контекстах, очень типичных, где *субъекту* противопоставляется *объект*; ср. выше *превратиться из объекта поклонения в одного из субъектов истории*. Чрезвычайно показателен следующий пример:

ДИАЛОГ. «Для меня в диалоге *межсубъектного* нет: я в диалоге только быстро меняюсь из *субъекта* в *объект* и обратно. При этом я — *субъект*, когда слушаю и от этого преобразовываюсь, — а не когда говорю и влияю. Так же можно преобразовываться и в общении с камнем или уважаемым шкафом» (М. Гаспаров, Записи и выписки).

Именно при помощи идеи активности, передаваемой словом *субъект*, Гаспаров выражает парадоксальную мысль, что восприятие — это нечто более активное, чем самовыражение.

Естественно, что в рассмотренном значении слово *субъект* свободно употребляется в предикативном референциальном статусе (*Народ — субъект истории*) и в родовом (*Субъект собственности имеет право...*), а в конкретно-референтном статусе практически невозможно.

Обращает на себя внимание отсутствие параллелизма в паре *субъект-объект*. Существительное *объект*, помимо роли в ситуации (*объект исследования, объект действия*), может указывать и просто на некоторую сущность, предмет (*материальные объекты, Какие объекты находятся в контейнере?*). Для существительного *субъект* аналогичным было бы значение 'индивид' или подобное, которого у него в современном языке нет.

Правда, имеется более узкое значение, разговорное и оценочное. В своем предметном значении слово *субъект* выражает отрицательную оценку. Приведем только один пример:

— Что это такое, в конце концов: я бросил больных, еду сюда, а тут стоит... некий *субъект* и корчит из себя черт знает что! (...) — мне, пожалуйста, сообщите вашу фамилию. — Солодовников Георгий Николаевич. Морозов записал. — За *субъекта*... как вы выразились, придется ответить. — Отвечу. — Если всякие молокососы будут присезжать и обзывать... — За молокососа тоже придется ответить (В. Шукшин, *Шире шаг: Маэстро*)<sup>2</sup>.

В отличие от слова *личность*, которое тоже имеет подобное значение, но может в нем указывать как на мужчин, так и на женщин, слово *субъект* в предметном значении может использоваться только применительно к мужчинам. Можно сказать: *Там в кабинете сидит ужасно неприятная личность по фамилии Петров / Петрова*. При этом возможно *Там в кабинете сидит ужасно неприятный субъект по фамилии Петров*, но никак не *субъект по фамилии Петрова*.

Два значения слова *субъект* разошлись настолько, что практически никогда не возникает каких-либо смешанных, промежуточных и т. п. употреблений. Даже игровое совмещение этих значений — редкость. Впрочем, во время одного из политических кризисов, телекомментатор, желая выразить отрицательное отношение к позиции руководителя Калмыкии, сказал: «Вон он идет, субъект... Федерации».

Завершая обзор современного состояния слова *субъект*, отметим, что *субъект* существует и как логико-лингвистическое понятие, которым большинство культурных носителей языка владеет, так как оно фигурирует при изучении иностранных языков, а также различных гуманитарных дисциплин, а иногда встречается и в неспециальных текстах и даже может порождать метафоры; ср.:

Жизнь прослеживалась, как одна длинная фраза, полная придаточных предложений, лишняя определений и отступлений в скобках — приходилось возвращаться к началу, и смысл проступал, несмотря на

<sup>2</sup> От этого значения есть производное *субчик*; ср.: «— Как это на тебя не орать?! Алло! Ал-ло! — Председатель швырнул трубку на рычаг и, всем телом повернувшись к Григорию, сказал задыхаясь: — Видал? Нет, ты видал таких *субчиков*?!» (И. Гладышев, Антонов колодец); «Валентин наверняка уже взял след и бежит за этими *субчиками*» (Ф. Пезнанский, Операция «Фауст»); «— Видал, — кивнул головой отец, — заставили *субчика* на общество [общество] поработать, — довольно улыбнулся» (В. Солоухин, Не жди у моря погоды).

перепутанный где-нибудь падеж, окончание, меняющее местами объект и субъект действия (А. Кабаков. Сочинитель).

## II

Надо сказать, что формирование лексики личности России совпало с интенсивным формированием русского литературного языка в целом. В книге В. Д. Левина «Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в.» приведена обширная подборка высказываний, выражающих недовольство состоянием «языка размышления и умствования» (И. М. Муравьев-Апостол) [Левин 1964: 330—331]. В этой же книге обращается внимание на то, какое значение разработке и нормализации «метафизического языка» придавал Пушкин, считая, что русскому языку недостает «европейской общезнательности». «Положим, что русская поэзия достигла уже высокой степени образованности, — писал Пушкин<sup>1</sup>, — просвещение века требует пищи для размышления, умы не могут довольствоваться одними играми гармонии и воображения... Проза наша так еще мало обработана, что даже в простой переписке мы принуждены создавать обороты для изъяснения понятий самых обыкновенных»; см. [Там же: 331]. Подчеркнем, что речь идет не об отсутствующих научных терминах, а о словах «для изъяснения понятий самых обыкновенных». Нам сейчас даже трудно себе представить, что лишь в 20-е годы XIX в. возникает (в языке Любомудров) слово *проявление*, что до увлечения немецкой классической философией не было в русском языке слов *образование*, *мировоззрение*, *состоять*, *предполагать*, *призвание*, *исключительный*, *бессилие*, *очевидный* и т. д. См. об этом [Виноградов 1982: 366].

В такой обстановке решительного обновления «языка умствования» формируется лексикон личности, оттачиваются значения отдельных персоналистических терминов, складывается структура их многозначности. Вместе с классической немецкой философией в Россию пришло и слово *субъект* в его философских контекстах — причем в разных изводах; ср. пример:

...возвыситься во внутренность своей собственной сущности и истины, где нет ограниченной и эгоистической вражды, но безгранич-

<sup>1</sup> «О переводе г-на Лемонте...» (1825). Речь идет о переводе басни И. А. Крылова на французский [И. Л.].

нос, разумное и любовное взаимное признание, признание во всеобщей и нераздельно единой среде разумного самосознания, всеобщего субъекта.

«Борьба самосознаний, — говорит Розенкранц в своей “Психологии...”, — имеет своим истинным результатом всеобщее признание субъектов, различающихся друг от друга своими индивидуальностями. Каждый из них знает себя как самосознание, которому покорено самоощущение единичной жизни, и каждый знает другого, противоположного субъекта как самосознание, сущность которого тождественна с его собственною сущностью. Таким образом исчезает индивидуальное различие субъектов между собою и заменяется их разумным, себя знающим единством; объектом самосознания становится оно само; оно сознает себя в другом и другого в себе, и объективность становится тождественною с субъективностью».

«Тождество субъекта и объекта есть форма всякого духовного сознания» (М. А. Бакунин, О философии (1840))<sup>4</sup>.

История освоения термина *субъект* в философском языке излагается в работе Н. Плотникова [Плотников 2007]. Там, в частности, сказано: «Понятие субъекта в русской философской традиции отмечено при своем возникновении двойным недоразумением. Во-первых, непризнанием того радикального семантического разрыва с традицией, что был произведен кантовским понятием субъекта. Во-вторых, истолкованием немецкой идеалистической философии в смысле возвращения к прежней метафизике платоновского типа». См. также [Сорокин 1965: 437].

Однако параллельно и даже более активно это слово проникает в общелитературный русский язык через естественно-научные и в первую очередь медицинские контексты, в которых мы бы сейчас употребили слово *пациент*: ср.

«Вот любопытный субъект», — да к нему, — кричу, зову людей, насилиу пришли; уж я его и тем, и другим, — и теперь как ни в чем

---

<sup>4</sup> Ср. также характерный пример, где понятие субъекта связывается в первую очередь с самосознанием: «Творческая сила, дошедши постепенно до человека, великого своего проявления, разве уничтожила и горы, и снега, и поля, и животных, и все свои предыдущие степени развития; нет, (...) что все степени свои она не делала последними, крайними, переходя от них к другим, высшим, пока наконец достигла: но и тут жизненная сила не прекратила своего действия, но здесь она является уже как субъект и как субъект продолжает свое шествие. Сознательная деятельность человека выше бессознательной деятельности природы» (К. С. Аксаков, О некоторых современных собственно литературных вопросах).

не бывал, еще лет двадцать проживет (В. Ф. Одоевский, Косморама (1837));

Какое-то беспокойное чувство, похожее на угрызение совести, овладевало вновь поступавшими здоровыми *субъектами* (А. И. Герцен, Доктор Крупов (1846));

«Александр Матвееч, интересный *субъект*! — говорят они, запыхавшись: — сейчас привезли, чрезвычайно редкое осложнение» (Н. Г. Чернышевский, Что делать? (1863));

Эмилио сидел на том же самом диване, на котором его растирали; доктор прописал ему лекарство и рекомендовал «большую осторожность в испытании ощущений», так как *субъект* темперамента нервного и с склонностью к болезням сердца (И. С. Тургенев, Вешние воды (1872));

— Сильнейшее воспаление в легких; перипневмония в полном развитии, может быть, и мозг поражен, а *субъект* молодой (И. С. Тургенев, Накануне).

Чтобы буйный или бешеный *субъект* не мог нанести своими руками вред себе или другим, руки эти должны быть лишены свободы действий с возможным притом избеганием членовредительства (В. Г. Короленко, Яшка (1880));

— Очень интересный *субъект*! — обратил на него мое внимание доктор (В. М. Дорошевич, Сахалин (Каторга) (1903));

Превосходный портрет Решина — из последних годов его московской жизни — изображает уже человека обрюзгшего, с видом почти клинического *субъекта* и в том «развращенном» виде, в каком он сидел дома и даже по вечерам принимал гостей в Москве (П. Д. Боборыкин, Воспоминания (1906—1913)).

Как видно из последних примеров, этот тип словоупотребления сохранялся в русском языке достаточно долго. Вообще контексты употребления слова *субъект* в соответствии с современным *объект* — едва ли не самые типичные для второй половины XIX в. Ср.:

Да, это только приготовление к любви, опыт, а он — *субъект*, который подвернулся первый, немного сносный, для опыта, по случаю... (И. А. Гончаров, Обломов (1859));

Зачем же я тогда вам так попалобился? Ведь вы же около меня ухаживали? — Да просто как любопытный *субъект* для наблюдения (Ф. М. Достоевский, Преступление и наказание);

Драгоценный *субъект* для какого-либо из наблюдательных учреждений (В. И. Немирович-Данченко, Святые горы (1880));

— Я не про то говорю-с, а про те ощущения, которые следуют за браком и которые если не неприятны, то все-таки странны: из богача вы делаетесь бедняком, тысячи *субъектов* меняете на одного (А. Ф. Писемский, Взабаламученное море).

Распространением этого типа словоупотребления русский язык, видимо, обязан моде на естественно-научную атрибутику, столь хорошо известной нам по русской литературе, в частности по «Отцам и детям». Ср. интересный пример из другого романа Тургенева:

Нам во всем и всюду нужен барин; баринном этим бывает большею частью живой *субъект*, иногда какое-нибудь так называемое направление над нами власть возымеет... теперь, например, мы все к естественным наукам в кабалу записались... (Н. С. Тургенев. Дым)

Это еще один тип употребления слова *субъект*, восходящий скорее к философским контекстам и также широко представленный в языке второй половины XIX в., — *субъект* в значении 'индивид'. Ср. замечательный пример:

Ко всем другим *субъектам* человеческого рода эти же самые истязатели относятся даже благосклонно и кротко (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы).

При этом существенно, что *субъект* в этом значении вовсе не сразу приобрел негативные коннотации. Вероятно, во многих случаях мы «вчитываем» их в тексты под влиянием современного словоупотребления<sup>5</sup>. Ср. следующие примеры, где это слово явно не несет негативного смысла:

...благородному и благодушному *субъекту*... (Н. С. Лесков. На пожах);

По погребении Катерины Астафьевны, он, не зная как с собой справиться, {...} бродя там и сям, очутился ночью на кладбище, влскомый, разумеется, существующею силой самой любви к несуществующему уже *субъекту* (Н. С. Лесков. На пожах);

«Что за существо эта девушка, как она будет любить?» — спрашивал он сам себя с раздражением. Но девушка, как нарочно, ни од-

---

<sup>5</sup> Ср.: «Можно, пожалуй, даже пожертвовать двумя-тремя *субъектами*, чтоб лучше и явственнее оттенить картину» (М. Е. Салтыков-Щедрин. Приезд ре-визора (1857)); «Странные порывы внезапных чувств и внезапных мыслей у этих *субъектов*» (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы); «И вот подобный-то *субъект* становится действительно виновным и преступным от страха и от запугивания» (Ф. М. Достоевский. Братья Карамазовы); «А между тем ведь это так-с, с иным *субъектом* особенно, потому люди многообразны, и над всем одна практика-с» (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание); «Ах, жаль, что времени мало, потому вы сами прелюбопытный *субъект*! А, кстати, вы любите Шиллера? Я ужасно люблю» (Ф. М. Достоевский. Преступление и наказание).

ним словом, ни одним взглядом не обнаруживала себя. Бакланов решился расспросить о ней Казимиру. (...) — Скажите, что за *субъект* mademoiselle Eupraxie? — сказал он. — О, чудная девушка! — отвечала та (А. Ф. Писемский, *Взбаламученное море*).

Последний пример показателен и в том смысле, что слово *субъект* первоначально указывало не только на мужчин, но и на женщин; ср. также:

*Субъект* этот находится у меня в услужении в должности кухарки, а потому я изучал его довольно внимательно в главных психических и многих физиологических отправлениях (А. И. Герцен. Доктор Крупов (1846));

— Какой вздор! сестра, кажется, такой *субъект*, что она может положить ему на тарелку печеньку, а тебе сердце (Н. С. Лесков. На ножах)<sup>6</sup>.

Итак, мы видим, что, попав в русский литературный язык, слово *субъект* поначалу, причем довольно долго, употреблялось совершенно иначе, чем сейчас. Настолько, что некоторые контексты с этим словом нам даже трудно понять; ср.:

Крестьянин, взятый сперва как самый натуральный *субъект*, невольно представился им, хотя далеко еще не вполне, с другой, высшей своей стороны (К. С. Аксаков. Обзорение современной литературы (1857)).

Особенно удивительно на современный взгляд употребление слова *субъект* в значении 'объект' — то есть почти противоположном современному. Соответствующие контексты вызывают у наших современников просто недоумение. Между тем возникновение такого значения вполне объяснимо. Дело в том, что мы слишком привыкли к противопоставлению *субъект* vs. *объект*, а есть столь же естественное противопоставление *субъект* vs. *предикат*.

Анна А. Зализняк отмечает:

---

<sup>6</sup> Материал показывает также, что уже тогда для слова *субъект* был характерен разноречивый в отношении категории одушевленности; ср.: «Добросовестно изучая *субъекты* в обоих заведениях, я был поражен сходством чиновников канцелярии с больными» (А. И. Герцен. Доктор Крупов (1846)); «Мне очень жаль, что я скоро расстался с Матрешой и не мог доучить этот интересный *субъект*» (А. И. Герцен. Доктор Крупов (1846)); «Однако мой вам совет — этого *субъекта* не выпускать и аресту подвергнуть» (А. В. Сухово-Кобылин. Смерть Тарелкина (1869)).

В основе латинского обозначения *subjectum* (являющегося калькой с греческого υποκειμενον)<sup>1</sup> лежит метафора подчиненного положения субъекта по отношению к предикату: внутренняя форма слова *subjectum* указывает на то, что обозначаемая им сущность подвергается действию, производимому предикатом (т. е. действию предикцирования, приписывания признака). Однако эта метафора (и, соответственно, внутренняя форма) оказывается не актуальна во всех прочих значениях слова *субъект*. Она отсутствует также в термине *подлежащее* — несмотря на калькированную морфологическую структуру этого слова, отсылающую к идее подчиненности и, более того, на наличие в русском языке причастия *подлежащий*, значение которого соответствует его внутренней форме (ср. *подлежащий уничтожению; сведения, не подлежащие разглашению* и т. п.). В оппозиции «субъект — объект» в силу вступают совершенно иные свойства субъекта: его преимущество с точки зрения одушевленности, активности, способности воздействия на объект и т. д. *Субъект* в этом смысле означает «главный»; так, подлежащее, т. е. грамматический субъект — это один из двух главных членов предложения (наряду со сказуемым) — в противоположность другим именным членам, второстепенным. Аналогичным образом, семантический субъект — это главный участник ситуации. Наоборот, в оппозиции «субъект — предикат» перечисленные свойства субъекта, которые противопоставляют его объекту, несущественны — не случайно одним из синонимов термина (*логический*) субъект является *предмет* (соответствующее латинскому *objectum*) [Зализняк Анна 2006: 51—52].

В логико-грамматической традиции *субъект* понимается как то, о чем речь, как то, чему приписываются — *предикцируются* — определенные свойства. Роль его в суждении, таким образом, в определенном смысле пассивная. В русских переводах грамматической терминологии это представление проявляется очень выпукло: *подлежащее* — то, что подлечит (в отличие от *сказуемого*, то есть говоримого). Слово *подлежать*, даже в большей степени, чем исходное латинское *подбросить*, указывает на страдательную роль и провоцирует соответствующую метафору *субъекта* как подлежащего не только обсуждению, но и исследованию — а затем и просто воздействию.

<sup>1</sup> Букв. «лежащее под»; как известно, в латинском переводе этого слова из-за отсутствия употребительной формы причастия от глагола *iaceo* 'лежать' было использовано причастие от глагола *icio* 'бросать', в результате чего внутренняя форма этого слова была пересмыслена как «брошенное под», «подверженное», ср. польскую кальку *podmiot*, а также соответствующее лат. *objectum* слово *przedmiot*, заимствованное русским в форме *предмет*, см. [Виноградов 1994: 536]). (Прим. А. З.)



Двойственная интерпретация *субъекта* заложена в этом понятии изначально и обусловлена самой природой высказывания. Оно, с одной стороны, несет в себе суждение о мире и в собственно логическом аспекте делится на предмет суждения, тему, нечто данное, исходное, пассивное — и собственно сообщаемое, новое. В этом смысле *субъект* *подлежит*, то есть страдате́лен. С другой же стороны, высказывание имеет референциальный аспект и является элементом ситуации, имеющей место во внеязыковой реальности. Актанты соответствуют участникам ситуации, и в этом смысле *субъект* — самый привилегированный, активный участник ситуации, деятель, в отличие от *объектов* — прямых и косвенных. Разумеется, я не излагаю здесь какую-то определенную лингвистическую концепцию предложения, а представляю дело очень обобщенно, чтобы показать источник двух почти противоположных направлений семантического развития слова *субъект*.

Практически с самого начала бытования слова *субъект* на русской почве у него прослеживаются два конкурирующих значения: *субъект* как *объект* и *субъект* как противоположность *объекта*. Так, у А. Д. Михельсона [Михельсон 1866] читаем: «Субъект — лат. *subjectum*, от *subjicere*, подвергать. Предмет, подлежащий действию другого». А практически одновременно с этим в «Настольном словаре для справок по всем отраслям знаний» Ф. Толя [Толь 1863—1864] *субъект* определяется как «лицо действующее, говорящее» и отмечается, что он «противопоставляется объекту».

В XX в. *субъект-объект* был уже полностью вытеснен *субъектом* — противоположностью *объекта*. На это повлияли, вероятно, разные обстоятельства. В XX веке посетители литературного языка уже, видимо, не столь массово владели логической терминологией и, соответственно, пара *субъект* — *предикат* не была столь напрашивающейся. Не всем стала очевидной внутренняя форма латинского слова *subjectum* и связь слова *субъект* с русским *подлежащее*. В то же время пара *субъект* — *объект* легко воспринимается в силу того, что для любого человека ясно, что там явно один корень, но разные приставки. При этом, хотя на основе смысла соответствующих латинских приставок эти два слова не составляют очевидной контрастной пары, в силу внешнего вида они легко вступают в отношения контраста.

Главная же причина такого результата конкурентной борьбы, видимо, состоит в том, что существительное *субъект* «подрывнялось» под прилагательное *субъективный*, а укрепление контрастной пары *субъект* — *объект* обусловлено активным функционированием контрастной пары *субъективный* — *объективный*.

## III

В современном языке слово *субъективный* и его производные подразумевает *субъекта* не просто как индивида, а как субъекта восприятия, намерений, воли, оценки.

Это не видно по словарным толкованиям, таким, например, как: «Присущий только к данному субъекту, лицу; личный, индивидуальный. *С-ое ощущение. Мемуары всегда субъективны*» (БТС). Если *субъективный* — это ‘присущий данному субъекту’, то почему нельзя сказать: \**субъективная манера одеваться, \*субъективный характер, \*субъективный образ жизни, \*субъективные интонации?* В действительности *субъективность* здесь связана с особенностями восприятия, оценки, отношения, то есть *субъект* рассматривается не как индивид, а как носитель точки зрения, с которой рассматриваются события. Поэтому говорят: *субъективные ощущения, субъективное мировосприятие, субъективное видение, субъективная оценка, субъективная интерпретация, субъективная правда* (то есть то, как человек вправду воспринимает действительность). Ср. следующий пример:

Как показала проверка, проведенная различными лечебными учреждениями, при наложении магнитных браслетов *субъективно* самочувствие больного улучшается (скорее всего срабатывает психотерапевтический эффект), тогда как объективные показатели практически не меняются, скажем, кровяное давление остается на том же уровне (Упсальский корпус).

Никто не будет отрицать, что кровяное давление присуще субъекту, однако это *объективный* показатель. *Субъективно* же именно *самочувствие* — то есть то, как сам человек ощущает свое состояние.

Аналогичная ситуация со значением, которое толкуется как ‘относящийся к субъекту, человеку, личности, связанный с ним, его действиями’. *С. фактор в истории. С-ые причины успеха. С-ая сторона исследования. Истина в субъективном преломлении.* (БТС). Действительно, говорят *субъективные причины, субъективные предпосылки, субъективный фактор*, однако не говорят \**субъективные результаты* и \**субъективные последствия*. На самом деле *субъективный* здесь — это не просто связанный с субъектом, а зависящий от субъекта. *Субъект*, таким образом, выступает как активная сторона.

Мы заметили, таким образом, что *субъективный* в современном языке не означает ‘относящийся к личности, индивиду, прису-

щий индивиду'. Так, однако, было не всегда. Если посмотреть, как использовалось прилагательное *субъективный* и его производные на протяжении своего бытования в русском языке, можно заметить, что на первом этапе истории этого русского слова царилла странная неразбериха и оно употреблялось очень по-разному, а затем постепенно выкристаллизовались те типы употребления, которые существуют теперь. Ср. следующий пример:

Порицать за это чувство нельзя и взрослого человека, если только он остается в пределах чувства и не принимается резонировать. Обнаруживать посягательство на мою *субъективную* жизнь никто не имеет права. Кто может упрекнуть меня за то, что во мне пробуждаются светлые воспоминания детства при виде стола, покрытого ярославской набивной скатертью, на котором стоит шипящий самовар. — или при звуках сентиментальной песни «Выйду ль я на реченьку», с аккомпанементом гитары? (Н. А. Добролюбов<sup>4</sup>, Русская цивилизация, (1858)).

Здесь речь идет о внутренней жизни человека, его личных ощущениях, и используется прилагательное *субъективный*. Для современного языка сочетание *субъективная жизнь* вообще невозможно.

Знаю только, что и сам я Карамзов... Я монах, монах? Монах я, Lise? Вы как-то сказали сию минуту, что я монах? — Да, сказала. — А я в Бога-то вот, может быть, и не верую. — Вы не веруете, что с вами? — тихо и осторожно проговорила Lise. Но Алеша не ответил на это. Было тут в этих слишком внезапных словах его нечто слишком таинственное и слишком *субъективное*, может быть, и ему самому неясное, но уже несомненно его мучившее (Ф. М. Достоевский, Братья Карамзовы).

Что здесь имеется в виду? Конечно, не то, что слова Алеша были пристрастны. *Слишком субъективное* — значит здесь слишком глубоко личное.

Была в русском языке попытка трактовать *субъективность* также и как индивидуализм и даже эгоизм; ср.:

---

<sup>4</sup> У этого автора такое словоупотребление не единично; ср: «Так, лишение зрения необходимо заставляет человека отказаться от некоторых общественных занятий и, кроме того, отнимает у него возможность приобретать новые впечатления посредством глаз. Весьма естественно, что, находясь в таком положении, человек более обращается к своему *субъективному* миру и занимается переработкою тех впечатлений, которые были уже получены им прежде» (Н. А. Добролюбов, Органическое развитие человека).

Байрон писал о Европе для Европы: этот *субъективный* дух, столь могущий и глубокий, эта личность, столь колоссальная, гордая и непреклонная, стремилась не столько к изображению современного человечества, сколько к суду (В. Г. Белинский, Статья восьмая. «Евгений Онегин» (1844));

В противоположность нам, *субъективны*м, любящим одно личное, для природы гибель частного — исполнение той же необходимости, той же игры жизни, как возникновение его; она не жалеет об нем потому, что из ее широких объятий ничего не может утратиться, как ни изменяйся (А. И. Герцен, С того берега (1858)).

Здесь нельзя не восхититься действующими в языке механизмами, в результате работы которых с тех пор в русском языке сформировались четкие семантические противопоставления между словами *субъективность*, *индивидуализм* и *эгоизм*.

В отличие от слова *субъект*, во внедрении которого в русский язык главная заслуга принадлежит, скорее всего, как мы старались показать выше, не Белинскому, распространением слов *субъективный* и *субъективность* русский язык, скорее всего, обязан, в первую очередь, именно Белинскому<sup>9</sup>. Причем он сам пробовал использовать понравившееся слово в нескольких разных значениях. Например, под *субъективностью* он мог понимать не только *индивидуализм*, но и то, что мы бы теперь назвали *тенденциозностью*, *эмоциональностью*, *лиризмом*. Ср.:

Но нигде *субъективность* автора не проявилась так резко, так странно и так во вред комедии, как в очерке характера Молчалина, который он заставляет делать самого же Молчалина (В. Г. Белинский. «Горе от ума». Комедия в 4-х действиях, в стихах. Сочинение А. С. Грибоедова (1839));

Разумный опыт жизни и благотворная сила лет уравнивали бы волнования кипучей натуры. (...) — и тогда поэт явился бы художником и завещал потомству не лирические порывы своей *субъективности*, а стройные создания (Там же).

---

<sup>9</sup> «Хорошо также, например, обвинение против “Отечественных записок” за употребление непонятных слов, именно: *бесконечное*, *конечное*, *абсолютное*, *субъективное*, *объективное*, *индивидуум*, *индивидуальное*. Право, мы не шутим! Иной, пожалуй, скажет, что эти слова употреблялись еще в “Вестнике Европы”, в “Мнемозине”, в “Московском вестнике”, в “Атенсе”, в “Телеграфе” и пр., были всем понятны назад тому двадцать лет и не возбуждали ничего ни удивления, ни негодования...» (В. Г. Белинский, Русская литература в 1840 г.).

Итак, мы постарались показать, что, попав в русский язык, прилагательное *субъективный* достаточно быстро сформировало совокупность своих значений, которые, в свою очередь, повлияли и на изменение семантического наполнения слова *субъект* в литературном русском языке. Вообще слово *субъект* может служить примером иллюзорности нашего представления о том, что мы хорошо понимаем язык XIX века. Развенчанию этой иллюзии посвящены, в частности, многие работы А. Б. Пеньковского.

Теперь вернемся к той цитате, с которой начали. У Чехова фраза *Я не субъект какой-нибудь* — не про пустое тителство, а про самозащиту маленького человека. Классический мотив русской классической литературы: да, я маленький человек, но не предмет, не объект, не вещь, не страдательное лицо — у меня есть душа. Немножко выбивается она, правда, из общего рисунка характера самовлюбленного жениха из «Свадьбы». Так ведь она и не из «Свадьбы», а совсем из другого произведения, просто ее в фильме использовали. А у Чехова есть смешной и грустный рассказ «Депутат, или Повесть о том, как у Дездемонова 25 рублей пропало». Там чиновники, не в силах терпеть издевательства начальника, посылают к нему депутата с претензиями, но тот, увидев начальника, мгновенно теряет всю свою воинственность и даже отдает ему на дурацкую лотерею 25 рублей, выданные тещей на оплату квартиры. Именно в этом контексте и звучит формулировка *Я не субъект*:

— Пора же наконец дать ему понять, что мы такие же люди, как и он! — сказал Дездемонов. — Мы, повторяю, не холоуи, не плебеи! Мы не гладиаторы! Издеваться над собой мы не позволим! Он тыкает на нас, не отвечает на поклоны, морду воротит, когда доклад делаешь, бражится... Нишче и на лакеев тыкать нельзя, а не то что на благородных людей! Так и сказать ему!

{...}

— Иду я с женой однажды, — перебил Зрачков, — встречается он... «А ты, говорит, губастый, вечно с девками шляешься! Среди бела дня даже!» Это, говорю, моя жена, ваше -ство... И не извинился, а только губами чмокнул! Жена от этого самого оскорбления три дня ревмя редела. Она не девка, а напротив... сами знаете...

— {...} Лучше без должности жить, чем реное свое в ничтожестве иметь! Теперь XIX столетие. У всякого свое самолюбие есть! Я хоть и маленький человек, а все-таки я не субъект какой-нибудь, и у меня в душе свой жанр есть! Не позволю!

## ЛИТЕРАТУРА

- Виноградов 1982 — *Виноградов В. В.* Очерки по истории русского литературного языка XVII—XIX веков. М., 1982.
- Виноградов 1994 — *Виноградов В. В.* История слов. М., 1994.
- Зализняк Анна 2006 — *Зализняк Анна А.* Многозначность в языке и способы ее представления. М., 2006.
- Левин 1964 — *Левин В. Д.* Очерк стилистики русского литературного языка конца XVIII — начала XIX в. М., 1964.
- Михельсон 1866 — *Михельсон А. Д.* 30 000 иностранных слов, вошедших в русский язык, с объяснением их корней. М., 1866.
- Толь 1863—1864 — *Толь Ф.* Настольный словарь для справок по всем отраслям знаний: В 3 т. СПб., 1863—1864. (На первом томе: Справочный энциклопедический лексикон.)
- Плогников 2007 — *Плогников Н. С.* С. Н. Трубецкой и понятие «субъекта» в истории русской мысли // Вопросы философии. 2007. № 10.
- Сорокин 1965 — *Сорокин Ю. С.* Развитие словарного состава русского литературного языка в 30—90- годы XIX века. М.; Л., 1965.

В. Н. Калиновская

**ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНЫЙ СЛОВНИК  
«СЛОВАРЯ РУССКОГО ЯЗЫКА XIX ВЕКА»  
КАК МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИСТОРИИ СЛОВ И ПОНЯТИЙ**

За историей слов, их значений, особенностями их функционирования стоит история развития материальной культуры, формирования интеллектуальных и духовных ценностей того или иного общества, человечества в целом. Ни один уровень языка не обусловлен в такой мере экстралингвистическими факторами, как лексика.

Определяя задачи построения исторической лексикологии и истории литературного языка, ведущие отечественные лингвисты прошлого века (В. В. Виноградов, Б. А. Ларин, Ю. С. Сорокин) сходились во мнении первоочередности изучения лексического состава русского языка, так как понимали решающую роль лексики в формировании и развитии литературного языка как феномена культуры. Большое значение данные ученые придавали исследованиям по истории конкретных слов (примером тому грандиозный по объему материала, профессиональной скрупулезности и точности его анализа труд «История слов» академика В. В. Виноградова), понимая при этом, что в отдельные исторические эпохи, характеризующиеся значительными, подчас революционными, изменениями в жизни языкового коллектива, в движение приходят целые пласты лексики [Ларин 1977: 43—45]. В конце 60-х гг. XX века анализ подобных процессов, дающих представление о смене социокультурных парадигм, виделся в перспективе, поскольку работа по подготовке к составлению исторических словарей («Словаря русского языка XI—XVII вв.» и «Словаря русского языка XVIII века») только начиналась.

Идея же создания исторического словаря принципиально иного типа — дифференциального по характеру формирования словника, была выдвинута, как известно, одним из участников словарной дискуссии 50—60-х гг. Ю. С. Сорокиным, и концептуально разработа-

на им при участии Л. Л. Кутиной в середине 80-х гг. (подробнее о концепции и ее предыстории см. [Проект 2002; Калиновская 2005]). Необходимость продвижения нового лексикографического проекта определялась, как считали ученые, настоятельными потребностями времени. Безусловно, к новому начинанию их подвигал и огромный опыт словарной работы в «Словаре русского языка XVIII века», и опыт создания фундаментальных описаний конкретных функциональных пластов лексики в составе литературного языка раннего Нового времени [Кутина 1964] и, собственно, Нового времени [Сорокин 1965], и предчувствие грядущих социальных и культурных перемен, удаляющих от нас, как теперь становится все более очевидно, эпоху языка «от Пушкина до наших дней». Все эти факторы позволяли историкам языка оценить масштабность и возможности реализации поставленной задачи. Наместившийся в последние десятилетия XX века поворот в характере и содержании гуманитарных исследований, не только лингвистических, также свидетельствует о своевременности идеи исторического «Словаря русского языка XIX века».

Создание словаря любого значительного по своим задачам словаря предполагает достаточно длительный процесс собирания картотеки: отбор источников, работу выборщиков по разметке текстов и оформлению цитатного материала для будущих словарных статей, создание справочного научного аппарата картотеки и словаря и т. д. Дифференциальный словарь «Словаря русского языка XIX века» в своем основании имел уже сложившуюся лексикографическую базу, которая продолжает существенно пополняться. Для формирования словаря используются «Словарь русского языка XVIII века» и картотека данного словаря. Большая картотека словарного отдела (БКСО ИЛИ РАН), новый языковой материал, целенаправленно отбираемый для указанного Словаря (существует в виде традиционной картотеки, ее компьютерного аналога-«продолжения», полнотекстовых баз, обрабатываемых с помощью различных поисковых программ), данные Национального корпуса русского языка ([www.ruscorpora.ru](http://www.ruscorpora.ru)).

Какую пользу для исследователя может принести вновь создаваемая эмпирическая база? В данной статье мы попытаемся представить лишь отдельные предварительные результаты, полученные в процессе подготовки дифференциального словаря для «Словаря русского языка XIX века» и охарактеризовать некоторые возможности его использования при разработке такой темы, как «история слов и понятий», отчасти прокомментировать языковой материал (см. также [Калиновская 2008; 2010]). Дифференциальным образом отобранный материал



позволяет нам выбрать из всей совокупности языковых фактов конкретного исторического периода те, которые организуют концептуальное пространство языкового сознания. Работа над подобным проектом погружает составителя-лексикографа в круг вопросов, связанных с проблемой взаимодействия языка и культуры.

Обращаясь к проблеме соотношения данных категорий, основатель американской школы этнолингвистики Э. Сепир лаконично и точно определил их основное отличие: культура — это «то, *что* общество делает и думает», а язык — «это *как* человек думает» (выделено нами — В. К.) [Сепир 1993: 193]. Можно заметить, что в последнее время специалисты других гуманитарных областей знания (психологи, культурологи, историки, социологи) в целях своего исследования все чаще прибегают к традиционно лингвистическим методам анализа текста, используют уже полученные лингвистами наработки, результаты их труда. Все это лишний раз свидетельствует о месте и роли языка в деятельности как отдельного человека, так и общества в целом, о семиотической сущности языковых фактов, но в большей степени служит сигналом для лингвистов и, прежде всего, историков языка о необходимости «возделывания» собственной лингвистической территории, то есть того самого *как* в постановке проблемы американским лингвистом. В. М. Живов, чья статья открывает предыдущий сборник лингвистических очерков, посвященных проблемам исторической семантики, справедливо признает, что в предпринятых исследованиях «мы пока располагаем лишь весьма ограниченным материалом для построения типологии историко-культурных процессов». Тем не менее, оценивая содержание книги как постановку проблем, закладывающую «основания для дальнейших работ» в указанной области, автор завершает свои рассуждения по теме все-таки на оптимистической ноте [Живов 2009: 16].

Каждая новая эпоха отлична от предшествовавшей своим культурным кодом. XIX век завершает эпоху Нового времени, которая в России началась несколько позднее, чем в Европе, — на исходе XVII века. Именно в этот период, предвещающий Петровские реформы, определяются основные аксиомы, как их назвал А. М. Панченко, культуры Нового времени: ее диалогичность, которая предполагает существование иной точки зрения, новое отношение к слову, книге (в широком смысле) — в связи с расширением информационно-коммуникативного поля благодаря успехам книгопечатания и, наконец, признание и постепенное закрепление в общественном сознании роли личности, личностного фактора в истории и культуре [Панченко 1984]. Несо-

мненно, эти аксиомы распространяются и на XIX век (например, языковые споры, литературные и идеологические дискуссии, развитие журналистики и прессы), в то же время в этот конкретный период русской истории в сознании общества возникают и другие, или эволюционируют уже сформировавшиеся, экстралингвистические факторы — социализация общества, промышленный и торговый бум («железный век», «и всюду меркантильный дух») развитие науки и техники, искусства, «литературной промышленности» и т. д., определяющие возникновение новых понятий, и, соответственно, новых слов и значений в языке.

Дифференциальный словарь, о котором идет речь, а priori обязан отразить то новое, что появлялось в языке в эту эпоху. Анализ материалов словаря (даже в первом приближении) позволяет делать некоторые предварительные выводы относительно того, какие «динамические зоны» словарного состава могут представлять интерес для будущих лексикологических исследований, открывающих путь к интерпретации языковых фактов в рамках современной научной парадигмы. Словарь не только обнаруживает целостные группы слов со стойкими внутренними связями, выявляет те компоненты словарной системы языка, которые в истории его развития эволюционируют единым фронтом, но также создает условия для интерпретации причин и стимулов языкового развития, прогнозирования языковой эволюции.

Среди «динамических зон», прежде всего, выделим *лексическую неологию* XIX века — результат прямых заимствований и активных словообразовательных процессов. Следует отметить неравномерность распределения таких «динамических зон» в структуре словарной системы (разные группы лексики развивались разными темпами): выделяются как абсолютно новые словообразовательные гнезда (показательна, например, новая лексика с корнями *гуман-*, *индустр-*, включая окказиональные образования *гуманитет*, *гуманничать*, *гуманерия*, *гуманно-либерально-благодушный*, *гуманно-образовательный*, дающие дополнительный фон для выявления социокультурного компонента в семантике слов при их употреблении в текстах с различными стилистическими и идеологическими установками), так и отдельные неологизмы, которые входят в старые гнезда, обогащая их новой семантикой (например, *горечь*, *горестность*, *мелочность*, *воздушность*, *водянистость*), или дают начало новому гнезду слов (например, с корнем *био-*, набирающему силу к началу XX века, предвосхищая возникновение понятия «биологизм»).

Изучение данного фрагмента системных изменений позволяет выявить основные направления «языкового расширения». Так, например, рост номинаций в области отвлеченных понятий, сам состав и количество лексем с абстрактной семантикой являются одним из самых существенных показателей эволюции языкового сознания и развития литературного языка на всем протяжении XIX века (*абберрация, абсолютность, абстрактность, автономность, вместимость, гражданственность, гуманность, индустриализм, консерватизм, меркантильность, ответственность, микроскопический, индифференциальность* и мн. др.) и в последующий период (по данным словаря, первые десятилетия XX века знаменуются возникновением термина *гуманистичность*).

История отдельных слов и групп этой лексики рассматривалась в ряде статей и специальных фундаментальных исследований еще в 60—70-е годы прошлого века [Бельчиков 1962; Сорокин 1965; Веселитский 1972], однако нельзя сказать, что к настоящему моменту эта тема исчерпала себя полностью: во-первых, по ряду причин не весь лексический материал попал в поле зрения лингвистов, во-вторых, даже в отношении той лексики, которая достаточно хорошо описана, на основании новых материалов уже можно внести серьезные, значимые уточнения, дополнения, касающиеся ее хронологии, семантики, происхождения, наконец, лингвистика как наука не стоит на месте, привлекая к анализу собственно языкового материала также наработки смежных гуманитарных дисциплин и в результате получая новую интерпретацию фактов.

В указанном ряду значительный лексический пласт составляют имена существительные на *-ость*, образованные по моделям, установившимся еще в XVIII веке [Мальцева, Молотков, Петрова 1975: 10—74]. К началу XIX века данный словообразовательный тип уже обобщил свое значение до уровня грамматической категории, создав готовую форму для организации развивающейся научной, философской мысли («метафизический язык»). В качестве примера новообразований из данной группы (на основе подготовленной части словаря) приведем некоторые слова с приставкой *бес(з)-*: *бездельность, беспорядочность, беспочвенность, неправность, беспрепятственность, бесприветность, беспринципность, бессовестность, бессодержательность, бессознательность, бесспорность, беспризорность, бессудность, бестактность, бесталанность, бестелесность, бестолковость, бестрепетность, бестревожность, бесстыжест, бесформенность, бесхлебность, бесхозяйственность, бесцветность, бес-*

*цензурность, бесцеремонность, бесчеловечность* и т. д. Полученные данные позволяют в большинстве случаев установить семантически и словообразовательно закономерную мотивированную производность существительных от соответствующих адъективных форм, как правило, также новаций либо конца XVIII, либо уже XIX века (заметим, однако, что, по данным словаря, устанавливается и обратный тип связи, т. е. структура языка в данном случае как бы выравнивается). Можно предположить, что в регулярности конфиксальных образований с приставкой *бес-* мы наблюдаем проявление той же тенденции «усиления значения немаркированных единиц» (отсутствие признака), которую отмечает для фонетических процессов определенных исторических периодов М. В. Панов [Панов 1990: 204–205]. Социокультурный компонент в семантике слова актуализируется в объективно обусловленной оценочности (со знаком «минус») обозначаемой реальности. На этом фоне выделяются лексемы, обозначающие понятия этического порядка, — как принадлежащие к сфере традиционных этических представлений, сложившихся в предшествующую эпоху под влиянием христианской этики, так и относящиеся к культурной парадигме Нового времени (ср. *бессовестность, бессудность и беспринципность, бестактность, бесцеремонность*).

Следует сказать, что философы, обратившиеся в последние два десятилетия к активному изучению философского наследия, наверстывая упущенное в советские годы, отмечают, что своеобразие русской мысли, русской философии и культуры в целом выразилось, прежде всего, в обостренном, повышенном интересе к нравственным проблемам [Овчинникова 2001: 146]. Этические понятия, складывавшиеся в русской культуре веками под влиянием «обычной» (деятельной) практики, получившие эсхатологическое обоснование в Средние века (*добро, благо, любовь, совесть*), были дополнены новыми этическими категориями, дающими рациональное обоснование нравственности и испытавшими сильное воздействие так называемого особого «внутреннего ведения», задающего в Новое время ряд моральных проблем: «соотношение свободы и нравственной детерминированности поступков, истины и правды... онтологии зла, морального выбора и ответственности». Начиная с XVII—XVIII вв. происходит переосмысление основных этических понятий, обусловленное секуляризацией жизни, в XIX веке этические «противоречия» обостряются, «усиливаются тенденции рационалистического, социально-утилитаристского обоснования морали, которые в дальнейшем приведут к этике русского радикализма» [Там же: 146–147]. Все эти значимые для

культуры «превращения» находили отражение в языковом сознании эпохи, вербализуясь в конкретных словах, которые словник помогает выявить, определить их пространственные и временные координаты (дату, первое употребление, в ряде случаев авторство и т. д.). В качестве примера можно было бы привести слово *ответственность*, обозначающее одно из ключевых этических понятий, сформировавшихся в Новое время. Изучению содержания этого понятия уделялось немало внимания в работах современных лингвистов: можно, в частности, назвать исследование О. Е. Фроловой, посвященное теме ответственности как диалога, в которой автор приводит изумительный по точности осмысления пример употребления данного слова в цитате из раннего М. М. Бахтина:

Что же гарантирует внутреннюю связь элементов личности? Только единство ответственности. За то, что я пережил и понял в искусстве, я должен отвечать своей жизнью, чтобы все пережитое и понятое не осталось бездейственным в ней. Но с ответственностью связана и вина... Личность должна стать сплошь ответственной: все ее моменты должны не только укладываться рядом во временном ряду ее жизни, но проникать друг в друга в единстве вины и ответственности [Бахтин 1979: 5].

Исследовательницу прежде всего интересует функционирование данного слова в современных текстах, различных по стилю, чем, по мнению исследовательницы, и осложняется анализ его семантики, а также нюансы проявления этой семантики в ситуации конкретного коммуникативного акта [Фролова 2009: 140 и далее]. Материал словника восполняет семантическую историю неологизма XIX в. важными, на наш взгляд, фактами: цитаты в картотке (естественно, учитывая относительность этих данных) позволяют установить примерную хронологию и авторство, по крайней мере, роль отдельных авторов в формировании данного понятия. Самое раннее употребление слова-понятия можно отнести к самому началу XIX в., оно встретилось в «Записках» Е. Дашковой (1805), другим ранним источником фиксации данной лексемы оказывается сочинение М. Сперанского «Введение к уложению государственных законов» (1809), этим же годом примерно датируется другой текст (близкий по жанрово-стилистическим особенностям первому) — Письмо Дашковой к сыну, где *ответственность* употреблено в сочетании с прилагательным *правственный*, тем самым его автор актуализирует важный этический смысл слова (понятия), который становится частью национального элитарного сознания (ср. с бахтинским высказыванием):

Для тебя прошла пора отрочества: ты блистательно вступил в период юношеской жизни, самый интересный, но и самый критический, когда всего больше надобно дорожить общественным мнением, то есть внимательно следить за своими поступками, словами и действиями, потому что, чем дольше будешь жить, тем больше будет лежать на тебе *правдивой ответственности* [Дашкова 2001].

Первая лексикографическая фиксация слова *ответственность* дана в словаре П. Соколова (1834), только во второе издание «Словаря Академии Российской» [САР-2] попадет и прилагательное *ответственный*, кстати, не отмеченное 17-м выпуском «Словаря русского языка XVIII века» по причине отсутствия других текстовых материалов в картотеке, подтверждающих употребление слова. Все эти факты очерчивают примерную динамику в употреблении термина от времени его возникновения до момента кодификации. Тексты первых двух десятилетий свидетельствуют о равноправном употреблении неологизма со словом *ответствие*, которое, прежде всего по формальным причинам, не могло сконцентрировать тот социокультурный смысл, который обрело существительное *ответственность* в русском языке (ср. *убеждение* и *убежденность*). Появление к середине XIX века лексемы *виноватость* (самые ранние цитаты — в сочинениях Л. Н. Толстого) свидетельствует о формировании новой корреляции в этической сфере.

Исследование семантики как отдельных слов, так и, по возможности, объединяемых в группы позволит выделить лексико-семантическое пространство (поле), формируемое единым культурным кодом. Так, например, в неологии рубежа XVIII—XIX вв. отражено нечто абсолютно новое в представлениях о времени: появляется ощущение его субстанциональной сущности, усвоенное в XVIII веке через кальку с французского, например, *дух времени*, фр. *esprit du temps* (ср. также *дух противоречия*, фр. *esprit de contradiction*; *дух века*, фр. *esprit du siècle*) [СРЯ XVIII (1992): 39], ощущение его ускорения и перехода к будущему («бренности») настоящего — обновленных параметров в структуре понятия, объясняемое кризисными настроениями рубежа века, которое передается такими новациями XIX века, как *мигомолетный/мигомолетность*, *эфемерный/эфемерность*. Намтившееся изменение обнаруживаем в единственной цитате из Державина со словом *мигомолетящий* ‘быстро проходящий, быстротечный’: *Чего в мой дремлющий тогда не входит ум? Мигмомолетящи суть все времени мечтаны* [СРЯ XVIII (2001): 190]. Ср. *мигомпроходящий*, *мигомтекущий* (2) [Там же].

Изучение динамики внутри словообразовательных гнезд (пополнение новой лексикой) может предоставить также семантически содержательную в лингвокультурном отношении информацию. Иллюстрацией к развитию идеи «открытости» русского общества (Ср. *жить открытым домом, открыть дом* в текстах конца XVIII века [СРЯ XVIII (1991): 201]), провозглашенной Петром I (*«все флаги в гости будут к нам»*), могли бы стать неологизмы с корнем *гост(ь)-*: *гостелюбный, гостелюбец, гостеприимность, гостеприимно-дружеский* и др. Материал словника позволяет поставить вопрос об изучении в составе неологии сложных прилагательных и наречий с «культурно-нагруженным» словообразовательным компонентом: *горько-/горьковато-* (*горькоминдальный, горько-одинокий, горькородной, горько-слезный, горько-трудовой*), *густо-* (*густо-театральный*), *грязно-/грязновато-* (с цвет. прил. *грязно-петербургский*). См. также примеры с *байронически-*, *водянисто-* [Пробные статьи 2008: 340—341, 357—358].

Предварительный анализ состава тематических групп лексики и терминологических рядов, связанных с различными новыми областями научно-практической и хозяйственной деятельности людей (например, *агроном, анестезия, гипноз* и их производные), лексемы, обозначающей новые реалии XIX века из разряда предметов быта (*абажур, консервы, макароны* и др.), явлений литературы и искусства (*акварель, романтизм, журнализм, пресса* и др.), научных и технических открытий (*автомобиль, дагерротип* и др.), новых пластов эмоционально-оценочной лексики и новых актуальных средств изобразительности, возникающих за счет открытия абсолютно новых источников образности (*аббатство, абберрация, амфибия, амеба, амфитрион, водянистый, воздушность, возмутительность, микроскопический, меркантильный, пугало, щенетильный* и др.), также указывает на необходимость более тщательного изучения лексико-семантического материала, полученного путем дифференциального отбора, с целью его дальнейшей интерпретации.

Подводя итоги анализу лишь малой части материалов словника, можно констатировать, что смена культурных реалий находит непосредственное отражение в лексико-семантических изменениях литературного языка (как культурной функции общенародного), реализуясь, прежде всего, в таких процессах, как появление новых лексических единиц (лексические заимствования, словообразовательная неология), семантическая деривация (развитие полисемии). Проблема соотношения заимствований и оригинальной лексики в

процессе оформления нового понятия составляет отдельную тему для исследований по исторической семантике. Прямое заимствование в функциональном смысле равнозначно «культурному взрыву», оно провоцирует формирование новой лексики уже на почве родного языка, что свидетельствует о факте ментализации, усвоении нового понятия, поскольку, как справедливо подмечено, «заимствования не решают понятийных проблем, которые ставит перед обществом модернизация», однако им может отводиться другая роль в языковой практике — «заимствования могут служить вспомогательным материалом» [Живов 2009: 10]. Очень часто они, как показывают контексты, выполняют экспрессивную функцию (как актуальная, «модная» лексика), закрепляются в качестве терминов или участвуют в культурном диалоге (*гуманность* — *человечность*, *индустриальность* — *промышленность*). Примером отражения культурной парадигмы века может служить использование заимствований в качестве символов времени, указывающих на социокультурные процессы. См. употребление *аббатство* в значении ‘старое родовое поместье’ [Пробные статьи 2008: 317—318]. Выявление и изучение подобной лексики составляет отдельную тему.

Создаваемый на основе указанного принципа словарь позволяет сформировать для последующего детального лексикологического изучения пласты лексики, эволюционирующей не только в семантическом (развитие переносных, образных значений, сужение или расширение семантики и т. п.), но и в функционально-стилистическом отношении (изменение стилистической окраски, сферы употребления, частотности и других параметров употребления), установить взаимодействия между отдельными группами слов (синонимические связи, антонимию).

Дифференциальный словарь, учитывающий хронологические параметры истории слова (первое употребление в тексте, частотность по десятилетиям, первую лексикографическую фиксацию), дает материал для установления циклов словарного развития, периодов медленного, эволюционного развития и переломных моментов, качественно меняющих лексическую систему языка.

Результаты, которые удастся получить в процессе составления словаря будущего «Словаря...», позволяют надеяться на ускорение в решении важной задачи построения исторической лексикологии русского языка Нового времени, — от чего во многом зависит и построение истории русского литературного языка, начиная с послепетровской эпохи, и формирование более верных представлений о ведущих



тенденциях эволюции словарного состава русского языка на протяжении XIX века, их объективная оценка, и, как ни покажется странным на первый взгляд, понимание сущности современной языковой ситуации.

## ЛИТЕРАТУРА

- Бахтин 1979 — *Бахтин М. М.* Эстетика словесного творчества. М., 1979.
- Бельчиков 1962 — *Бельчиков Ю. А.* Общественно-политическая лексика В. Г. Белинского. М., 1962.
- Веселитский 1972 — *Веселитский В. В.* Отвлеченная лексика в русском литературном языке XVIII — начала XIX вв. М., 1972.
- Дашкова 2001 — *Дашкова Е. Р.* Письмо сыну с рекомендациями во время путешествий // *Дашкова Е. Р.* О смысле слова «воспитание». Сочинения, письма, документы / Сост., вступит. ст., примеч. Г. И. Смагиной. СПб., 2001. (Цит. в тексте приведена по электронной версии публ.: [www.az.lib.ru](http://www.az.lib.ru))
- Живов 2009 — *Живов В. М.* История понятий, история культуры, история общества // Историческая семантика раннего Нового времени. Серия: Языки славянских культур. М., 2009. С. 4—19.
- Калиновская 2005 — *Калиновская В. Н.* «Словарь русского языка XIX века» как особый тип исторического словаря // Актуальные вопросы исторической лексикографии и лексикологии. СПб.: Наука, 2005. С. 25—29.
- Калиновская 2008 — *Калиновская В. Н.* Типы лексических новаций в русском языке XIX века: универсальные словообразовательные модели «в действии» // Русский язык XIX века: динамика языковых процессов / *Acta linguistica Petropolitana. Труды Ин-та лингвистических исследований РАН.* Т. IV, ч. 3. СПб., 2008. С. 16—24.
- Калиновская 2010 — *Калиновская В. Н.* Что может дать дифференциальный исторический словарь? (Из опыта работы над словником «Словаря русского языка XIX века») // Вестник РГПИФ. 2010. № 1 (58). С. 116—123.
- Кутина 1964 — *Кутина Л. Л.* Формирование языка русской науки. (Терминология математики, астрономии, географии в первой трети XVIII века). М.: Наука, 1964.
- Ларин 1977 — *Ларин Б. А.* Очерки по истории слов в русском языке. Вводная заметка // История русского языка и общее языкознание. М., 1977. С. 43—45.
- Мальцева, Молотков, Петрова 1975 — *Мальцева И. М., Молотков А. И., Петрова З. М.* Лексические новообразования в русском языке XVIII в. Л.: Наука, 1975.

- Овчинникова 2001 — Овчинникова Е. А. Русская этика в поисках целостности личности // *Miscellanea humanitarian philosophiae*. Очерки по философии и культуре. К 60-летию проф. Ю. П. Солонина. Сер. «Мыслители». Вып. 5. СПб.: Санкт-Петербургское философское общество, 2001. С. 145—149.
- Панов 1990 — Панов М. В. О балансе внутренних и внешних зависимостей в развитии языка // *Res Philologica*. Филологические исследования: Памяти акад. Г. В. Степанова. М., 1990. С. 200—207.
- Панченко 1984 — Панченко А. М. Русская культура в канун петровских реформ. Л., 1984.
- Пробные статьи 2008 — Материалы к «Словарю русского языка XIX века»: пробные статьи // *Русский язык XIX века: динамика языковых процессов / Acta linguistica Petropolitana*. Труды Ин-та лингвистических исследований РАН. Т. IV, ч. 3. СПб., 2008. С. 315—364.
- Сепир 1993 — Сепир Э. Язык, раса, культура // Сепир Э. Избранные труды по языкознанию и культурологии. М., 1993.
- СРЯ XVIII — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1—17. — Л.; СПб.: Наука, 1984—2007—.
- Проект 2002 — Словарь русского языка XIX века. Проект. Л.: Наука, 2002.
- САР-2 — Словарь Академии Российской по азбучному порядку расположенный. Ч. I—VI. СПб., 1806—1822.
- Соколов 1834 — {Соколов} П. Общий церковно-славяно-русский словарь, или собрание речений... Ч. I—2. СПб., 1834.
- Сорокин 1965 — Сорокин Ю. С. Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX в. М.; Л.: Наука, 1965.
- Фролова 2009 — Фролова О. Е. Ответственность как диалог // *Etnolingwistyka*. 21. Lublin, 2009. С. 139—152.

## О СЛОВАХ КОМПРОМИСС И БЕСКОМПРОМИССНЫЙ\*

Слово *компромисс* впервые фиксируется в 1804 г. в «Новом словотолкователе, расположенном по алфавиту, содержащем разные в российском языке встречающиеся иностранные речения и техниче-ские термины» Н. М. Яновского. Первое вхождение в Национальный корпус русского языка — цитата из лекции Т. Н. Грановского по истории позднего средневековья (1849—1850): «В 1566 году высшие сословия нидерландские заключили между собою так пазываемый Компромисс, которым обязывались защищать всеми средствами льго-ты и права своей родины». По-видимому, слово *компромисс* имело в XIX в. значение, соответствующее одному из значений французского слова *compromis*: «юридическое или политическое соглашение, до-говор». Это значение слово *компромисс* сохранило только в названиях нескольких известных из истории договоров, таких, как упоминав-шийся в лекции Грановского *Компромисс дворян* (нидерл. *Eedverbond der Edelen*, фр. *Compromis des Nobles*), а также двух соглашений меж-ду конгрессменами от рабовладельческого Юга и свободного Севера в конгрессе США — *Миссурийского компромисса* 1820 г. (*Missouri Compromise*) и *Калифорнийского компромисса* 1850 г. (*Compromise of 1850*).

В то же время уже в первом томе «Дневника» А. В. Никитенко (1826—1855) слово *компромисс* встречается в привычном нам «быто-вом» значении — «соглашение на основе взаимных уступок»: «Он про-сил меня не оставлять Аудиторского училища, но когда увидел мою твердую решимость, предложил следующий компромисс»; ср. также пример из Салтыкова-Щедрина (1863): «По искание грибов, как и все

---

\* Работа выполнена при финансовой поддержке Программы фундаменталь-ных исследований ОНФИ РАН (грант «Проблемы кодификации нормы в русском языке начала XXI в.»).

на свете, сопряжено с своего рода тревогами и столкновениями и сопровождается хитростями, компромиссами и уступками».

Оба этих значения были отмечены у слова *компромисс* в словаре В. И. Даля [Даль, II]:

**КОМПРОМИСС**, соглашение, сделка, взаимные уступки.

Судя по толкованию этого слова в словаре В. И. Даля и по текстам XIX — начала XX вв., слово *компромисс* не содержало в своей семантике оценочных компонентов. Также нейтральны в аксиологическом плане значения других слов, относящихся к той же лексико-семантической группе, таких, как *соглашение*, *сделка* и др. Ср. толкования из словаря В. И. Даля [Даль, IV]:

**СОГЛАШЕНИЕ**, кого, старанье согласить на что; | чего, приведение в согласный порядок.

**ДЕЛКА**, конченный уговор, условие, соглашение; любовная мировая и взаимные обязательства по согласию.

**СГОВОР**, отречение от оговора. | Переговоры, для соглашения о чем, уговор. *Не о споре речь, о сговоре*. | Свадебный обряд, рукобитье, соглашение родителей на брак детей своих, и слово, решающее дело.

В советское время все слова этой лексико-семантической группы в той или иной степени получили сему отрицательной оценки<sup>1</sup>. В словаре под редакцией Д. Н. Ушакова [Ушаков, IV] у слов *сделка* и *сговор* появились значения с пометой *неодобрит.*, а у слова *сговор* появилось даже «криминальное» значение:

**ДЕЛКА**. Двусторонний договор, соглашение о выполнении чего-н. Заключить сделку. Биржевая сделка. Невыгодная сделка. || Соглашение, сговор относительно чего-н. (*неодобрит.*). Сделка с совестью — *перен.* решение поступить не по совести, против убеждений;

**СГОВОР**. 1. Помолвка, соглашение между родителями жениха и невесты об их браке; обряд, к-рым сопровождается это соглашение (*устар.*). *Воображаю я себе: вдруг за меня посватается военный, вдруг у нас парадный сговор*. А. Островский. 2. Соглашение в результате переговоров, разговоров (*преимущ. неодобрит.*). *Соглашатели ведут политику сговора с капиталистами*. || Соглашение двух или нескольких лиц для совместного осуществления уголовно наказуемых действий (право).

<sup>1</sup> Заметим, что, по мнению А. Д. Шмелева, «подозрительное отношение к компромиссам характерно для русского дискурса вообще и не ограничивается языком коммунистической идеологии» [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 413].

Во многих контекстах отрицательную окраску приобретало в целом нейтральное слово *компромисс*; ср. приводимый в словаре Д. Н. Ушакова типичный для советского времени пример сочетаемости слова *компромисс* — *гнилой компромисс*.

Поскольку слова *согласие* и *примирение* в русском языке имели скорее положительные коннотации, в советском идеологическом языке появились слова *соглашательство* и *примиренчество*, носящие яркую отрицательную окраску, а люди, склонные к поиску компромиссов, получили презрительные именованья *соглашателей* и *примиренцев*<sup>2</sup>. Ср. толкования этих слов из словаря Д. Н. Ушакова [Ушаков, III—IV]:

**СОГЛАШАТЕЛЬ** (*полит. презрит.*). Оппортунист, ведущий политику соглашений, компромиссов с реакционной буржуазией, политику предательства интересов рабочего класса.

**ПРИМИРЕНЕЦ** (*полит.*). Человек, старающийся примирить, сгладить или скрыть классовые противоречия, занимающийся пособничеством деятельности оппортунистов, как правых, так и «левых», пытающийся обезоружить партию большевиков в ее борьбе с оппортунизмом. *Когда объявляется война правому уклону, правые уклонисты обычно перекрашиваются в примиренцев и ставят партию в затруднительное положение. Чтобы предупредить этот маневр правых уклонистов, необходимо поставить вопрос о решительной борьбе с примиренчеством. Сталин (пленум ЦК ВКП(б), апрель 1929 г.). Примиренцы всегда являлись агентами меньшевизма, троцкизма и правых в рядах партии большевиков.*

Примеры из текстов советского времени убедительно доказывают, что словарные толкования этих слов полностью соответствуют узусу и отношению носителей языка к идее поиска компромисса; ср.: «Самою сильною бранью считал он слово “соглашатель”» (А. Гайдар).

Более того, поскольку настороженное отношение вызывало не только стремление к нахождению компромисса в отношениях с людьми, но и стремление к примирению с действительностью, в двадцатые

---

<sup>2</sup> Изменение оценочного потенциала слова *соглашатель* наглядно видно при сравнении толкований этого слова в словаре под редакцией Д. Н. Ушакова и в словаре В. И. Даля. Очевидно, что во времена Даля слова *соглашатель* (*согласитель*) — нейтральные или даже скорее положительно окрашенные слова: «СОГЛАШАТЕЛЬ или согласитель, -ница, согласивший кого на что или кого, с кем, примиритель; | согласивший что с чем, устранивший разногласие, противоречие, несообразность чего-либо, или согласователь, -ница» [Даль, IV].

годы прошлого века появилось также отрицательно окрашенное слово *приспособленец*:

**ПРИСПОСОБЛЕНЕЦ** (*нов. презрит.*). Человек, меняющий свои взгляды, привычки в зависимости от обстоятельств, к которым он приспособляется, двурушник, приспособляющийся к обстоятельствам с целью замаскировать свои истинные взгляды, склонности и привычки [Ушаков, III].

Не удивительно, что при таком отношении к уступкам и компромиссам, в русском языке советского времени крайне положительно оцениваются такие качества, как *непримиримость*, *нестигбаемость* и *бескомпромиссность*. Вот, например, несколько характерных примеров из статей, опубликованных в газете «Пионерская правда» за 1937 г. под общей шапкой «Сегодня 20 лет ВЧК—ОГПУ—НКВД. Пионерский салют зорким часовым и разведчикам Родины!»:

Во главе ВЧК партия поставила нестигаемого большевика, бесстрашного рыцаря революции Феликса Эдмундовича Дзержинского;

Таким был Дзержинский — мужественный, бесстрашный, непримиримый к врагам;

Эти бандиты злодейски убили нестигаемого большевика Сергея Мироновича Кирова, покушались на жизнь наших любимых вождей.

Хотя в русском языке шестидесятых — семидесятых годов двадцатого века толкования слов рассматриваемой лексико-семантической группы стали менее идеологически нагруженными, отрицательное отношение к людям, готовым идти на компромисс, сохранилось и в словарных толкованиях, и в текстах. Ср., например:

**СОГЛАШАТЕЛЬ**. Беспринципный человек, приспособляющийся к обстоятельствам; сторонник компромиссов и уступок [МАС, IV].

Более того, именно в годы оттепели появилось слово *конъюнктурщик*:

**КОНЬЮНКТУРШИК** (*разг., презр.*) — беспринципный человек, ловко меняющий свое поведение в зависимости от той или иной конъюнктуры [МАС, II]<sup>3</sup>.

В последние годы отношение к компромиссу (во многом под влиянием «западных» ценностных установок) стало стремительно меняться. Во многих газетных и журнальных статьях и на интернет-

---

<sup>3</sup> О различии слов *приспособленец* и *конъюнктурщик* см. [Мостовая 2010].

сайтах можно найти рассуждения о том, что человек должен всегда стремиться к компромиссу, быть гибким, искать пути к согласию и примирению, что нет ничего хуже бескомпромиссных нестигаемых людей, которые не могут «поступиться принципами»<sup>4</sup>. Приведем два характерных рассуждения на эту тему:

К сожалению, в русской философии больше всего ценится бескомпромиссный человек, этакий идиот. Чехов же замечательно говорил: «Я ненавижу честных людей». Бескомпромиссные люди, как правило, тупые. Компромисс — это животворящая сила демократии. Вся демократия строится на компромиссе. Свободный человек всегда ищет компромисса. Надо быть рабом, чтобы стать принципиальным до конца. *Компромисс* — нормальная вещь. Другое дело — во имя чего. Кто-то из великих замечательно сказал, что когда речь идет о судьбе режима и детей, то бог с ними, с принципами (А. Михалков-Кончаловский);

Жизнь — это постоянный выбор и компромисс с самим собою, окружающим миром, людьми. Бескомпромиссных людей нет, человек всегда делает выбор в сторону большего или меньшего зла. Меня раздражает формулировка «бескомпромиссный человек», таких людей нет, а если и есть, то это — дураки (DocEt. Компромисс жизни. Я.ру. 27.11.2010).

Конечно, сейчас рано говорить о том, что слово *компромисс* изменило свой оценочный потенциал. Не случайно, и в современных текстах можно найти словосочетание *компромисс в хорошем смысле слова*<sup>5</sup>, что, как известно, свидетельствует о том, что, по мнению говорящего, у этого слова есть «плохой» смысл<sup>6</sup>. Тем более не удастся поменять оценочный потенциал слов *приспособленец* и *конъюнтуристик*, хотя в СМИ и Интернете можно найти много рассуждений на тему: «А что плохого в том, чтобы приспосабливаться к обстоятельствам или учитывать конъюнктуру?» Приведем два примера:

---

<sup>4</sup> Ср. «В языке нынешних “детей” *принципиальность* имеет четко выраженную негативную окраску, поскольку соответствующая черта приравливается к запретительству, связывается со сферой официоза и “собраний” и противопоставляется таким ценностям, как гибкость, умение находить компромиссы, гасить конфликты и чувствовать ситуацию (тому, что выражается модным словом *толерантность*)» [Березович 2008: 26].

<sup>5</sup> «Здесь важно найти компромисс — в хорошем смысле этого слова, который бы устроил и государство, и бизнес, и профсоюзы» («Российская газета», 23.07.03).

<sup>6</sup> Ср.: «Еще 20 лет назад в ходу была формулировка *карьера в хорошем смысле*. Почему надо было оговариваться, что в хорошем? Да потому что вообще-то *карьера* — это было что-то слегка постыдное» [Левонтина 2010: 20].

В совсем еще недавнее советское время слово *приспособленец* употреблялось исключительно в уничижительной или ругательной форме! Не так уж сильно изменилась ситуация и сейчас. Даже сейчас, когда я набираю этот текст, компьютер подчеркивает это слово, говоря, что оно носит ярко выраженную экспрессивную, негативную окраску. Что же такого страшного или настолько отрицательно нехорошего в этом явлении? Как ни странно, ровным счетом ничего! (С. Вишняков. Легко ли быть приспособленцем? // «ШколаЖизни. Ру», 03.05.2007);

Однажды, вспоминая виражи моей карьеры, один из моих друзей (времененно безработный) даже сказал мне: «Ты — конъюнктурщик!» Я хорошо относился и хорошо отношусь к моему безработному другу. Поэтому сразу же решил отыскать в обидном слове хоть что-то хорошее (...). Компьютерный словарь «ОРФО», в который я по свежей привычке сразу сунулся, огорчил: «конъюнктурщик — беспринципный человек, действующий в зависимости от сложившихся в данный момент обстоятельств...» Учитывать сложившиеся обстоятельства — это не недостаток, хотя гаденское слово «беспринципный» меня слегка задело (А. Деревницкий. Охота на покупателя, 2006).

Не прижилось и предложенное несколькими интернет-пользователями слово *кампромайзер* — миротворец, примиритель, ср.: «Просто он имхо кампромайзер, он от природы придерживается идеи “за-чем драться, если можно дружить”».

Но вот слово *бескомпромиссный* в качестве положительной характеристики человека в последние годы употребляется крайне редко и чаще в иронических контекстах: «бескомпромиссный борец со злыми сектами г-н Дворкин» («Общая газета», 01.03.1995); «бескомпромиссный и несгибаемый борец с коррупцией» [о Лужкове]. Безусловно положительную оценку это слово сохранило, кажется, лишь в коммунистической печати, которая во многом ориентирована на узус советского времени:

Через месяц Илюхина не стало — остановка сердца. Виктор Иванович был и останется в наших сердцах, как боевой и бескомпромиссный боец с антинародным режимом («Большевик Кавказа», 20.03.2011);

Являясь руководителем Агропромышленной депутатской группы, Н. М. Харитонов твердо и последовательно отстаивает интересы крестьян, он зарекомендовал себя последовательным бескомпромиссным борцом за интересы трудового крестьянства, интеллигенции, проживающей на селе, пользуется всеобщим уважением среди населения, его знает село, с ним считаются руководство России и политики за рубежом («Советская Россия», 15.06.2003).



При этом, как ни странно, частотность слова *бескомпромиссный* в современных текстах существенно увеличилась! Если раньше сочетаемость этого слова с неодушевленными именами существительными была ограничена несколькими словами: *борьба, позиция, характер* и др., то сейчас интернет-сайты и рекламные объявления нестряют сообщениями о *бескомпромиссных серверах, бескомпромиссном дизайне, бескомпромиссных спортивных автомобилях и бескомпромиссных внедорожниках с бескомпромиссными подвесками*. При этом все общают *сервис бескомпромиссного качества, бескомпромиссное качество продукции и бескомпромиссный результат*. Ср. также: «Новость для бескомпромиссных победителей! Ты и Peugeot 308 Turbo — бескомпромиссный старт, бескомпромиссная победа!» По-видимому, у слова *бескомпромиссный* появилось новое значение, близкое к значению слов *безукоризненный, безусловный, бесспорный*<sup>7</sup>.

В работах, посвященных русскому языку конца XX — начала XXI века, неоднократно отмечалось, что в последние два десятилетия мы наблюдаем семантическую эволюцию широкого пласта русской лексики (как исконно русской, так и заимствованной), которая отражает происходящую в обществе переоценку системы ценностей и представлений о приоритетах и жизненных установках. Как кажется, некоторое изменение оценочного потенциала слов *компромисс* и *бескомпромиссный* встраивается в общую установку современного российского общества на «согласие и примирение»<sup>8</sup>. Не случайно также в XXI веке в русском языке появилось новое слово, положительно характеризующее человека — *договороспособный* (*договороспособный руководитель, политик, партнер* и др.).

---

<sup>7</sup> Скорее всего, в русском языке это значение появилось под влиянием также относительно недавно появившегося в английском языке значения слова *uncompromising*, например: *uncompromising quality, uncompromising sports car concept, the uncompromising audiophile* (примеры из Интернета).

<sup>8</sup> Указом Президента РФ от 7 ноября 1996 г. «в целях смягчения противостояния и примирения различных слоев российского общества» прежнее название праздника — «Годовщина Великой Октябрьской социалистической революции» — было изменено на «День согласия и примирения». Впрочем, с 2005 г. этот праздник был отменен, а вместо него 4 ноября начал праздноваться «День народного единства».

## ЛИТЕРАТУРА

- Березович 2008 — *Березович Е. И.* «Отцы и дети» в лексической семантике (о «поколенческих» различиях в значениях слов аксиологической сферы в языке современного города) // *Язык современного города. Тезисы докл. междунар. конф. Восьмые Шмелевские чтения.* М., 2008. С. 25—28.
- Даль, I—IV — *Даль В. И.* Толковый словарь живого великорусского языка. Т. I—IV. СПб.; М., 1880—1882.
- Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005 — *Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.* Ключевые идеи русской языковой картины мира. М., 2005.
- Левонтина 2010 — *Левонтина И. Б.* Русский со словарем. М., 2010.
- МАС I—IV — Словарь русского языка: В 4 т. / Под ред. А. П. Евгеньевой. Т. I—IV. М.: Русский язык, 1981—1984.
- Мостовая 2010 — *Мостовая А. Д.* Попутчик, приспособленец, конъюнктирущик, или Конформизм в контексте. Времена и нравы // <http://www.proza.ru/2010/10/03/690>
- Ушаков, I—IV — *Ушаков Д. Н.* (ред.) Толковый словарь русского языка. Т. I—IV. М.: ОГИЗ, 1935—1940.



**История понятий  
и экстралингвистические  
парадигмы**

---



## Понятие «Россия» в политической культуре XVIII века\*

Наименование страны всегда включает в себе некую программу. В нем соединяются концепции пространства и той человеческой общности, которая его населяет. Названия стран тесно связаны с самоопределением и самоописанием государств и народов и, таким образом, являются основными концепциями политической культуры. Они представляют собой понятия, которые оспариваются разными группами и истолковываются различными способами.

Если употребление названия «Русь» изучено хорошо [Тихомиров 1979], то история топонима «Россия» и тех значений, с которыми он связывался в XVIII в., представляет собой еще почти не разработанную тему для истории России. Обзор проблематики для исследуемого периода содержится в работе П. Бушковича [Bushkovitch 2003]; употребление слов «Русь» и «Россия» в исторических произведениях XVIII в. рассматривается в исследовании Е. Погосян [Погосян 1999].

Наименование «Россия», вошедшее в употребление в XVI в. и существовавшее параллельно с формой «Русь» [Фасмер III: 505], начиная с XVIII в. стало употребляться чаще и превратилось в ключевое понятие политической культуры Российской империи<sup>1</sup>. На созданную Петром I империю были перенесены концепции, сформулированные в XVII—XVIII вв. для обозначения украинских территорий [Sysyn 2004: 47; Plokhу 2004: 344—348]<sup>2</sup>. И если в начале столетия еще были приняты различные варианты и формы написания — па-

---

\* Благодарю М. Лавринович (Москва), К. Левинсона (Москва), О. Нагорную (Челябинск) и Д. Сдвижкова (Москва) за перевод и за полезные замечания.

<sup>1</sup> Об употреблении в XVII в. см.: [Rothe 1990; Yakovenko 2009: 118—128].

<sup>2</sup> О понятии «Малой России», см.: [Yakovenko 2009: 128—132].

пример, «Росия» или «Rossiä», то с середины века возобладал вариант «Россия».

В моем исследовании ставится вопрос об употреблении этого названия и о связанных с ним значениях, то есть о контекстах, в которых находил применение данный топоним. Важнейшие определения понятия «Россия» можно описать следующим образом: династическое, территориальное, культурное, имперское. В течение XVIII в. «Росия» определялась как «европейская держава», понятие становилось все более имперским по отношению к Европе и расходилось с конкурирующими украинскими интерпретациями<sup>1</sup>. С точки зрения его функции, понятие «Россия» носило сильно апеллятивный характер, вызывая представления о новом единстве<sup>2</sup>.

Основное внимание в статье сосредоточено на четырех дискурсивных областях: «слава России», «*πομπη εστ ομπη*», «Россия — европейская держава» и «отечество Россия». Эти поля определяли и пропагандировали контексты применения, которые стали основным резервуаром значений для понятия «России». Они показывают формирование единства и идентификационной единицы в течение XVIII в. через дискурс славы, «изобретение истории», процессы территориализации и повышения эмоциональной нагрузки этого понятия параллельно с понятием «отечество». В их порядке обнаруживается хронологическая последовательность: первые две области сформировались в петровскую эпоху и в 1740—1750-е годы, а следующие две доминировали начиная с екатерининского времени.

Конъюнктуры применения понятия были тесно связаны с распространением новых практик и средств коммуникации, таких как проповеди, произведения исторической литературы, пьесы, описания страны, монеты, публичные речи, а также журналы. И в политическом словаре правительства наряду с официальными наименованиями «Российское государство» и «Всероссийская Империя» находил применение топоним «Россия». Исследование базируется на анализе избранных источников, относящихся к отдельным их видам.

---

<sup>1</sup> Об этом см.: [Plokhy 2004; Sysyn 2003; 2004].

<sup>2</sup> Как пример апеллятивного понятия — ср. [Blum 2001].

### «Слава России»

Панегирические тексты с конца XVII в. связывали понятийное поле «слава» с «Россией». «Слава» традиционно была церковно-христианским концептом, который уже в древнерусской литературе мог характеризовать земные деяния и подвиги людей [Лихачев 1978: 44–45; Стефанович 2003: 5, 21]. Эта тенденция к секуляризации укреплялась начиная с XVII в., и важнейшую роль в этом процессе сыграл Симеон Полоцкий, прибывший к московскому двору из Кисва в 1669 г. В своих произведениях он прославлял «орла всероссийского», выступив в качестве посредника, принесшего в русскую литературу жанр хвалебных речей в стиле барокко [Bushkovitch 2003: 150; Крестова 1958: 254]<sup>5</sup>.

Через концепт «славы», сильно ориентированный на внешний эффект, происходило соединение с византийской и славянской традициями. Для этого в панегирической литературе XVIII в. были разработаны представления о России как о расе на земле — их проанализировал в своей книге Ст. Бэр [Bachr 1991: 117]. Одописец превратился в «dispensator gloriae» [Клсйн, Живов 2007: 7]<sup>6</sup>. Помимо этого, наряду с правителями как объектами, к которым могла относиться «слава», таковыми все чаще выступали иные величины, например страна — отечество, Россия или Российская империя. В употреблении стал доминировать аспект «славы», тесно связанный с военными успехами России. В контекстах, где фигурировал российский народ, «слава» употреблялась лишь изредка, например в указе об учреждении Академии наук 1724 г.:

И понеже Российскому народу не токмо въ великую пользу, но и во славу служить будетъ, когда такія книги на Российскомъ языкѣ печатаны будутъ [ПСЗ, I: 7, № 4443, 222].

«Слава России» и «российская слава» в петровское время превратились в формулу: в языке правительственных документов и хвалебных речей топоним «Россия» постоянно сочетался со словом «слава». Конструкция «слава России» должна была производить эффект, нацеленный как внутрь, так и за внешние пределы страны, при этом ей приписывались функции, направленные одновременно и в прошлое,

<sup>5</sup> Слова «Русь» и «Россия» он употребил в одном из своих стихотворений 1660-х гг. как синонимы [Погосян 1999: 7].

<sup>6</sup> Поэт осознавал, что «раздача "славы", бессмертия — как, впрочем, и забвения — в его руках» [Бурхардт 1996: 138].



и в будущее. Это понятие отражало как репутацию победоносной державы и взгляд в грядущее, так и гордость за свои свершения. Военные победы, сравнение с европейскими державами, происхождение «славы России» из свершений Петра I и восхваление славной современности определяли семантику понятия «славы России».

Военные победы — источник этой славы — восхвалялись в речах и панегириках [Крестова 1958: 259]. Феофан Прокопович в 1721 г., после триумфального завершения Северной войны, говорил: «О всемирного удивления! Как незапно да весьма знатно в войне сей стала в славу и пользу возрастати Россия!» [Прокопович 1961: 118]<sup>†</sup>. Начиная с 1730-х гг. военные корабли часто получали название «Слава России». Эта практика постепенно утвердилась, и в 1789 г., например, в Охотске был построен фрегат «Слава России» [Чепурнов 2002: 128—129].

Немаловажную роль в прославлении «России» сыграли Киевская и Петербургская академии, а также учебные заведения. Новое средство коммуникации — школьные театральные постановки, образцом для которых служили спектакли в иезуитских школах конца XVII в., — соединяли «классическую мифологию, средневековую аллегорию и актуальную политику» [Bacht 1991: 35].

В театральных пьесах адаптировался к новой реальности античный культ славы, и на сцене появлялись персонифицированные «Россия» и «слава». По случаю коронации Екатерины Алексеевны в 1724 г. на сцене московского Госпитального театра была поставлена пьеса В. Журовского «Слава Российская» (параллельный латинский заголовок — «Fama Rossiae»)». Главная мысль этого произведения была сформулирована уже в названии: «действия вседержавнейшаго императора всероссийска Петра Перваго, благодения Росси показавшаго и из неславы славу российскую сотворившаго...». Сквозным лейтмотивом пьесы было противопоставление «прежде — ныне»:

Прежде бо аще и много обид и досаждений бедна Россия от прочих наций принимала, но се ныне в великую произиде славу, великая чести достиже, яко славы российская о сем мало не во все концы вселенная гласящи пролетела? [Пьесы школьных театров 1974: 39].

---

<sup>†</sup> Об определении «отечества» и «России» у Феофана Прокоповича см.: [Plokhу 2004].

<sup>\*</sup> О постановках в московском Госпитальном театре см.: [Hughes 2006: 72—73].

Фундамент «славы», если следовать этой концепции, заложил Петр I. «Fama Rossiae» рассказывала о победах России, одержанных под эгидой Нептуна, Паллады и Марса [Пьесы школьных театров 1974: 271]. Россия заключала мир с враждебными державами — Османской империей и др. — и пушки умолкали. «Россия» в этой пьесе выходила на сцену со словами:

Славный Марс военный, Марс мой российский! В мире суть скипетры Перский, Полский, так же Свейский. Дажь покой мечу бранну, глашаст Россия. Да почист убо днесь драга твоя выя [Там же: 271].

В пьесе «Слава российская», как и в последовавшей за нею пьесе «Слава печальная», поставленной после смерти Петра I. наряду с Россией на сцене фигурировали боги и качества характера. Неразрывными с Россией представлялись и назывались «российскими» Слава, Фортуна, Добродетель и бог Марс. С последним отношения у России были особенно тесные: «Марс мой российский!» [Там же: 271]. В то время как военные победы становились основанием нынешней и грядущей «славы российской», прошлое страны описывали антонимы «славы», такие как «обида», «безславиe» и «ззор». Описание минувшего охватывало спектр от полного отрицания в нем какой-либо славы до перечисления бывших «обид»: «Россия бех прежде посмеваема, поругаема, озлобляема, бесчестна, неславна, ныне обогощаема, почитаема, покланяема, страшна врагом и преславна» [Там же: 286].

Воздействие вовне составляло основную функцию «славы». «Слава России» должна была распространяться по всему свету. В условиях полемики о признании за Петром I императорского титула мысль «да не явится Россия в ззор всему свету» представляла собой важный аргумент [Агеева 2010: 6].

Со времен Петра ориентиром в этом дискурсе славы было признание со стороны «общества политических народов», как об этом заявил канцлер Головкин в приветственной речи Петру по поводу заключения Ништадтского мира [Ключевский 1913: 349]. Сравнение с цивилизованными странами, то есть западными державами, было важной деталью. В рамках этого дискурса понятие «России» развивалось в противопоставлении «Европе». Это собирательное понятие служило величиной, которой измерялось понятие «России» и куда должен был дойти слух о ее славе<sup>9</sup>. Хвалебные гимны в честь правления Екате-

---

<sup>9</sup> См., например, речь профессора Московского университета С. Зыбелина «О правильном воспитании» (1775), где говорится о Екатерине II: «Премудро и неусыпно защищая и храня, как чудными и несслыханными никогда на вошь и на

рины II, в том числе сочиненный маршалом Уложенной комиссии в 1767 г., провозглашали:

Вездѣ, гдѣ знаніе царствуетъ, и имя благотѣлительницы наукъ прославляется, Вся Европа чудится купно с нами всеѣмъ. Ея Императорскаго Величества подвигамъ, Дѣла Ея далеко превзошли наше чаяніе! [ПСЗ, I: 18, № 12978, 350].

Самодержца риторика петровской эпохи восхваляла как создателя российской славы: «Ибо когда Петр не был, ниже славы было» [Пьесы школьных театров 1974: 286]. Этой же традиции следовали и его преемники. В риторике екатерининской эпохи данный принцип был сведен в формулу славы: «Тотъ Россію возвысилъ; — Сія украсила и прославила» [Чеботарев 1795: 38]. Члены Уложенной комиссии 1767 г. предваряли изложение своих мнений словами:

Счастливо было любезное отечество, что в нем просиял Самодержавец, наш Премудрый Отец. Государь Великій, Император Петр Первый! Он Россію возвел на высшую степень славы [СРНО. XXXII: 417].

В отличие от них, авторы произведений исторической и художественной литературы относили начало «российской славы» к гораздо более раннему времени. М. Херасков, например, подчеркивал в первом российском национальном эпосе — исторической поэме «Россиада», опубликованной в 1779 г., — имперский характер «славы». По его мнению, слава России начала восстанавливаться после окончательного «освобождения от варварства». Под последним здесь подразумевалось покорение Казанского ханства в 1552 г.: «Чело вѣнчанное Россія подняла, Она съ гѣхъ дней цвѣсти во славу начала» [Херасков 1807: 213].

Наряду с монархами выдающуюся роль в становлении «российской славы» сыграло дворянство. Так, например, в «Жалованной грамоте дворянству», дарованной в 1785 г. «в память о славных деяниях дворянства на службе отечеству», читаем:

---

сущѣ побѣдами, превыше всеѣхъ славы Россію возвела, такъ и миромъ, наконецъ, какого не только Европа не воображала, но и цѣлой никакъ не вѣриль свѣтъ, ко удивлѣнію и позднѣйшихъ потомковъ вселенныя, оградила, изъ котораго, яко изъ источника, не только вѣчная тишина, но и богатства потекутъ изобильно» [Зыбелин 1775: 41]; «Европа» как собирательное понятие в русском контексте XVIII в. еще ждет своего изучения.

Вас хвалим, о потомки, достойные предков своих! Сии были основатели величества России, вы силу и славу отчества совершили шестилетними непрерывными победами в Европе [ПСЗ, I: 22, № 16.187, 346].

В патриотическом дискурсе были востребованы заслуги и пропагандировалась обязанность каждого заботиться о славе<sup>10</sup>. В популярной в то время этимологии, выводившей «словенский язык» от «славы», последняя относилась ко всему народу. «Названный по славному военным дѣйствіямъ народу», говорится в рассуждениях Тредиаковского 1749 г. об этимологии славянского языка как предшественника славено-русского [Тредиаковский 1849: 319, 369]<sup>11</sup>.

Конструкции «слава России» и «слава отчества», сложившиеся в XVIII в., различались не только своим объектом — воображаемой общностью, — но и более существенным светским компонентом и особенностями временной структуры от предыдущих дискурсов. Презентация правителя состояла из четкого противопоставления «прежде» и «ныне», а «слава» служила в первую очередь восхвалению настоящего и будущего.

### «NOMEN EST OMEN»: учения XVIII в.

#### об этимологии понятия «Россия» и о происхождении россиян

Этимологии понятия «Россия» и теории о происхождении россиян разрабатывались в новых жанрах научной коммуникации, систематически «открывавших» Россию: в географических трудах, описаниях отдельных территорий, созданных при подготовке атласа России. Во второй половине XVIII в. они дополнились историческими трудами по российской истории, а также этнографическими описаниями народов империи [Rogger 1960: 194—218]. В этих контекстах и происходила рефлексия о происхождении наименования «Россия» и ее жителей — «россияне», или «россы»<sup>12</sup>. Вопросы этимологии, отграничение от названия «Русь», а также временное измерение — при-

<sup>10</sup> См. в «Словаре Академии Российской» определение значения славы: «Обще признаваемая честь, похвала... уваженіе, славное имя приобретаемое добродѣтелю, заслугами, высокими качествами, знаменитыми дѣяніями, изящными сочиненіями и проч.» [САР<sup>1</sup>, V: 512—513].

<sup>11</sup> О распространении этой этимологии в Киеве начиная с XVII в. см.: [Rothe 1990: 120].

<sup>12</sup> Об употреблении формы «россы», вошедшей в обиход в конце XVII в., ср. [Крестова 1958: 264].

менимость этого понятия к определенным эпохам — представляли собой ключевые проблемы «изобретения традиции» [Вульф 2003], имевшего место в XVIII в.

Большую роль в дискуссии играли теории, сформулированные в 1730—40-х гг. в географических и исторических трудах В. Татищева. Его работы получили широкое распространение и стали неотъемлемой составной частью трудов по русской истории и этнографии [Погосян 1999: 8].

Татищев проводил различие между старым именем «Русь» как наименованием народа и земли и именем «Россия», обозначающим империю и получившим распространение с XVI в. Согласно Татищеву, имя «Россия» как обозначение для империи всю свое происхождение от слова «рассеяние» в значении распространения, умножения:

Российское же имя производится от размножения или, свойственнее сказать, от рассеяния, и едва з 200 токмо далее во употребление вышедшее [Татищев 1950: 144].

Эту этимологию приводил уже С. Герберштейн в своих «Записках о Московии», известных Татищеву [Герберштейн 2008: 35; Rothe 1990: 119]. В XVII в. эту же этимологию развивали киевские ученые авторы. [Sysyn 2003: 113]. Татищев связывал новое наименование «Россия» с понятием империи и с величиной страны как ее главным признаком: «Новое же звание сей империи Россія значит тоже пространство владения, что на сарматском согурима» [Татищев 1950: 108].

Что касается названия жителей этой страны, Татищев приводил всевозможные варианты этимологических объяснений, встречавшихся в литературе: одни выводили имя «Россия» от племени «россы» и их легендарного короля по имени Рос; другие предполагали происхождение россов от народа «росколаны» или предлагали в качестве источника старое обозначение реки Волги — «Ра» или «Рос». Третьи предлагали взять за источник название рыжих (русых) волос жителей. Татищев не отдавал ни одной из указанных теорий определенного предпочтения. Связь между наименованием страны и ее жителей он рассматривал при описании различных народов империи. Описывая первую группу, он принимал для ее названия этимологию «разсеяться»: «(1) древние и природные россияне или русь, кои по всей империи распространяются» [Татищев 1950: 171]. Соответственно, с помощью этнонима «русь» Татищев описывал «природных» россиян, то есть тех, кто распространился на всю территорию империи. Тем самым способность к распространению и к освоению значительных

пространств декларировалась как качество «россиян», а «пространство» стало отправной точкой в описаниях этого народа.

Данный тезис всегда служил аргументом в дискуссии. В то время как Татищев, отправляясь от этимологии «разсеяться», основное внимание обращал на территорию, авторы более позднего времени переносили акцент на жителей и на вопрос об этногенезе «россиян». В. Тредиаковский, например, в 1745 г. писал, что объяснение, согласно которому название «россияне» происходит от глагола «разсеяться», настолько широко распространено, что едва ли кто-то решится выступить против этой теории [Тредиаковский 1963: 473; Sunderland 2004: 94]<sup>13</sup>. Член Петербургской академии наук Г. Ф. Миллер считал, что возводить слово «россияне» к слову «разсеяние», равно как и к «русым волосам», — неверно, хотя причину популярности и распространённости названия «россияне» вместо более старой формы «русские» он усматривал как раз в этой ошибочной этимологизации (от «разсеяние») [Ломоносов 1749: 43; Scholz 2000: 369—375]<sup>14</sup>. И. Болтин в своём труде «Примѣчанія на исторію древнія и нынѣшнія Россіи» также упомянул эту теорию, но отверг её, предпочтя вариант с происхождением от «русых» волос [Болтин 1788: Б 46—48].

Как показала Е. Погосян, этимология, возводящая наименование «россияне» к «разсеяться», у большинства авторов коррелировала с подчёркиванием исконного, самостоятельного формирования славянами собственных постстарых структур. «Россия» и «россы» — формы, которые Татищев называл новыми, — такие авторы, как Ломоносов относили к начальному периоду формирования государственности Руси в X в. В отличие от них, Татищев и Екатерина II в своих исторических сочинениях делали различие между древней «Русью» и новой «Россией» и создавали концепцию полиэтнического происхождения российского народа и государства [Погосян 1999: 13, 19].

В противоположность этому, в историографии и в панегрических речах, равно как и в манифестах правительства, доминировало название «Россия» применительно ко всему периоду — начиная с X в. и вплоть до современности. Так, например, Жалованная грамота дворянству возводила «начала славной истории России» именно к X в.:

<sup>13</sup> См. также «Мнѣніе Профессора Василья Тредіаковскаго о Диссертации Господина Профессора Міллера, данное по указу въ общемъ профессорскомъ Собраніи по свидѣтельствуваніи оныхъ диссертации» [Пекарский, I: 239—244].

<sup>14</sup> В «Происхождение народа и имени российскаго» Миллер приводит «Синописис Киевской» в качестве источника для этимологии [Миллер 2006: 35].

Начальников и предводителей таковых Россия чрез течение 800 лет, от времени своего основания находила посреди своих сынов... [ПСЗ, I: 22, № 16.187, 344].

Профессор истории Московского университета Х. Чеботарев в своей речи «Величие, могущество и слава России», произнесенной по случаю годовщины восшествия на престол Екатерины II в июне 1795 г., утверждал: «Россия, бытием своим, — какое удовольствие! — приближается уже к тысячелетию» [Чеботарев 1795: 6]. Этим подчеркивался континуитет наследия Киевской Руси, а принятие христианства омыслилось как момент возникновения России.

Территориальная концепция этнонима «россияне» получила специфическое развитие в русском издании труда И. Г. Георги, где описывались народы, населявшие Российскую империю. Это «Описание всех обитающих в Российском государстве народов» вышло много лет спустя после немецкого оригинала «Beschreibung aller Nationen des Russischen Reiches» — в 1799 г.<sup>15</sup> В этой книге упоминалось о происхождении этнонима «россияне» от слова «рассеяние», но, ввиду территориальных приращений, произошедших в течение столетия, речь шла уже о распространении «россиян» по всему земному шару. Однако такая этимология была приведена только в русском издании этого фундаментального произведения [Георги 1799, IV: 75]. В немецком оригинале говорилось, что племя «русь» и его земля «Руссия», или «Россия», получили свое название от варягов [Georgi 1776—1780, IV: 471]. Этот вариант дарования имени варягами русское издание замалчивало, утверждая вместо него теорию, согласно которой именная форма «рассеяне» наряду с формами «россы» и «россо-славяне» была известна задолго до Рюрика [Георги 1799, IV: 75]. Тем самым норман-

---

<sup>15</sup> «Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. Творение, за несколько лет пред сим на немецком Иоганна Готтлиба Георги, в переводе на российский весьма во многом исправленное и вновь сочиненное. [...]» Ч. 1—4. СПб., 1799; Первое издание этого историко-статистического труда было напечатано одновременно на немецком, французском и русском языках в 1776—1780 гг.: J. G. Georgi. Beschreibung aller Nationen des Russischen Reiches, ihrer Lebensart, Religion, Sitten und Gebräuche, Wohnungen, Kleidungen und übrigen Merkwürdigkeiten. Bde. 1—4. St. Petersburg. 1776—1780. При этом на русский были переведены только три из четырех томов. Последний том, в котором речь шла о русском этносе, был переведен только в 1799 г. в рамках первого полного издания, выпущенного в свет М. Антоновским.

нской теории было отказано в каком бы то ни было подтверждении, причем не только в том, что касалось присвоения имени «Россия». Это имя собственное интерпретировалось как история постоянного территориального приращения и умножения населения, как синоним «широты и распространения» [Sunderland 2004: 94].

### «РОССИЯ ЕСТЬ ЕВРОПЕЙСКАЯ ДЕРЖАВА»

Форма «Россия» поставила название страны в один ряд с названиями других европейских держав, таких как Франция или Англия, и способствовала европеизации самодержавия [Sunderland 2007: 35]. С XVIII в. понятие «Россия» являлось частью имперского дискурса, подчеркивавшего величину, силу и уникальность страны, ее равенство с другими европейскими державами, а также структурирование и охват пространства государственными законами. Иллюстрацией к этому дискурсу служит утверждение из «Наказа» Екатерины II 1767 г.: «Россия есть европейская держава» [Чечулин 1907: Ст. 6].

Это определение России как «европейской державы» некоторые, однако, ставили под сомнение. В своих примечаниях к «Наказу» Екатерины II князь М. Щербатов, например, отказался назвать «всю Россию» европейской державой, поскольку многие области — Астраханская и Оренбургская губернии и вся Сибирь — лежат в пределах Азии [Щербатов 1935: 18]. Здесь столкнулись друг с другом две различные концепции, которые отражали напряженную многозначность понятия России. Щербатов обращался к географическим аргументам и проводил различие между европейской и азиатской частями России. Подобная дифференциация присутствовала в трудах географов. Здесь в качестве примера приведем еще раз Татищева, также видевшего Россию разделенной на европейскую и азиатскую части [Tolz 2001: 157]. При этом граница проводилась им совершенно иначе. Вопрос, где заканчивается Европа и начинается Азия, являлся в XVIII в. предметом споров естествоиспытателей, географов и картографов. Екатерининская концепция, в отличие от чисто географического определения, исходила из единого потестарного и культурного пространства России и противопоставляла самоопределение Российской империи как европейской державы обвинениям в азиатском деспотизме, раздававшимся в ее адрес. В этой концепции понятие «России» было, как показывает П. Бушкович, династическим, относящимся к государю [Bushkovitch 2003: 147]. «Россия» означала территорию, на которую распространялась власть всероссийских императоров и императриц.



В «Слове похвальном о преславной над войсками свейскими победе», произнесенном в 1709 г., Феофан Прокопович говорит:

Обыиди кто или паче облеги умом — начен от реки нашей Днепра до берегов Евксионовых на полудне, оттуду на восток до моря Каспийского или Хвалинского, даже до предел царства Персидского, и оттуду до далечайших пределов едва слухом ко нам заходящего царства Китаехинского, и оттуду на глубокую полуночь до Земли новой и до берегов моря Ледовитаго, и оттуду на запад, до моря Балтицкаго, — даже паки долгим земным и водным прогяжением прийдещи к помянутому Днепру. Сия бо суть пределы монарха нашего [Прокопович 1961: 25]<sup>16</sup>.

К этому династическому элементу концепции «России» в течение XVIII столетия добавилось еще и культурное определение. Россия с ее территорией, историей, победоносной славой и достижениями в духовной и культурной сферах превратилась в самостоятельную, формирующую сообщество величину. Отправной точкой нового культурного порядка служила территория, на которую распространялась претензия на господство.

Расхожим топосом в правительственном языке стала величина империи. Представление о размерах империи было новым элементом дискурса, возникшим в конце XVII в. У. Сандерленд уже указывал на то, что тема пространства страны приобрела значение в петровское время, к концу XVIII в. прочно закрепившись в различных дискурсивных областях [Sunderland 2007: 46]. «Пространство» было связано с терминами «империя», «Россия» и «Российское государство». В екатерининское время представление о нем стало доминирующим дискурсивным элементом, превратившись в один из неперменных элементов описания империи<sup>17</sup>. «В толь обширной Империи, какова есть Россия, не можно, кажется, довольно подать способ к обращению денег» [ПСЗ, I: 18, № 13.219, 787]. Мысли об обширных пространствах империи содержатся и в «Наказе». Бескрайние территории «российского государства» служили в интерпретации Екатерины II обоснованием самодержавия [Чечулин 1907: ст. 7—10]: «Всякое другое правление не только было бы России вредно, но и вконец разорительно», — говорится в «Наказе» [Там же: ст. 11]. Таким образом самодержавие и пространства России неразрывно связывались друг

<sup>16</sup> Ссылка в [Greenfeld 1992: 226].

<sup>17</sup> Примеры см. в [Sunderland 2007: 61—62]. О топосе пространства в литературе см. также [Baehr 1991: 213].

с другом [Tolz 2001: 159]. В «Начертании о приведении к окончанию Комиссии проекта нового Уложения» 1768 г. эта зависимость формулировалось следующим образом:

Отделение 9, 10 и 11 большого Наказа доказывает ясно, какая необходимость и польза в том, чтоб Россия всегда изображенный в тех статьях род правления сохранила [ПСЗ, I: 18, № 13.095, 503].

Расширение территории империи в екатерининскую эпоху дало новый повод привлечь внимание к размерам страны. Жалованные грамоты перечисляли области, подвластные императрице. При этом в преамбулах к ним подчеркивалось, что титулов владычества так много, что назвать можно лишь самые значительные из них [Там же: 22, № 16.187, 344]. Отдельные государевы титулы были включены в титул «Императора Всероссийского» со времен Петра Великого. Концепция Всероссийской империи вобрала в себя разнообразие подвластных государю территорий и их «многонародие». Понятие «Россия» постулировало единообразие подвластной императрице территории и выражало возвышающуюся над всем целостность империи. В этой концепции размеры страны и множество ее земель были доминирующими элементами. Многочисленность народов играла подчиненную роль, они все растворялись в образе народа ее величества. При этом о государственном народе говорилось как о «российском народе»: множественное число употреблялось в языке правительства лишь изредка [Ширле 2008: 127—129].

Законы — так «Наказ» Екатерины II цитировал максимы Монтескье — должны соответствовать «духу народа» (*l'esprit général; l'esprit de la nation*). Следуя этому утверждению, Екатерина II характеризовала свой народ как «европейский»: Петр I, по ее мнению, «привил европейские права и обычаи европейскому народу» [Чечулин 1907: ст. 7]. Необходимость в этом была вызвана тем, что нравы подверглись изменениям из-за смешения различных народов и покорения чужих провинций.

В случае России, являющейся европейской державой и просвещенной нацией, «Наказ» императрицы подчеркивал силу, с которой форма правления и законы воздействовали на национальный дух. На основании государевых законов «народ российский, сколько возможно по человечеству, учинился в свете благополучнейшим» [Там же: ст. 521]. Этот концепт европейско-российского народа не включал значительную часть жителей государства, указывая, однако, путь к их присоединению — через реализацию единого порядка в империи,

через законы или, как декларировал «Наказ», через осуществление упорядоченного управления. Высшей целью была унификация подвластной территории посредством законов. С утверждением России как культурного пространства — русско-славянского, с претензией на гегемонию — возникли просветительские идеи сближения культур. Исходя из концепции о влиянии единых законов на национальный дух, жители государства, то есть подданные ее императорского величества, также должны были принять единый облик, и тем самым в государстве возник бы единый народ.

В панегирических текстах пространство и многочисленность регионов России также были господствующим элементом: «Видимъ мы, в какомъ пространствѣ промысль божій составилъ Россію» [Гавриил 1773а: 4]. Их дополняло описание «многонародия» империи, благодаря которому эти тексты помещались в число традиционных, ориентированных на западноевропейские и классические традиции описаний империи [Bacht 1991: 49; Живов 1996: 154].

Народности империи были подробно описаны в ходе «изобретения России»: ее открыли, описали, измерили и картографировали. В первую очередь это была заслуга крупных академических экспедиций XVIII в. Созданные ими атласы и описания территорий, а также исторические книги должны были обеспечить возможность познакомиться с Россией. В 1723 г. И. Б. Хоманн на своей карте «*Generalis Totius Imperii Russorum Novissima Tabula*» по просьбе генерал-фельдцейхмейстера И. Брюса заменил в заголовке слово «*Moskoviter*» на словосочетание «*imperii Russorum*», «дабы сделать мою карту также и в России тем более приятною и любимую» [Wittram 1964, 1: 18]<sup>18</sup>. В атласах и на картах в середине столетия возникала «унифицированная картина империи» [Ausi 2006: 31]. Такие издания, как «Открываемая Россия, или Собрание одежд всех народов в Российской Империи обретающихся» (1774 г.), а также другие описания страны и отдельных народов демонстрировали этническое разнообразие среди населявших империю людей.

Составной частью этого «изобретения России» было создание «отечественной» / «российской» культуры, ограниченной пространством, на которое распространялась власть государя. Концепция этой культуры была сформирована с оглядкой на пример других европейских государств. Следовало развивать и распространять все, что со-

---

<sup>18</sup> Об определении «Московия», распространенном прежде всего за границей, см.: [Хорошкевич 2005: 53—57].

ответствовало современным представлениям о «*nation civilisée*» (просвещенной нации), а именно язык, право, историю, литературу.

К середине столетия прилагательное «российский», образованное от топонима «Россия», достигло наивысшей частоты употребления и доминировало во всех сферах культуры<sup>19</sup>. Оно присутствовало везде: от «Российского атласа», работа над которым осуществлялась с 1740-х гг., до многотомных изданий вроде «Российского феатра» (1786—1794). В сфере литературы канон для новой российской поэзии установил В. Тредиаковский в своем трактате 1755 г. «О древнем, среднем и новом стихотворении российском». Н. Новиков в 1772 г. подготовил «Опыт исторического словаря о российских писателях», включив в него 315 литераторов. Создание Российской академии в 1783 г. служило поддержанию и развитию «российского языка». В 1786 г. «российская история» и «российская география» были введены в качестве учебных предметов в учебный план народных школ [ПСЗ, I: 22, № 16421, 641].

Начатки политики памяти и истории были нацелены на создание славного прошлого России и недопущения его забвения. Императорские манифесты датировали основание Российского государства десятым веком и проводили тем самым линию исторического континуитета от средневековой Руси до Российской империи XVIII в.

Прилагательное «русский» употреблялось в историческом контексте, применительно к киевскому периоду формирования империи: «Наши лѣтописи, — и узрите въ нихъ въ самомъ началѣ Руской Исторіи...» [Чеботарев 1795: 8]. В издании Георги на русском языке слово «русский» использовалось как синоним «российского» для прошедших эпох или служило обозначением идеальной Руси до ее отказа от «настоящей» идентичности под воздействием внешних влияний, интерпретируемых как вредные [Георги 1799: 131].

В концепции России как европейской державы религиозный компонент, в отличие от концепта «святой Руси», отступал на задний план. Сохранился образ православной России — страны, избранной Провидением, как, например, в «Стихах похвальных России» В. Тредиаковского 1728 г.: «Твои все люди сугь православныи и храбростию повсюду славны» [Тредиаковский 1963: 60]. Из екатерининской эпохи можно было бы привести в качестве примеров торжественные хва-

---

<sup>19</sup> Форма «российский» как самоназвание использовалась изначально восточнославянскими группами населения польско-литовской дворянской республики. См. [Martel 1938: 15].

любные речи, адресованные государыне, как поздравительная речь профессора Московского университета С. Зыбелина 1775 г.: «Благодаримъ Бога, чудодѣйствующаго всегда в тебѣ, Россія...» [Зыбелин 1775: 42].

Представление о России как религиозной общности подчеркивали прежде всего епископы в своих проповедях и панегирических речах. Они объявляли православную веру конститутивным элементом России, утверждая, что законы этой веры обязательны и для властителя: так, архиепископ Санкт-Петербургский и Ревельский Гавриил в речи 1773 г., обращенной к ее императорскому величеству, провозгласил: «Ваше величество сохраняете законъ Христіанскій. Хранит его и Россія. Вы человеколюбивы: располагаете к тому и Россія» [Гавриил 1773b: 15]. Хвалебные речи прославляли роль монарха/монархини, заступника православной веры: «...извиѣ же за православіе побораю, единовѣрныхъ бодрственно защищает» [Зыбелин 1775: 41]. Сами монархи обращались к этой составляющей части понятия «России» прежде всего в моменты смены власти, пользуясь формулой «спасение России» и утверждая, что защищают православную веру и церковь.

### Отечество Россия

Понятие «России» отражает партикулярные — национальные — элементы универсальной дефиниции «отечества». С формированием патриотического мышления необходимо было определить национальные элементы, представления о «России» и российском отечестве в связи и в разграничении с другими европейскими державами. Сочетания «отчество России» и «российское отчество» объединяли оба элемента: сферы применения терминов «отчество» и «Россия» в значительной степени пересекались. Оба были относительными понятиями, что выражалось сочетанием с притяжательными местоимениями «мой» или «наш»: «Россія, наша единодержавна, Слушатели!», — говорилось в речи Х. Чебогарева при Императорском Московском университете [Чебогарев 1795: 6].

Применительно к «России», и прежде всего в панегирических текстах, доминировали представления о коллективной личности и союзе лиц. В этом смысле «Россия» продолжала традицию термина «Русь», который мог подразумевать как людей страну, так и страну [Sysyn 2003: 114; Kivelson 2006: 8]. Это отличало «Россию» от официальных обозначений страны — «Российское государство» или «Российская

империя», что объясняет, почему термин чаще встречается в эмоционально окрашенной речи и таких жанрах, как панегирик.

Метонимически имя «Россия» могло обозначать также государственную «нацию». В манифесте 1786 г. «Об учреждении Государственного Засного банка» Екатерина II обращалась к своим подданным в экспрессивной манере: «Двадцать пятое лето, Россія, любезный Нашъ народъ!» [ПСЗ, I: 22, № 16.457, 614].

Персонафикация и аллегорические репрезентации России в женском образе встречаются в панегирических текстах, театральных пьесах, фейерверках и на некоторых монетах, начиная с петровского времени. Празднества наглядно представляли абстрактное единство «отечества России» и создавали возможность пережить чувство единства [Schierle 2009: 19—25]. При сравнении использования терминов «Отечество» и «Россия» первый часто появляется в контексте, связанном с угрозой или опасностью<sup>30</sup>. Воображаемое сообщество «отечества» требовало лояльности и активного участия, налагая определенные обязательства. Наименование «отечественной» получила война 1812 г., в которой страна должна была защищаться от внешних врагов.

Напротив, «Россия» связывалась прежде всего с позитивными образами. Панегирическая литература и театральные пьесы представляли достигнутую утопию счастливой празднующей России — страны, где уже осуществлен рай на земле. Панегирические тексты и литература связывали Россию с «мифом о рае» (*«paradise myth»*) [Bacht 1991: 68—69]. Коронационные торжества репрезентировали и прославляли «Торжествующую Россию» или «веселящуюся Россию»: «Намъ воспой торжественно Россія» [Камерфурьерский журнал 1762: 27].

Отзвуки этого панегирического дискурса, конструировавшего «Россию» в качестве действующего лица, представлявшего и создававшего единство, присутствуют в указах и манифестах. Именно из панегирики язык власти заимствует образы «России-матери» и «счастливой России». Язык патриотизма перенес семейные структуры на политическую общность. Личностные метафоры — «сыны России», «сыны Российские», «сыны отечества» — проводили параллель между государственным единством и традиционными структурами церкви («сыны церкви») и семьи [Schierle 2006]. К примеру, надпись на медали, врученной государыней Г. Орлову, гласила: «Россия тако-

---

<sup>30</sup> См., например, в речи Чеботарева 1795 г.: «...ябры, отечество наше въ особенноти всецѣло сохранившей яо всехъ страшнѣйшихъ его опасностяхъ» [Чеботарев 1795: 35].

вых сынов в себе имсет. За избавление Москвы от язвы в 1770 году». [Чисурнов 2002: 110] «От имени всей России» депутаты Уложенной комиссии 1767 г. преподнесли Екатерине почетный титул «мать отечества», объяснив свою инициативу чувством признательности: «глазь благодарственная торжествующей России!». По словам маршала Комиссии, она представляла «Россию въ лицѣ избранныхъ сыновъ» [ПСЗ, I: 18, № 12978, 352].

Это воззвание к России как к сообществу и к «сынам российским» как его представителям усиливало легитимацию власти прежде всего во время перемен правления в XVIII в. — столетии дворцовых переворотов. В эти моменты правительственная риторика усиленно вызвала к любви и согласию в воображаемом отечестве [Schierle 2009: 7]. Несотъемлемыми составляющими формулировок, описывавших восхождение Екатерины на трон, стали воля Божия и желание всех «сынов российских».

Параллельно с этими отголосками концепции общественного договора в первые годы екатерининского правления возникло несколько образцов визуализации «России». На реверсе памятной коронационной медали 1762 г. была изображена аллегория России в образе женщины, держащей, вместе с фигурой, символизирующей Веру, щит с инициалами Екатерины II под надписью «За спасение веры и отечества» [Екатерина Великая 1997: 37]. Аллегорический образ России в виде женской фигуры, вручающей императрице скипетр, был также главным элементом иллюминации, состоявшейся перед зданием Московского университета в день коронации Екатерины II в сентябре 1762 г. Описание иллюминации было издано на нескольких языках. Это было распространенной практикой, поскольку, в соответствии с представлениями современников, визуальный язык требовал введения и разъяснения [Bacht 1991: 59]:

Представляется Портрет Ея Величества Государыни Императрицы, в большей величине настоящего Ея возраста, на высоком педестале, в Императорской мантии. Россия с лежащим подле ея щитом и Гербом, стоит пред оным Портретом на коленях, и подает Ея Величеству правую рукою Скипетр [Описание аллегорической иллюминации 1762].

На одном из соседних обелисков находилось изображение увенчанной России, выводящей на щите слова «VOTA PUBLICA» — «общее всех желание».

С утверждением власти аллегорические образы России исчезли вместе с напоминанием об «общем желании» возвести Екатерину на

престол. «Отечество Россия» символически представлялось в образе государыни или государя. Так, барельеф на камине зала общего собрания Правительствующего Сената, изображавший учреждение наместничеств, описывался в 1779 г. следующим образом: «Россія, во образѣ царствующей монархини, стоящая при группѣ военных орудій, увѣнчанная лаврами...» [Державин 1872: 509].

Барочная риторика «Торжествующей России» встречалась и в таких проектах Екатерины II, как «Наказ», увязываясь здесь с функцией суверена как законодателя [Чечулин 1907: ст. 2, ст. 520]. Достижение государственных целей должно было последовать через законы. Россия представлялась сферой власти с едиными законами<sup>21</sup>.

Концепту России как отечества соответствовало образование понятия «Россиянин», обозначавшего идеального подданного, образцово служащего государю и российскому отечеству. Это понятие репрезентировало новый концепт гражданина государства. В ее основе лежала принадлежность к большому сообществу, в котором каждый как патриот заботился о благе отечества. Почетное звание надо было заслужить, достойным этого имени следовало быть «всякому истинному патриоту и достойному Россіянину» [Чеботарев 1795: 9]. Это патриотическое понятие, связанное с империей, теоретически могло быть распространено на любого подданного Ее величества. «Россіянин» мог обозначать всех подданных ее величества:

...плачевное Отечества состояніе до преславного и на вѣки достопамятного возшествія Богомъ избранныя и вѣнчанныя Всеавгустейшія нашей Самодержицы на Всероссийскій Императорскій Престоль, не токмо всѣмъ Россіянамъ, но и цѣлому свѣту извѣстно [ПСЗ. I: 18. № 12978, 349].

Слово «россияне» было еще и этнической дефиницией. Наряду с словосочетанием «российский народ», то есть народ государства ее величества, понятие «россияне» могло относиться и к славяно-русскому этносу. В этом значении «россиянин» вошел в употребление в XVII в. [Tolz 2001: 158; Plokhy 2004: 362]. В литературе XVII в. этим термином обозначались все восточные славяне или — также возможный вариант — одни украинцы [Sysyn 2003: 132]. Разделы Польши и присоединение бывших областей польской дворянской республики императорские указы приветствовали как объединение «польского народа» с «единоплеменнымъ имъ российским народомъ» [ПСЗ. I: 22,

<sup>21</sup> В этом месте видны сходства с определением Австрии, возникшим в XVIII в., см.: [Klingenstein 1997: 433].



№ 17114, 420]. В описаниях народностей Российской империи речь шла о «россиянах» и других народах империи. Издание Гессе на русском языке 1799 г. включило это определение в заголовок четвертого тома — «О владычествующих россиянах». В рецензии на выпуск 1776 г. в «Санкт-Петербургскія ученые вѣдомости» стоит следующее:

Россійскія Имперія, содержащая пространство нѣсколькихъ тысячъ верстъ, имѣеть обитателями своими, кромѣ 'Россіянь', различныхъ племенемъ народовъ [СПб ученые ведомости 1777: 19].

Князь М. Щербатов, описывая многонациональную империю, противопоставлял россиян иноверцам, принимая тем самым традиционное разграничение и приравнивая «российский» к «православному» [Щербатов 1859: 46].

Эти две области, где применялось понятие «Россиянин», отражали особенности развития империи: «подданный Ее величества» и «патриот» составляют концепт гражданина, открытый для включения извне. Этнические дефиниции — «славяно-русский» или «православный» — исключали другие группы населения многонациональной империи. Многозначность «Россиянина» сделала необходимым новые ограничения, примером чему может служить образование термина «природные Россияне», вошедшего в употребление с середины XVIII в.<sup>21</sup>

В качестве самоназвания «россиянин» мог подчеркивать славянское происхождение и/или легитимировать публичные высказывания и деятельность на общее благо. Авторы представляли свои произведения как, например, «сочинения одного Россиянина» [Болотов 1781] или «Чувствования Россиянина, излинные пред памятником Петра Перваго, Екатериною вторую воздвигнутую» [Шинн 1966: 169—170]. В проповедях и панегирических текстах обращение «россияне» апеллировало к моральным нормам, патриотизму аудитории и принадлежности к новой России. Обозначение «Россиянин» сигнализировало об идентификации с сообществом «Россия», представлявшимся идеалистически, и эмоциональную привязанность к нему: «Всякъ съ радостію слышитъ имя Россіянинъ, всякъ щастіемъ носить сіе именованіе» [Гаврил 1773а: 4].

<sup>21</sup> См. значение, фиксированное в САР<sup>1</sup>: «2) Говоря о жителяхъ страны какой: коренный, подземный, уроженецъ. 'Природный Россіянинъ'» [САР<sup>1</sup>, IV: 49]; см., например, Именной, данный Екатеринославскому Губернатору Каховскому 1792 г. — О предоставленіи Туркамъ, желающимъ поселиться въ Николаевѣ, десятилѣтней льготы, и о правилахъ для такого поселенія: «б. Пользоваться всеми выгодами наравнѣ съ природными Россіянами» [ПСЗ, I: 23, № 17039, 324].

### Выводы

Почему концепт «Россия» оказался успешным? С его помощью в течение XVIII в. была создана общность, к которой можно было апеллировать и от имени которой действовать, общность, для которой различные средства коммуникации создавали те или иные формы репрезентации. Россия «прославлялась» в фейерверках и праздничных шествиях, являлась на сцене, получала образное воплощение в атласах. Семантика «России» определялась практикой сравнения: с одной стороны — временного, через различие «прежде» и «ныне», с другой стороны — культурного, в ее отношении к Европе и провозглашении ее «европейской державой».

С сотворением «отечества Россия» было связано создание уникальной культуры. С «Россией» были связаны язык, литература, история, законы и т. д. «Отечество» стало единственным в своем роде. В правительственной риторике представление о разнообразии частей государства перекрывалось целью создания единых законов. Традиционные смысловые компоненты — «православный» и «славянский» — сохранились в понятиях «российский» и «Россия» так, как они сформировались в XVII в. Расширение пространства, обозначаемого династическим понятием «Россия», было возможно, поскольку это понятие описывало и область, на которую распространялась власть российского императора, и границы «отечества».

По сравнению с официальными наименованиями — «Российское государство» и «Всероссийская империя» — топоним «Россия» обладал преимуществом, возникавшим из его связи с представлением о союзе лиц и с гендерной метафорой.

### Источники

- Болотов 1781 — *Болотов А. Т.* Чувствования христианина при начале и конце каждого дня в неделе, относящиеся к самому себе и к Богу. Сочинение одного Россиянина. М., 1781.
- Болтин 1788 — Примѣчанія на исторію древнія и нынѣшнія Россіи г. Леккерка, сочиненныя генераль майоромъ Иваномъ Болтинымъ. Спб., 1788.
- Гавриил 1773а — Слово на высокаторжественный день коронованія всепресвѣтлѣшія великія Государыни Императрицы Екатерины Алексѣевны Самодержицы всероссійскія, проповѣданное синодаль-

- ным членомъ *Гавриломъ* Архіепискомъ, Санктпетербургскимъ и Ревельскимъ, и архимандритомъ Святотроицкого монастыря в придворной церкви 1773 года. СПб., 1773.
- Гаврил 1773б — [*Гаврил.*] Рѣчь, говоренная въ сей же день Ея Императорскому Величеству. СПб., 1773.
- Георги 1799 — *Георги Й. Г.* Описание всех обитающих в Российском государстве народов, их житейских обрядов, обыкновений, одежд, жилищ, упражнений, забав, вероисповеданий и других достопамятностей. Творение, за несколько лет пред сим на немецком Иоганна Готтлиба Георги, в переводе на российский весьма во многом исправленное и вновь сочиненное. (...) Ч. 1—4. СПб., 1799.
- Герберштейн 2008 — *Герберштейн С.* Записки о Московии / Под ред. А. Л. Хорошкевич. Т. 1: Латинский и немецкий тексты / Русские пер. с латинского А. И. Малцина, А. В. Назаренко, с ранненововерхнемецкого А. В. Назаренко. М., 2008.
- Державин 1872 — Сочинения Державина с объяснительными примечаниями Я. Грота. СПб., 1872.
- Зыбелин 1775 — Слово на высокаторжественный день рожденья Ея Императорскаго Величества, всепресвятѣйшія великія Государыни Императрицы Екатерины Алексѣевны, Самодержицы Всероссійскія, говоренное въ публичномъ Императорскаго Московскаго Университета Собраніи Медицины Докторомъ Семеномъ Зыбелинымъ. Апрѣля 22 дня. 1775 года. Печатано при Императорскомъ Московскомъ Университетѣ.
- Камерфурьерский журнал 1762 — Обстоятельное описание торжественных порядков благополучного вшествія в Императорскую древнюю резиденцію, богоспасаемый град Москву, і освященнѣйшего коронованія Ея Августѣйшаго величества, (...) 1762 года. б. м.
- Ломоносов 1749 — *Ломоносов М.* Замечания на ответы Миллера [1749] // <http://feb-web.ru/feb/lomonos/texts/lo0/lo6/lo6-0422.htm>.
- Миллер 2006 — *Миллер Г. Ф.* Избранные труды / Сост., вступит. ст., примеч. С. С. Илизарова. М., 2006.
- Описание аллегорической иллюминации 1762 — Описание аллегорической иллюминации, представленной во всерадостнѣйшій день коронации Ея Императорскаго величества, Екатерины Вторыя, самодержицы Всероссійскія, (...) въ Москвѣ предъ Университетскимъ домомъ, 1762 году. Сентября дня.
- Пнин 1966 — *Пнин И.* Чувствования Россиянина, изливаемые пред памятником Петра Перваго, Екатериною вторую воздвигнутую // Русские просветители (от Радищева до декабристов). Собр. произведений: В 2 т. М., 1966. Т. 1. С. 169—170.

- Прокопович 1961 — *Феофан Прокопович. Сочинения* / Под ред. И. П. Еремина. М., 1961.
- ПСЗ, 1—45 — Полное собрание законов Российской империи [Собрание первое]. Т. 1—45. СПб., 1830.
- Пьесы школьных театров 1974 — Пьесы школьных театров Москвы. М., 1974.
- Санктпетербургские ученые ведомости 1777 — Санктпетербургские ученые ведомости на 1777 год Н. И. Новикова. Изд. 2-е А. М. Неустрова. СПб., 1873 (Slavica Reprint № 53. Düsseldorf, 1970).
- САР<sup>1</sup>, I—VI. — Словарь Академии Российской. Ч. I—VI. СПб., 1789—1794.
- СРНО, I—CXLVIII — Сборник Русского исторического общества. Т. I—CXLVIII. СПб./Пг., 1867—1916.
- Татищев 1950 — *Татищев В.* Избранные труды по географии [1736; 1746]. М., 1950.
- Тредиаковский 1849 — *Тредиаковский В. К.* Три разсуждения о трех главнейших древностях российских // Сочинения Тредиаковского. СПб., 1849. Т. 3.
- Тредиаковский 1963 — *Тредиаковский В. К.* Избранные произведения. М.; Л., 1963.
- Херасков 1807 — *Херасков М.* Россиада. Ироническая поэма. М., 1807. [Репринт: Мюнхен, 2003.]
- Чеботарев 1795 — Величие, могущество и слава России, дарованная ей Провидѣнием чрез великих ся Самодержцев, изображенная въ торжественномъ словѣ, на всерадостный день восшествия на Всероссийскій престолъ величайшія в мірѣ Самодержицы. Всемилостивѣйшія Государыни Императрицы Екатерины Вторыя, Премудрыя Матери Отечества, празднованный публичнымъ собраніемъ въ Императорскомъ Московскомъ Университетѣ Іюня 30 дня 1795 года произнесенномъ Падворнымъ Совѣтникомъ, Исторіи, Нравоученія и Краснорѣчія Профессоромъ и Университетскимъ Библиотекаремъ Харитономъ Чеботаревымъ. Печатано в Москвѣ.
- Чечулин 1907 — Наказ Императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения [1767] / Под ред. Н. Н. Чечулина // Памятники русского законодательства 1649—1832 гг., издаваемые Императорской Академией Наук. СПб., 1907.
- Щербатов 1859 — *Щербатов М.* Статистика в разсуждении России// Чтения в императорском обществе истории и древностей. М., 1859. Вып. 3. Ч. II. С. 1—96.
- Щербатов 1935 — *Щербатов М.* Замечания на Большой Наказ [1767] // Незданные сочинения. М., 1935. С. 16—63.

Georgi 1776—1780 — *Georgi J. G. Beschreibung aller Nationen des Russischen Reiches, ihrer Lebensart, Religion, Sitten und Gebräuche, Wohnungen, Kleidungen und übrigen Merkwürdigkeiten. Bde. 1—4. St. Petersburg. 1776—1780.*

## ЛИТЕРАТУРА

- Агеева 2010 — *Агеева О. Г.* Титул «император» и понятие «империя» в первой четверти XVIII века // <http://www.tellur.ru/~historia/archive/05/ageyeva.htm> [19.05.2010].
- Буркхардт 1996 — *Буркхардт Я.* Культура Италии в эпоху Возрождения: Опыт / Под ред. К. А. Чекалова; пер. с нем. и послесл. А. Е. Махова. М., 1996.
- Вульф 2003 — *Вульф Л.* Изобретая Восточную Европу: Карта цивилизации в сознании эпохи Просвещения. М., 2003.
- Екатерина Великая 1997 — *Екатерина Великая и Москва. Каталог выставки.* М., 1997.
- Живов 1996 — *Живов В. М.* Государственный миф в эпоху Просвещения и его разрушение в России конца XVIII века // Из истории русской культуры. Т. IV (XVIII — начало XIX века). М., 1996.
- Клейн, Живов 2007 — *Клейн И., Живов В.* Русская ода: история жанра. [Рсц. на кн.:] *Алексеева Н. Ю.* Русская ода // ПЛО. 2007. 87.
- Ключевский 1913 — *Очерки и речи. Второй сборник статей В. Ключевского.* М., 1913.
- Крестова 1958 — *Крестова Л. В.* Отражение формирования русской нации в русской литературе и публицистике первой половины XVIII в. // Вопросы формирования русской народности и нации: сборник статей. Л., 1958.
- Лихачев 1978 — *Лихачев Д. С.* «Слово о полку Игореве» и культура его времени. Л., 1978.
- Пекарский, I—II — *Пекарский П. П.* История императорской Академии наук в Петербурге. Т. I—II. СПб., 1870—1873.
- Погосян 1999 — *Погосян Е.* Русь и Россия в исторических сочинениях 1730—1780-х годов // Культурные практики в идеологической перспективе. М.; Венеция, 1999. С. 7—19.
- Стефанович 2003 — *Стефанович П.* «Честь» и «слава» на Руси в X — начале XIII вв.: терминологический анализ // [www.historia.ru/2003/02/stefan.htm](http://www.historia.ru/2003/02/stefan.htm).
- Тихомиров 1979 — *Тихомиров М. Н.* Происхождение названий «Русь» и «русская земля» // *Тихомиров М. Н.* Русское летописание. М., 1979. С. 22—48.

- Фасмер, I—IV — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М., 1964—1973.
- Хорошкевич 2005 — *Хорошкевич А.* Россия или Московия? В каком государстве было смутное время? // *Родина*. 2005. № 11. С. 53—57.
- Чепурнов 2002 — *Чепурнов Н. И.* Наградные медали Государства Российского. М., 2002.
- Ширле 2008 — *Ширле И.* Учение о духе и характере народов в русской культуре XVIII в. // «Вводя нравы и обычаи Европейские в Европейском народе». К проблеме адаптации западных идей и практик в Российской империи / Сост. А. В. Доронин. М., 2008. С. 119—137.
- Aust 2006 — *Aust M.* Vermessen und Abbilden des russländischen Raumes nach der kulturellem Revolution Peters des Großen // *Behrisch L.* (ed.). Vermessen, zählen, berechnen. Die politische Ordnung des Raums im 18. Jahrhundert. Frankfurt, 2006. S. 27—44.
- Bachr 1991 — *Bachr St. L.* The Paradise Myth in Eighteenth-Century Russia. Stanford, 1991.
- Blum 2001 — *Blum P.* Europa — ein Appellbegriff // *Archiv für Begriffsgeschichte*. 43. 2001. S. 149—171.
- Bushkovitch 2003 — *Bushkovitch P.* What is Russia? Russian National Identity and the State, 1500—1917 // *A. Kappeler A., Kohut Z. E., von Hagen M.* (eds.). Culture, Nation, and Identity. The Ukrainian-Russian Encounter (1600—1945). Edmonton; Toronto, 2003. P. 144—161.
- Greenfeld 1992 — *Greenfeld L.* Nationalism. Five Roads to Modernity. Cambridge, 1992.
- Hughes 2006 — *Hughes L.* Russian Culture in the Eighteenth century // *The Cambridge History of Russia. Vol. II: Imperial Russia, 1689—1917.* Cambridge, 2006. P. 67—91.
- Kivelson 2006 — *Kivelson V.* Cartographies of Tsardom: The Land and its Meanings in Seventeenth-Century Russia. Ithaca, 2006.
- Klingenstein 1997 — *Klingenstein G.* The meanings of 'Austria' and 'Austrian' in the eighteenth century // *Oresko R.* (ed.). Royal and Republican sovereignty in early modern Europe. Cambridge, 1997. P. 423—478.
- Martel 1938 — *Martel A.* La Langue Polonaise dans les Pays Ruthènes: Ukraine et Russie Blanche, 1569—1667 // *Travaux et Mémoires de l'Université de Lille. Nouvelle Série — Droit et Lettres*. 1938. № 20. P. 38—43.
- Plokhly 2004 — *Plokhly S.* The Two Russia of Teofan Prokopovych // *Siedina G.* (ed.). Mazepa e il suo tempo: Storia, cultura, società. Alessandria, 2004. P. 333—366.
- Rogger 1960 — *Rogger H.* National Consciousness in Eighteenth-Century Russia. Cambridge (Mass.), 1960.

- Rothe 1990 — *Rothe H.* What is the meaning of "Rossijskij" and "Rossija" in the Polish and Russian Conception of State in the 17th Century? // *Recherche Slavistique*. 37. 1990. S. 111—122.
- Schierle 2006 — *Schierle I.* "Syn otecestva" "Der wahre Patriot" // *Thiergen P.* (Hrsg.). *Russische Begriffsgeschichte der Neuzeit*. Köln; Weimar; Wien, 2006. S. 347—367.
- Schierle 2009 — *Schierle I.* Patriotism and Emotions // *Ab Imperio*. 2009. P. 65—93.
- Scholz 2000 — *Scholz B.* Von der Chronistik zur modernen Geschichtswissenschaft. Die Warägerfrage in der russischen, deutschen und schwedischen Historiographie. Wiesbaden, 2000.
- Sunderland 2004 — *Sunderland W.* Taming the Wild Field: Colonization and Empire. Ithaca (NY), 2004.
- Sunderland 2007 — *Sunderland W.* Imperial Space: Territorial Thought and Practice in the Eighteenth Century // *Burbank J., von Hagen M., Remnev A.* Russian Empire. Space, People, Power, 1700—1930. Bloomington; Indianapolis, 2007. P. 33—66.
- Sysyn 2003 — *Sysyn F.* The Image of Russia and Russian-Ukrainian Relations in Ukrainian Historiography of the Late Seventeenth and Early Eighteenth Centuries // *Kappeler A., Kohut Z. E., von Hagen M.* (eds.). *Culture, Nation, and Identity. The Ukrainian-Russian Encounter (1600—1945)*. Edmonton; Toronto, 2003. P. 108—143.
- Sysyn 2004 — *Sysyn F.* Fatherland in Early Eighteenth-Century Ukrainian Political Culture // *Siedina G.* (ed.). *Mazepa e il suo tempo: Storia, cultura, società*. Alessandria, 2004. P. 39—53.
- Tolz 2001 — *Tolz M.* Russia. London, 2001.
- Wittram 1964 — *Wittram K.* Peter I. Czar und Kaiser. Zur Geschichte Peters des Großen in seiner Zeit. 2 Bde. Göttingen, 1964.
- Yakovenko 2009 — *Yakovenko N.* Choice of Name versus Choice of Path. The Names of Ukrainian Territories from the Late Sixteenth to the Late Seventeenth Century // *Kasianov G., Ther P.* (eds.). *A Laboratory of Transnational History. Ukraine and Recent Ukrainian Historiography*. Budapest; New York, 2009. P. 117—148.

## «ГОСУДАРЕВА ВОЛЯ» И «ЗАКОН» В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ ВТОРОЙ ПОЛОВИНЫ XVIII ВЕКА\*

Актуальность и продуктивность использования исследовательских приемов *Begriffsgeschichte* или *History of Concepts*<sup>1</sup> давно уже признана многими специалистами. Методы *понятийной истории* позволяют глубже проникнуть в текст источника и получить результаты, которые сложно было заранее спрогнозировать.

В данной статье предпринята анализа смыслового содержания такого важнейшего понятия русского языка XVIII столетия, как *закон*. Семантическое исследование этого понятия позволило в конечном итоге углубить представления о механизме и результативности действия социального контроля престола, самоидентификации власти, ценностных приоритетах и повседневной жизни высшего сословия. В работе учитывались не только ясно артикулированные определения слова *закон* в официальных источниках и документах, исходящих из наиболее образованной среды, но и обстоятельства «бытования» этого понятия, т. е. учитывались некоторые социальные практики, так или иначе с ним связанные. Сравнительное сопоставление терминологии различных по своему авторству, социальным функциям и видовой принадлежности источников еще раз подтвердило, что язык является и индикатором, и катализатором глубинных процессов, происходя-

---

\* Исследование выполнено в рамках Программы фундаментальных исследований Президиума РАН «Историко-культурное наследие и духовные ценности России».

<sup>1</sup> Ведущими представителями этого направления в развитии исторической науки считаются Р. Козеллек, К. Скиннер, М. Покок [Koselleck 1979; Skinner 1978; Россок 1972]. Подробное историографическое исследование так называемого «лингвистического поворота» предпринял в своей обобщающей монографии Н. Е. Копосов [Копосов 2001: 284—294].



щих в общественном сознании, которые не всегда прочитываются при иллюстративном использовании документов. Тем не менее несколько прояснившаяся картина оказалась достаточно противоречивой и даже парадоксальной.

Понятие *закон* в русском языке XVIII столетия было многозначно и имело отношение к социальной, религиозной, духовной сферам жизни современников. На основании «Словаря русского языка XVIII века» можно выделить целый ряд определений, демонстрирующих богатейшее смысловое наполнение этого понятия. В рассматриваемый период различали *гражданский, криминальный, всемирный, откровенный, обычный закон; закон христианский, магометанский, еврейский, идо-лопоклоннический; закон чести, закон Моисеев, закон движения, закон математический* и т. д. (см. например [СРЯ XVIII, 7: 244—251]).

Для понимания внутреннего мира человека XVIII столетия особое внимание следует обратить на соотнесение *закона государственного* и *Божественного*. В «Генеральном плане московского воспитательного дома» так и провозглашалось — «человек живет по законам государственным и Божественным» [ПСЗ, XVIII: № 12957. С. 311, 317. 1767, 11 августа]. Однако анализ частной переписки, воспоминаний и публицистики обнаружил слабую корреляцию между религиозной верой и правовым сознанием на уровне повседневной практики. Зато в законодательных актах апелляция к догматам Нового и Ветхого завета встречалась довольно часто. Содержание исходящих от престола указов свидетельствовало, что власть прагматично использовала авторитет веры для усиления идеологической составляющей своих указов. Так, например, многочисленные обращения к священному писанию содержались в обширной «Сентенции о наказании смертною казнию изменника, бунтовщика и самозванца Пугачева и его сообщников». Аргументация необходимости жестокого наказания была усилена цитатами из Книги Премудрости Соломона, четвертой книги Моисеевой, Евангелия от Марка, Матвея, Иоанна, послания апостола Павла к римлянам и первого послания апостола Павла к коринфянам. В результате следовал очевидный вывод — «наистрожайшая смертная казнь предписывалась вам Божественными и гражданскими законами и вечная мука по священному писанию» [ПСЗ, XX: № 14233. С. 1—15. 1775, 10 января].

Христианские ценности в правовых актах использовались как мощное дисциплинирующее орудие и в то же время средство для смягчения нравов. Неслучайно «Устав благочиния или полицейский»

начинался с изложения «правил добронравия», сформулированных в прямом соответствии с заповедями Нагорной проповеди: «не чини ближнему, чего сам терпеть не хочешь; блажен кто и скот милует, буде скотина и злодея твоего спотыкнется, подыми ее» [ПСЗ, XXI: № 15379. С. 464—465. 1782, 8 апреля]. Однако несмотря на провозглашенный в «Присяге депутатам, вступающим в Комиссию о сочинении проекта нового Уложения» тезис о том, что «правосудие истекает из правил богоугодных, человеколюбие вселяющих и добронравие» [ПСЗ, XVIII: № 12945. С. 181. 1767, 24 июля]. Екатерина предостерегала от смешения «оснований, долженствующих управлять людьми» [Там же: № 12950. С. 281. 1767, 30 июля].

Понятие *закон*, так или иначе восходящее к высоким теософским смыслам пятикнижия Моисея и Нового Завета, в рассматриваемый период имело, разумеется, не только духовное, но и исключительно светское содержание и осознавалось современниками как главное орудие управления государством и главная prerogative самодержца. В официальном и панегирическом контексте эта персона именовалась помазанником Божиим или Божиим министром и располагалась на самой вершине сословной пирамиды. Высочайшие решения реализовались с помощью *государственного закона*<sup>2</sup>, который получил как бы второе издание своего возвышенного смысла, но уже через сакрализованный образ светского правителя.

Политическая теория абсолютизма отличалась убежденностью в особой силе *регулярного* или *благоустроенного* государства, призванного установить разумный миропорядок. В рассматриваемый период сложился свой идеальный образ монарха, черты которого в той или иной степени должны были воплощаться в персонах реальных правителей. Одной из наиболее ярких эталонных характеристик венценосной особы века Просвещения считался дар успешного преобразователя, приобщающегося одновременно к искусствам и рациональным знаниям<sup>3</sup>.

Политическое мышление XVIII века образ монарха-законодателя связывало не с безграничной властью, а с талантом верховного правителя. Еще современники главную заслугу Екатерины II видели в

---

<sup>2</sup> Государственные законы иногда также определялись как *светские* или *гражданские* [Там же: № 13095. С. 505. 1768, 8 апреля].

<sup>3</sup> См., например: Записка о воспитании детей, тут же писанная императрицей Екатериною II копия наставления, данного прусским королем Фридрихом-Вильгельмом подполковнику Рохову касательно воспитания старшего сына его величества 1779 г. (РГАДА. Ф. 2. Оп. 1. Ед. хр. 113).

укреплении силы «российского главного права» и введении «непреложных законов», которые и составляют «тело государства»<sup>4</sup>.

Большая часть исследователей придерживается мнения, что именно с правления Петра I главным источником права становится *закон*, на протяжении XVIII века подчиняющий своей регламентирующей силе все более обширное пространство социальной жизни. Теряющий значимость *обычай* продолжает оказывать еще ощутимое влияние лишь в среде крестьянства и сельской общины<sup>5</sup>. В связи с этим в историографии выдвигается тезис об охранительном характере опирающегося на традицию законодательства в Московском государстве и реформаторской сущности правовой политики власти в XVIII столетии.

Действительно, еще в 1722 году был издан именной указ «О хранении прав гражданских, о невершении дел против регламентов и имени сего указа во всех судебных местах на столе». В этом документе формулировались положения, гарантирующие полный приоритет закона в правовой сфере. Все чиновники строжайшим образом должны были опираться в своих действиях на регламенты, знать и точно понимать их содержание. О случаях неизбежно возникающих противоречий между казусом и законом, когда «такое дело, что па оное ясного решения не положено», предписывалось отправлять доношение в Сенат. В свою очередь от Сената и коллегий требовалось обобщать поступающие с мест данные и составлять «мнения», которые становились основой нового указа, скрепляемого именем императора и включасмого в единую систему регламентов. Иными словами, отрицалась традиционная система, когда «законы писались все, их не хранили или играли как в карты, прибирая масть к масти» [ПСЗ, VI: № 3970. С. 656—657. 1722, 17 апреля]. Очевидно, что в этом указе

---

<sup>4</sup> См., например: Речь, говоренная от лица депутатов маршалом Ее императорскому величеству с признательностью за данный для сочинения Уложения Наказ [ПСЗ, XVIII: № 12978. С. 349—355. 1767, 27 сентября]; Неизвестный автор. Правила трактатов (РГАДА. Ф. 1274. Оп. 1. Ч. 1. Ед. хр. 162. Л. 264—265<sup>р</sup>).

<sup>5</sup> См., например, [Владимирский-Буданов 1915: 270; Мионов 1999, II: 137]. Однако следует отметить, что общепринятое в исследованиях по истории права мнение о кардинальном изменении соотношения *обычая* и *закона*, за которым утвердился полный приоритет к началу XIX столетия, несколько огрубляет представление о реальной политике российской монархии. Достаточно заметить, что во время правления Екатерины II, когда шло стремительное расширение границ империи, был провозглашен принцип следования местным традициям при главенстве только фундаментальных государственных законов на период введения нового административного управления присоединенных территорий.

отразился факт возникновения нового правового пространства, которое будет развиваться на протяжении всего XVIII столетия и основываться на следующих принципах: строгое следование законам, действующим на основе пресметственности, целенаправленное устранение пробелов в нормативных актах, правовое просвещение должностных лиц и т. п.

Тем не менее единственным источником законов о «государственных генеральных делах» на протяжении всего столетия оставался самодержавный монарх: законодательство определялось волей императора и являлось ее выражением. Этот тезис сохранял свою актуальность на протяжении всего XVIII столетия и в практике принятия новых правовых актов, и в сфере общественного сознания, и в отношении самооценки верховной власти. Абсолютный правитель являлся главным субъектом законотворчества, поскольку право издания новых законов принадлежало только императору, а Сенат, Синод, коллегии и другие учреждения могли лишь обращаться к нему с предложениями. Подданные воспринимали решения самодержца как закон, что еще более возвышало образ монарха и препятствовало формированию собственно правового мышления у современников<sup>6</sup>.

В официальной доктрине вполне логично аргументировалось тождество воли монарха и закона, авторитет которого гарантировался «самодержавною, от Бога данною властью» [ПСЗ, XXI: № 16407. С. 617. 1786, 28 июня].

Общество не может быть без правления, — провозглашалось в «Генерал-прокурорском наказе при Комиссии о составлении проекта нового Уложения», — ...соединение всех особенных сил составляет то, что называют состоянием государственным. Сия общая сила в России вручена одному и то есть ее естественное положение. ... Империя перестала бы быть могущественна, если б иначе управляема была [ПСЗ, XVIII: № 12950. С. 282. 1767, 30 июля].

Несмотря на то что в первых строках Наказа Россия была провозглашена «европейской державой» [Екатерина 1907: 2], официальная идеология постоянно настаивала на принципиальной особенности империи, определяемой ее громадной территорией. В документах,

---

<sup>6</sup> А. П. Медушевский вообще полагает, что «ключ к пониманию Просвещенного абсолютизма — борьба за введение власти в пределы законности: в этих попытках выявляется граница, которая отделяет монархию от деспотии, просвещенный абсолютизм от непросвещенного, законную монархию от полицейского или регулярного государства» [Медушевский 2006: 91—110].

исходящих от престола, неоднократно отмечалось, что в «столь обширном» государстве возможно лишь единоличное самодержавное правление и крайне опасно любое «раздробление и ослабление» власти<sup>7</sup>. В данном контексте указывалось, что и Петр Великий понимал, насколько условия, обычаи и традиции России отличаются «всех прочих европейских государств, кои он видел». Именно поэтому первый император «с удивительным разума своего прониканием узнал», что следует «ему самому всем управлять»<sup>8</sup>. Все усилия и Петра, и Екатерины II направлялись на «пользу Империи», «ибо сохранение в целостности Государства есть самый высочайший закон» [ПСЗ, XVIII: № 12950. С. 283. 1767. 30 июля].

Перу Екатерины принадлежит и собственная «Правда воли монаршей», которую она назвала «О пресимуществе Императорского Величества»<sup>9</sup>. Этот документ императрица тщательно прописала в черновом варианте, а затем подготовила беловую рукопись. Неопровержимые «преимущества» самодержавного правления были сформулированы в записке предельно четко: в руках монарха сосредоточена неограниченная власть, дающая ему исключительное право «чинить мир и войны», «посылать послов», «жаловать достоинство, чины, имение» «кому заблагорассудит», «простить вины» и помиловать.

Вслед за Петром, провозгласившим — «Его Величество есть Самовластный Монарх, который никому на свете о своих делах ответа дать не должен»<sup>10</sup>, Екатерина столь же властно подводит в сво-

---

<sup>7</sup> См., например: [Екатерина 1907: 3—5]; Секретнейшее наставление князю Александру Вяземскому (РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 10. Л. 1—5); [Безбородко 1858: 137] и др.

<sup>8</sup> См., например: Генеральный план Московского Воспитательного дома [ПСЗ, XVIII: № 12957. С. 311, 317. 1767. 11 августа]. В этом же документе с детской наивностью специально для воспитанников объяснялось, что без законов государя «истребили бы нас неприятели наши, растерзали бы нас *дикие звери* в жилищах наших» [Там же: 316].

<sup>9</sup> Записка императрицы Екатерины «О преимуществе Императорского Величества» (РГАДА. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 324. Л. 1—4<sup>и</sup>). Кроме того, в черновых бумагах императрицы была обнаружена неотредактированная записка «О роде и наследии Императорского Величества», которая включала отдельные комментарии «Правды воли монаршей» и собственные соображения Екатерины по поводу назначения наследника престола правящим монархом, а также некоторые другие законодательные акты на английском и французском языках (РГАДА. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 325). Для сравнения см.: Устав о наследии престола [ПСЗ, VI: № 3893. С. 496—497. 1722. 5 февраля]; Правда воли монаршей [ПСЗ, VII: № 4870. С. 602—643. 1726. 21 апреля].

<sup>10</sup> См., например, Воинский устав [ПСЗ, V: № 3006. С. 324. 1716. 30 марта].

ей записке черту — император «отчеству же в делах на сем свете не подвержен», а даст отчет и «благодарение Единому Творцу Нашему Богу» (РГАДА. Ф. 10. Оп. 2. Ед. хр. 324. Л. 4—4').

Однако подобная бесконтрольность оказалась обременительной прежде всего для абсолютной власти. На протяжении XVIII века российские императоры сами неоднократно пытались разграничить любое «государево слово» и закон. Устные распоряжения противопоставлялись «письменным и зарученным» указам еще по Генеральному регламенту 1720 года. В традициях петровского законодательства параграф IV «Об исполнении указов» сопровождался доходчивым толкованием. Пояснялось, что словесные приказы пригодны только для подготовки письменных [ПСЗ, VI: № 3534. С. 141—160. 1720, 28 февраля].

После смерти Петра I ставилось под контроль, прежде всего, содержание повелений, объявляемых от лица монарха, собственное же высочайшее слово не подлежало регламентации и имело силу закона. Однако определялись наиболее важные государственные дела — «выдача сверх штату денег и прочее тому подобное, что регламентам противно» — решение по которым должно приниматься только на основании указов, лично подписанных либо императрицей, либо членами Верховного тайного совета [ПСЗ, VII: № 4862. С. 596—597. 1726, 28 марта; Там же: № 4945. С. 684—685. 1726, 5 августа].

При Анне Иоанновне действие устных высочайших указов было ограничено лишь придворной сферой, «что до строения домов и садов наших надлежит». В масштабе же всей страны именной указ признавался действительным только за подписанием самой императрицы, или трех кабинет-министров [ПСЗ, IX: № 6745. С. 529. 1735, 9 июня; Там же: № 6773. С. 548. 1735, 16 июля]. В царствование Елизаветы Петровны слово монарха получает еще более жесткую регламентацию. В 1743 году императрица предписала «в Сенат никаких предложений... без письменных наших указов за нашу рукою в действие не производить» [Там же: № 8695. С. 753. 1743, 10 января]. Петр III из компетенции устных распоряжений изъяс решения о «лишении живота, чести и имения», «раздачу денежных сумм свыше 10 000 рублей», «награждение деревнями и чинами свыше подполковника». Также объявлялось, что словесные повеления императора не должны противоречить уже принятым законодательным актам и могут доводиться до сведения подданных лишь сенаторами, генерал-прокурором и президентами первых трех коллегий. Более того, император потребовал еженедельно предоставлять ему копии его же словесных распоряже-

ний с «надлежащею отметкою об исполнении» [ПСЗ, XV: № 11411. С. 889—890. 1762, 22 января].

3 июля 1762 года Екатерина II практически полностью воспроизвела содержание этого указа, лишь через несколько месяцев включив генерал-адъютантов и правящего Кабинетом Ее Величества в круг государственных лиц, имеющих право объявлять словесные повеления высочайшей персоны. В начале 1763 года список чиновников, провозглашающих государеву волю, был дополнен за счет духовного ведомства обер-прокурором и членами Синода [ПСЗ, XVI: № 11592. С. 9—10. 1762, 3 июля; Там же: № 11704. С. 107. 1762, 7 ноября; Там же: № 11746. С. 152. 1763, 3 февраля].

Таким образом постепенно формировалось представление о законе как о воле государя, соответствующим образом зафиксированной и оформленной. При этом специфика законодательства как источника, рассчитанного не просто на провозглашение, а прежде всего на неукоснительное исполнение, определила характер наиболее важных нормативных актов. Особой значимостью были наделены именные свосручно подписанные указы, устанавливающие новые юридические нормы и доводимые до сведения всего населения, поскольку «закон силу свою приемлет от того времени, когда получен и обнародован будет» [ПСЗ, XVII: № 12710. С. 875. 1766, 31 июля; ПСЗ, XXII: № 15320. С. 376—377. 1782, 10 января; и др]. Подобная тенденция в направлении разграничения слова императора и закона повышала ответственность венценосной особы за принимаемые решения и стимулировала рост уважения подданных именно к законодательному акту, а не к любой прихоти монарха<sup>11</sup>.

По всей видимости, Екатерина сама признавала обязанность высочайшей персоны следовать установленным правилам. В Наказе было заявлено, что «воля государева» должна быть наблюдаема

---

<sup>11</sup> Неслучайно в предназначенной для будущего императора Павла «Записке о государственном казенном правлении и о производстве дел, по свойству их рассмотрения и распоряжения его зависящих», авторство которой принадлежит братьям Никите и Петру Паниным, особым образом оговаривалась процедура оформления устных распоряжений монарха.

«Получив от государя приказание на доклады сделанное или особое его повеление, словесное или письменное, в назначенный журнал об именных повелениях вписано быть должно, письменные повеления и резолюции на доклады подлинниками приобщаются в книгу указов, словесные повеления государственным казначеем в ту книгу запишутся» (РГАДА. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 54).

«сходственно с законами, во основание положенными, и с государственным установлением» [Екатерина 1907: 6—7]. Приблизительно к этому же времени относятся и признания императрицы, сделанные в «Собственноручном черновом проекте манифеста о престолонаследии», где она писала:

Испытав сердце наше, нашли мы во глубине оного твердое и *всегдашнее* желание исполнять (...) *все части законодательства нашего*, которому мы с 1766 года благополучное начало положили открытием комиссии об уложении [Екатерина 1875: 382]<sup>12</sup>.

Неслучайно и французский посол Луи Филипп Сегюр отмечал, что «Екатерина никогда не действовала так произвольно, как ее министры. Особенно Потемкин миловал и наказывал помимо законов, даже таких, которых строгое исполнение необходимо для общественной пользы» [Сегюр 1865: 320]. С точки зрения некоторых современников, своеволие вельмож отчасти ограничивалось примером императрицы, имеющим, как свойственно любой монархии, значительное влияние на подданных. Так, камер-юнкер при дворе Екатерины II князь Федор Николаевич Голицын в своих воспоминаниях точно подметил:

Люди портятся без сомнения, но портятся от дурных примеров. Сии рассуждения опять меня обращают к Императрице. Во время ее царствования все было важно, почтенно. Она умела себя так вести, что каждый вельможа ее почитал и любил и старался также на нее походить. Вольтер написал:

Когда Август пил, вся Польша была пьяна.

Вот как сильно действует над подданными пример государя! (...) Верховная власть не должна бы никогда выходить из круга, предписанного законами [Голицын 1874: 1292—1294].

Законодательство было главным каналом обращения престола к населению империи и потому наделялось не только контролирующей, но также и мощной воспитательной силой, что приводило к неожиданному соединению регулирующего и паидеягического начала в текстах высочайших указов. Кабинет Екатерины II и Сенат обрушивали на подданных нескончаемый поток *манифестов, регламентов, учреждений, наставлений, уставов, инструкций* и т. д. Все эти правовые акты объединялись словом указ и были обязательны для неукоснительного исполнения. Но в то же время жанровая размытость законодательных

<sup>12</sup> В подлиннике фразы, данные курсивом, специально выделены и вынесены на поля рукописи (РГАДА. Ф. 10. Оп. 1. Ед. хр. 12. Л. 1).



документов второй половины XVIII века<sup>13</sup> не мешала современникам придавать понятный *закон* более высокий и общий смысл, чем слову *указ*. Анализ языка как официальных источников, так и источников личного происхождения свидетельствует, что человек XVIII столетия повиновался именно «законам», «поступал по точной силе закона», а иногда действовал «в ущерб закону» и за это нес наказание «по всей строгости закона»<sup>14</sup>.

Императрица в свою очередь пыталась упорядочить запутанную юридическую терминологию.

Под словом *законы*, — писала Екатерина, — разумеются все те установления, которые ни в какое время не могут перемениться. (...) Имя *указы* заключает в себе все то, что для каких-нибудь делается приключений, и что только есть случайное и может со временем перемениться [Екатерина 1907: 5].

В данном контексте сближение понятий *закон* и *указ* происходило, если слово *указ* сопровождалось знаковыми определениями — *непременный, неперемняемый, фундаментальный* и даже *священный*<sup>15</sup>. В Наказе созданной в 1767 году Уложенной комиссии непосредственно было сказано: указы могут быть *завещанию преданные, вредные, темные*, и для того, чтобы знать, «каким указам должно повиноваться», существуют *законы, основание державы составляющие, твердые и неподвижные* [Там же].

<sup>13</sup> «Вопрос о существовании у нас различия между законами и высочайшими указами, — писал историк права XIX века Н. М. Коркунов, — представляется спорным. В XVIII столетии и вплоть до учреждения в 1810 году Государственного совета у нас не было никакой определенной отличительной формы законодательных актов» [Коркунов 1894: 309]. См. также: [Романович-Славатинский 1886: 186—187; Лаппо-Данилевский 1898: 71] и др.

<sup>14</sup> См., например: [Державин 2000: 10, 21, 87, 98—99 и др.]. Слово *указ* часто употребляли в значении *инструкция* или *учреждение*. Так, в указе о процедуре доведения до сведения населения новых постановлений говорилось о «присланных высочайших указах, узаконениях, учреждениях» и проч. [ПСЗ, XXI: № 15612. С. 777. 1782, 13 декабря].

<sup>15</sup> См., например: указ о напечатании и обнародовании нового устава Кадетскому сухопутному корпусу [ПСЗ, XVII: № 12741. С. 973. 1766, 11 сентября]; начертание о приведении к окончанию комиссии проекта нового уложения [ПСЗ, XVIII: № 13095. С. 503—512. 1768, 8 апреля]; Прибавление к рассуждению, оставшемуся после смерти министра графа Панина, сочиненное генералом графом Паниным, о чем между ими рассуждалось иметь полезным для Российской Империи фундаментальные права, неперемняемые на все времена никакою властью (РГАДА. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 26—31).

*Непременные фундаментальные государственные законы и власть, и фрондирующая элита, следуя за догматами века Просвещения, наделяли особой силой, способной установить разумный порядок и привести к всеобщему благоденствию. Но если престол видел в них залог устойчивости самодержавного правления, то оппозиционно настроенная аристократия — определенную страховку от самовласти́я, когда*

Государь... не может означать ни могущества, ни достоинства  
Своего иначе, как постановя в государстве своем правила непрелож-  
ные... которых не мог бы нарушить сам, не престав быть достойным  
Государем [Проект Панина 1907]<sup>16</sup>.

Так понятие *закон* постепенно превращалось и в орудие политического дискурса.

В общественно-политической лексике XVIII века понятия *самовластие* и *самодержавие* имели разное, иногда даже противоположное значение<sup>17</sup>. *Самовластие* отождествлялось с *беззаконием*, *деспотизмом* и очень часто с *фаворитизмом*, ненавистным для правящей элиты и дворянской родовой аристократии. Характерно, что последние наставления своему воспитаннику великому князю Павлу Петровичу граф Никита Панин выдержал в присущей ему стилистике семиотических сравнений.

Канцлер противопоставил такие понятия, как просвещенный монарх, располагающий неограниченной властью, или самодержец, и государственные законы, с одной стороны, и самовластие, тиранство, деспотическое правление, государев любимец или фаворит, с другой.

Просвещенный монарх, облекшись в неограниченную власть, сам  
тогда почувтит, что прямое самовластие тогда только вступает в  
истинное свое величество, когда само у себя отъемлет возможность к  
соделанию какого-либо зла... Государь самовластнейший на недостатке  
государственных законов чае утвердить свое самовластие. Пора-  
бощен одному или нескольким рабам своим, почему он самодержец?  
Разве потому, что самого держат в кабале недостойные люди? ...тище-  
но пишет он новые законы; новые законы его будут не что иное, как  
новые обряды, запутывающие старые законы, народ все будет угне-  
тен, дворянство унижено, и несмотря на собственное его отвращение

<sup>16</sup> Авторская маркировка слов в тексте сверена с первоисточником: РГАДА. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 5—17.

<sup>17</sup> Примечательно, что и молодой Пушкин писал именно о «самовластительном злодее» и «обломках самовластия».

к тиранству, правление его будет правление тираническое, ... все частные интересы, раздробленные существом деспотического правления, не чувствительно в одну точку соединятся. В таком развращенном положении, злоупотребление самовластия восходит до невероятности, и уже престает всякое различие между государственным и государевым, между государевым и любимцовым [Проект Панина 1907]<sup>18</sup>.

Канцлер был убежден, что *фундаментальные законы*, составленные самим *самодержцем*, но *непременные* и для него самого, оградят страну от *деспотической тирании* или *самовластия*. Картина политического неблагополучия складывалась для Никиты Панина также из отсутствия действенных *новых законов*, *угнетения народа* и *унижения дворянства* как сословия, для которого особое значение имело представление о чести и достоинстве<sup>19</sup>. Завещание канцлера, записанное другом свободы Фонвизинным, через племянника писателя, будущего декабриста, станет вдохновляющим фактором для отважных молодых людей Александровского правления, поддерживавших мыслью, что и «отцы» мечтали о конституции. Однако в словах Панина, неопубликованных, необнародованных, доверенных перед смертью другу и адресованных воспитаннику, речь идет вовсе не о конституции, а об идее «самоограничения власти», которая, как единственный монопольный источник закона, собственно одна и может себя ограничить, а вернее ограничить свои пристрастия и зависимость от капризов любимцев. Данный тезис о законодательном «самоограничении» прерогатив императора был в целом самодержавным по своему пафосу.

Авторы правовых документов, а иначе говоря, *законоискусники*, в роли которых часто выступал сам *законопаложник*, всемерно стремились повысить эффективность исполнения законов и усилить их регулирующую функцию социального контроля. Власть не просто жестко требовала исполнять всенародно объявленные указы, чтобы

---

<sup>18</sup> Авторская маркировка слов в тексте сверена и откорректирована по первоисточнику: РГАДА. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 17. Л. 5—17.

<sup>19</sup> Общепризнанность подобных идей среди политически активной знати отразилась и в записках М. М. Щербатова «О самовластии», где князь ставил под сомнение вообще возможность называть *самовластие* «именем правления»: «[При самовластии] нет иных законов и иных прав окромя безумных свосправ деспота (самовластителя). Место, что в монархии государь есть для народа, в самовластном правлении народ является быть сделан для государя» [Щербатов 1860: 37—48]. См. также: Рукописи историка Щербатова, полученные П. И. Бартеневым у А. П. Заблоцкого, 1785—1790 гг. (ОПИ ГИМ. Ф. 368. Ед. хр. 83. Л. 27—32<sup>в</sup>). Благодарю С. В. Польского за ценную информацию о рукописном наследии Щербатова.

«невведением никто не отговаривался». Престол воспитывал у подданных уважение к закону, непосредственно связывая правовые акты с непрерываемым авторитетом правящей императрицы и акцентируя преемственность «подлежащих вечности законов» с указами предшествующих правлений. Екатерина пристрастно следила за четкими формулировками и ясным слогом законов, а также не допускала отмены уже провозглашенных указов. Она исходила в своих постановлениях из «здорового смысла», «природной склонности» подданных и «мыслей просвещенной части народа». Однако способность императрицы «увидывать» «мысли просвещенной части народа» точнее будет назвать умением манипулировать настроениями политической элиты, на которую собственно и была рассчитана регулятивная функция законодательства. Что же касается податных людей, составляющих большую часть населения империи, то закон для них был императивом без каких-либо толкований, а сами они сливались в безликую массу, обязанную поставлять рекрутов «по три человека с 500 душ».

Однако не только тот факт, что, как писал Радищев, «земледельцы и дошлись в законе мертвы» [Радищев 1938: 227, 248, 279, 293, 313—315, 323; и др.], но и целый ряд других обстоятельств придавали понятию *закон* в русском языке второй половины XVIII века несколько умозраительный и идеальный смысл. Прежде всего, в силу своих функций любой правовой акт отражает не столько реалии развития общества, сколько представление власти о том, каким оно должно быть.

Одной из основных особенностей русской культуры послепетровской эпохи, — пишет Ю. М. Лотман, — было своеобразное двоемирие: идеальный образ жизни в принципе не должен был совпадать с реальностью. Отношения мира текстов и мира реальности могли колебаться в очень широкой гамме — от представлений об идеально высокой норме и нарушениях ее в сферах низменной действительности до сознательной правительственной демагогии, выразившейся в создании законов, не рассчитанных на реализацию (Наказ), и законодательных учреждений, которые не должны были заниматься реальным законодательством (Комиссия по выработке нового уложения) [Лотман 1988: 295].

«Сознательной правительственной демагогией», о которой упоминал Лотман, можно назвать репрезентативную функцию законодательства, призванного не только осуществлять социальный контроль, но и поддерживать величественный образ престола в восприятии подданных и позитивный образ империи в глазах европейского общественного мнения.

Кроме того, простая истина, что объявление указа «во всенародное известие» еще не означает его реализацию, придавало правовым актам оттенок некой идеальной абстракции, к которой необходимо стремиться. Неоднократное издание на протяжении правления Екатерины законов одного содержания свидетельствовало о сбое в их исполнении. Так с 1762 по 1796 года было опубликовано более двадцати именных и сенатских указов, увещающих чиновников «воздерживаться от лихоимства», содержащих «меры к прекращению взяток», наказывающих за «корысть и отягощение народа поборами»<sup>20</sup>. Как известно, «сребролюбие» продолжало процветать, но при этом нельзя сказать, что закон был бессилён — настойчивость власти, осуждающей «гнусную наживу», задавала определенную нравственную планку и формировала систему предпочтений.

Особенности функционирования имперской бюрократической машины лишь усиливали размытость смыслового содержания понятия *закон*. Историк XIX века А. Г. Брикнер в биографии немецкого теолога и педагога пастора А. Ф. Бюшинга воспроизвел разговор проповедника и основателя Московского воспитательного дома И. И. Бецкого.

Бецкой пригласил к себе Бюшинга и, между прочим, обратился к нему с несколько щекотливым вопросом, как он думает об указах императрицы. «Эти указы, — замечает Бюшинг, — были наполнены общими размышлениями (*raisonnir*ende Ukasen)». Ему было очень неловко ответить на вопрос Бецкого, однако с свойственной ему смелостью он сказал: «Указы отличны и делают честь ее величеству; нельзя, однако, не сожалеть о том, что они во всяком случае останутся бесплодными». Бюшинг говорил о недостаточном развитии народа, о необходимости подвинуть вперед дело народного воспитания, об учреждении школ и проч. [Бюшинг 1886: 17]<sup>21</sup>

Многие государственные чиновники плохо знали правовые акты, иногда «перевратно» их толковали, порой следовали уже отмененным

<sup>20</sup> См., например: [ПСЗ, XV: № 11616. С. 22—23. 1762, 18 июля; ПСЗ, XVII: № 12537. С. 473—474. 1765, 31 декабря; ПСЗ, XX: № 14769. С. 726—727. 1778, 27 июня] и др. См. также на эту тему [Писарькова 2004: 12—14; Black 1979].

<sup>21</sup> Несколько позже английский посланник при русском дворе лорд Гаррис Мальмсбери доносил из Петербурга: «Свод законов, мастерски начертанный самой императрицей, до сих пор еще не был рассмотрен; он сохраняется в Академии, и по многим причинам приведение его в действие невозможно» [Депеша Гарриса 1874: 1499].

указам и даже позволяли себе собственное законотворчество<sup>22</sup>. Непосредственным свидетельством превращения закона в некий несоосязаемый фантом являются практически ежегодно «объявляемые во всенародное известие» указы о «предоставлении рапортов об исполнении именных и сенатских указов». Все присутственные места обязаны были составлять реестры неисполненных указов и иметь в канцеляриях «записки» о поступивших из столиц правительственных бумагах, чтобы «непрестанно в памяти было». «Нерачительных» чиновников, допускающих «беззаконную волокиту», наказывали в соответствии со специально разработанной системой штрафов<sup>23</sup> или вообще отрезали от дел. Для канцелярий, коллегий и контор устанавливались сроки отчетов о получении высших распоряжений, сроки предоставления рапортов о ходе дел и окончательном исполнении указа, оговаривались случаи «вторичного указа» и даже ситуации, когда Сенат или кабинет императрицы вынуждены были отправлять «третий принудительный указ». Вспоминая о первых годах своего правления, императрица писала:

Сенат, хотя посылал указы... в губернии, но тамо так худо исполняли... что в пословицу почти вошло говорить: «ждут третьего указа», понеже по первому и по второму не исполняли [Екатерина 1865: 480].

Вообще «пратикулярный» человек из среды высшего сословия скептически относился к возможности торжества закона в собствен-

---

<sup>22</sup> Неслучайно один из персонажей И. А. Крылова вообще искренне полагал, что большинство людей живет не по закону, а по давно устоявшемуся порядку, и что особенно интересно — этим человеком был судья Тихокрадов.

«В свете, — заявляет он за именным столом купца Плутареца, — введенные обыкновения столь же сильны, как и самые законы; сказанные же мною выгоды статского человека издавна между людьми вошли в обычай, и ныне они столько же употребительны и извинительны, сколько простительно придворному не платить своих долгов, а купцу иметь окороченный аршин и неверные весы» [Крылов 1945: 66—73].

(Благодарю В. Б. Перхавку за подсказанную информацию и ценные сведения по истории самосознания купечества.)

<sup>23</sup> Оставить без внимания сенатский или именной указ стоило 10 рублей, вторичное «неисполнение от слабости и небрежения» оценивалось в 20 рублей, третий указ приходил в канцелярию уже за счет чиновников и штраф на них накладывался в 30 рублей [ПСЗ, XVII: № 12710, С. 871—876, 1766, 31 июля]. Для сравнения подобные рассеянные чиновники во времена Петра I назывались «преступники и указа ослушатели» и подлежали «разорению, ссылке или лишению живота» [ПСЗ, V: № 3333, С. 681, 1719, 19 марта].

ной жизни. Анализ прошений на высочайшее имя, которые, кстати сказать, могла позволить себе только политическая элита, обнаружил стоическую веру подданных лишь в милосердие императрицы<sup>24</sup>. И. М. Булгаков, отправляя своему сыну, знаменитому дипломату Якову Ивановичу Булгакову, копию «с учиненного в Сенате о деревнях матери твоей беззаконного определения», писал: «Не можно ли к ее императорскому величеству послать письмо, дабы не царствовала неправда над правдою!» [Письмо Булгакова 1881: 290] Во время препирательств с генерал-прокурором А. А. Вяземским по поводу оклада директора Академии наук Е. Р. Дашкова писала Екатерине II:

Смею просить Ваше Величество, дайте полную свободу Вашему великодушию в отношении меня, и я вполне уверена, что тогда мне окажут полную справедливость и даже впредь будут защищать от проявления незаслуженного мною гонения [Письмо Дашковой 1867: 32]<sup>25</sup>.

Попытка защиты собственных прав на основании закона была оправдана лишь в отношении других представителей политической верхушки, но никак не монарха. Поэт А. П. Сумароков мог гневно заявлять, что «фельдмаршал подчиняется законам, а не законы ему», «он полномочие имеет; однако полномочие его под законом, а не над законом», но при этом смиренно добавлял: «я подданный ваш, а не его, всеижайший и преданнейший раб» [Письма писателей 1980: 129—132].

Никакой корреляции между существованием закона, правосудием, гарантированными привилегиями высшего сословия, с одной стороны, и надеждой на справедливость, с другой, в сознании дворянина не существовало. Высшие сановники, сенаторы, авторы многочисленных указов и манифестов, в случае необходимости даже не помышляли об апелляции к закону, а уповали только на высочайшую милость, расположение фаворита, а если повезет, — и непосредственное обраще-

---

<sup>24</sup> Низшим слоям доступ к престолу в царствование Екатерины был перекрыт окончательно. Отчасти поэтому и возник феномен, который можно условно назвать «фольклорным законотворчеством». «Ложные пасквили» содержали сведения об отмене крестьянской неволи вслед за «Манифестом о вольности дворянства», о готовности «матушки-императрицы» взять на себя все недомыслие и наказать «злонамеренных бояр», о поголовной записи в казачество, и, подобно мечте Богучаровских мужиков и Дрона старосты, о переселении в теплые края.

<sup>25</sup> См. также, например, письмо В. Перонова С. М. Козьмину. Москва. Б. д. (Переписка и черновые бумаги состоявшего при Кабинете императрицы Екатерины II Сергея Матвеевича Козьмина. — РГАДА. Ф. 11. Оп. I. Ед. хр. 1031. (ч. 1). Л. 3).

нис. В своих записках Державин, вспоминая о подготовке помещений Сената к заседаниям, воспроизвел сцену, в которую, как поэт-классик, вложил метафорический смысл.

[В] зал[е] общего собрания... между прочими фигурами была изображена скульптором Раппельгом Истина нагая, и стоял тот барельеф к лицу сенаторов; то когда изготовлена была та зала и генерал-прокурор князь Вяземский осматривал оную, то, увидев обнаженную Истину, сказал экзекутору: «Вели ее, брат, несколько прикрыть». И подлинно, с тех почти пор стали более прикрывать правду в правительстве, потому что князь Потемкин не весьма любил повиноваться законам [Державин 2000: 86—87].

Так ряд этимологических смыслов понятия *закон* замыкался в некий неразрывный круг, вращающийся вокруг слов *самодержавие*, *самовластие*, *произвол*, *поданные*, *государство* из знаменитого высказывания Панина-Фонвизина.

Где же произвол одного есть закон верховный, тамо прочная общая связь и существовать не может; тамо есть Государство, но нет Отечества; есть подданные, но нет граждан, нет того политического тела, которого члены соединялись бы узлом взаимных прав и должностей [Письма Паниных 1907: 4]<sup>26</sup>.

Кажется, преодолеть это завораживающее вращение можно было лишь через новый взгляд на понятие *гражданин*.

## ЛИТЕРАТУРА

- Безбородко 1858 — *Безбородко А. А.* Записка для составления законов российских // Чтения ОИДР. 1858. Кн. 3.  
Бюшинг 1886 — *Бюшинг А.-Ф.* Автобиография (Изложенные отрывки А. Г. Брикнера) // Исторический вестник. 1886. Т. 25. № 7.  
Владимирский-Буданов 1915 — *Владимирский-Буданов М. Ф.* Обзор истории русского права. Пг.; Киев. 1915.  
Голицын 1874 — *Голицын Ф. И.* Записки // Русский архив. 1874. Кн. 1.  
Депеша Гарриса 1874 — *Депеша Гарриса Д.* Мальмсбери герцогу Суффолку. 1778 июнь // Русский архив. 1874. Кн. 1. № 6.  
Державин 2000 — *Державин Г. Р.* Записки. 1743—1812. М., 2000.

<sup>26</sup> См. также: Бумаги графов Н. и П. Паниных (записки, проскты, письма к вел. кн. Павлу Петровичу) 1784—1786 гг. (РГАДА. Ф. 1. Оп. 1. Ед. хр. 17.)



- Екатерина 1865 — [Екатерина II.] Рассказ императрицы Екатерины II-й о первых пяти годах ее царствования // Русский архив. 1865. С. 479—489.
- Екатерина 1875 — [Екатерина II.] Отрывок собственноручного черного проекта манифеста Екатерины II о престолонаследии // Русская старина. 1875. Т. 12. № 2.
- Екатерина 1907 — [Екатерина II.] Наказ императрицы Екатерины II, данный Комиссии о сочинении проекта нового Уложения / Под ред. Н. Д. Чечулина. СПб., 1907.
- Копосов 2001 — Копосов Н. Е. Как думают историки. М.: Новое литературное обозрение, 2001.
- Коркунов 1894 — Коркунов Н. М. Указ и закон. СПб., 1894.
- Крылов 1945 — Крылов И. А. Почта духов // Крылов И. А. Полное собрание сочинений. М., 1945. Т. 1.
- Лаппо-Данилевский 1898 — Лаппо-Данилевский А. С. Собрание и Свод Законов Российской Империи, составленные в царствование императрицы Екатерины II. СПб., 1898.
- Лотман 1988 — Лотман Ю. М. В школе поэтического слова. Пушкин. Лермонтов. Гоголь. М., 1988.
- Медушевский 2006 — Медушевский А. Н. Проекты политических реформ в России XVIII в. (К становлению либеральной историографии) // Classical Russia. 1700—1825. 2006. № 1.
- Миронов 1999 — Миронов Б. Н. Социальная история России периода империи (XVIII — начало XX в.): Генезис личности, демократической семьи, гражданского общества и правового государства. Т. I—II. СПб., 1999.
- Писарькова 2004 — Писарькова Л. Ф. Российская бюрократия в эпоху Петра I // Отечественная история. 2004. № 1. С. 18—41; № 2. С. 3—19.
- Письма Паниных 1907 — Письма с приложениями графов Никиты и Петра Ивановичей Паниных блаженной памяти к Государю Императору Павлу Петровичу // Император Павел I. Жизнь и царствование / Сост. Е. С. Шумигорский. СПб., 1907.
- Письма писателей 1980 — Письма русских писателей XVIII века. Л., 1980.
- Письмо Булгакова 1881 — Письмо И. М. Булгакова Я. И. Булгакову. Москва 1785 декабрь // Русская старина. 1881. Т. 31. № 6.
- Письмо Дашковой 1867 — Письмо Е. Р. Дашковой Екатерине II. [1783] // Чтения ОИДР. 1867. Кн. 1. Январь—март. Отд. V.
- ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи с 1649 года. Собрание 1-е. СПб., 1830.
- Проект Панина 1907 — Проект Н. И. Панина о фундаментальных государственных законах (в записи Д. И. Фонвизина) // Император Па-

- вел 1. Жизнь и царствование / Сост. Е. С. Шумигорский. СПб., 1907. С. 4—13.
- Радищев 1938 — *Радищев А. Н.* Путешествие из Петербурга в Москву // *Радищев А. Н.* Поли. собр. соч. М.; Л. 1938. Т. 1.
- Романович-Славатинский 1886 — *Романович-Славатинский А. В.* Система русского государственного права в его историко-догматическом развитии, сравнительно с государственным правом Западной Европы. Ч. 1: Основные государственные законы. Киев, 1886.
- Сегюр 1865 — [*Сегюр Л.-Ф.*] Записки графа Сегюра. СПб., 1865.
- СРЯ XVIII, 1—17 — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1—17. Л./СПб., 1984—2007—.
- Щербатов 1860 — *Щербатов М. М.* Разные сочинения. М., 1860.
- Black 1979 — *Black J. L.* Citizens for the Fatherland. Education, Educator and Pedagogical Ideals in 18th-Century Russia. Boulder (NY), 1979.
- Koselleck 1979 — *Koselleck R.* Historische Semantik und Begriffsgeschichte. Stuttgart: Klett-Cotta, 1979.
- Pocock 1972 — *Pocock J. G. A.* Politics, Language and Time: Essays in Political Thought and History. London: Methuen, 1972.
- Skinner 1978 — *Skinner Q.* The Foundations of Modern Political Thought. Cambridge: Cambridge U.P., 1978.

*Клаудио Серхио Нун Ингерфлом*

**ИСТОРИОГРАФИЧЕСКИЙ МИФ  
О ВЕРНОСТИ «ГОСУДАРСТВУ» ПРИ ПЕТРЕ ВЕЛИКОМ.  
ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ BEGRIFFSGESCHICHTE  
К РУССКОЙ ИСТОРИИ**

**1. ВВЕДЕНИЕ И ПОСТАНОВКА ТРЕХ ВОПРОСОВ**

Данная работа принадлежит к той исследовательской традиции, благодаря которой мы знаем, что в XVIII в. понятия лояльности, преданности, верности относились прежде всего к личностям, то есть к членам семей, к системе патроната и к монархам<sup>1</sup>. Эта традиция рисует картину, знакомую специалистам по истории Московского царства<sup>2</sup>.

Джон П. ЛеДонн уже пришел к выводу, что

... в вертикально интегрированной России XVIII века не было места верности «государству», вследствие чего оно имело лишь теневое существование... Была личная преданность властям предержащим и государю, но это было не то же самое, что преданность государству [LeDonne 1984: 17].

По словам Евгения Анисимова,

... служба государству... сливалась со службой царю, шире — самодержавию. Иначе говоря, своим каждодневным трудом Петр показывал подданным пример того, как нужно служить ему, российскому самодержцу [Анисимов 1989: 50].

Однако согласно классической интерпретации, выдвинутой во многих основополагающих исследованиях по истории XVIII века, Петр Великий распространил на государство ту лояльность, кото-

---

<sup>1</sup> См., например: [Mechan-Waters 1982: 69; Ransel 1989: 69; Joukovskaia-Lecerf 2006].

<sup>2</sup> О периоде Московского царства см.: [Kleimola 1979: 213; Kollman 1987: 5, 186; Спунтис 1989: 38; Bogatyrev 2000].

рая издавна требовалась по отношению к монарху [Raeff 1983: 207; Hughes 1998: 93; Миронов 1999, I: 128]. Эта идея стала господствующей в литературе, при этом подразумевалось, что Петр был первым монархом, провозгласившим концепцию безличного государства в Европе [Shennan 1974: 64—65; Dyson 1980: 31].

В историографии часто приводят в качестве эмблематических доводов два показательных свидетельства этой новой лояльности. Первое из этих свидетельств — обращение Петра к войску накануне Полтавской битвы. В этом обращении Петр сказал, что его армия сражается не за самого Петра, а за «государство, ему врученное». Второе свидетельство восходит к историографическому утверждению, согласно которому, при Петре для населения России стало правилом приносить две отдельные присяги: одну — государю, другую — государству. Стандартную интерпретацию этих свидетельств можно обобщить следующим образом: а) Петр требовал верности «абстрактному и обезличенному Государству» в соответствии с его собственной концепцией государства [Raeff 1983: 207]; б) «при Петре стало правилом... приносить отдельную присягу государству» [Sashalmi 2005: 178]<sup>3</sup>; в) «отныне подданные присягали на верность не только царю, но и государству» [Mironov 2000, II: 14]<sup>4</sup>; г) Петр сам считал себя первым слугой этого государства; д) «Петр упразднил тождество личности царя и государства»; е) Петр отбросил религиозное обоснование самодержавной власти [Whitaker 1992: 82, 84]. Эти выводы основываются на классическом тезисе, что созданная Петром политическая структура была уже не личным государством<sup>5</sup> [царя], а «современным государством (*Modern State*)»<sup>6</sup>.

<sup>3</sup> Я благодарю Валерия Кивельсона, который обратил мое внимание на эту статью.

<sup>4</sup> Этот вариант отличается от русского оригинального издания, в котором не оговорено, кто должен был приносить присягу.

<sup>5</sup> Вспомним о том, что до XVII века понятие *государство* (изначальной формой этого слова было *господарство*) использовали прежде всего двояким образом: для обозначения достоинства государя (*dominus*), сначала великого князя, а затем царя, и для обозначения земель, государю принадлежащих. Это понятие было воспроизведением модели польского понятия *państwo* — кальки латинских слов *dominium et dominatio* [Zolián 1987: 14—50]. Это же слово означало власть государя над тем, что ему принадлежало, отсюда значение этого слова как «правления» и владения государя, прежде всего земли и проживающие на них люди. В Смутное время, когда не было постоянного государя, государство также обозначало население определенной территории [Толстиков 2002: 295—296].

<sup>6</sup> Например [Cherniavsky 1961: 82; Crahan 2003: 64]. Борис Миронов использует формулу «патерналистская, благородная монархия», придавая ей черты, напоминающие черты «современного государства» [Mironov 2000, II: 13].

Однако при внимательном изучении этой интерпретации возникают две проблемы. Первая — сугубо источниковедческая. Насколько мне известно, ни в одном из рассказов о принесении отдельной присяги государству, тем более — которое будто бы превратилось в правило, не содержится прямых ссылок на источники, обосновывающие подобное утверждение. Вторая проблема касается спонтанного применения понятий, при котором не учитывается их историчность. Комментарии сосредотачиваются на проведенном Петром различии между своей персоной и государством, но при этом упускают из виду смысл, заложенный в формулу *ему врученное* и в понятие *государство*, которое чаще всего используется без всяких разъяснений. Отсутствие уточнений создаст впечатление, будто бы нет смысла задаваться вопросом, какое значение имеет дистанция, отделяющая нас от языка и понятий эпохи Петра I, словно эти формулы и понятия — наши современники, непосредственно доступные нашему пониманию в рамках привычного для нас понятийного аппарата.

По утверждению Стефана Скальвейта (Skalweit), в немецкой мысли, философское и историографическое влияние которой на русских историков, взявшихся в середине XIX века за поиски Государства в русской истории, было велико, выражение *moderne staat* появилось между 1830 и 1840 гг. и обозначало прежде всего конституционное Государство [Skalweit 1975: 17—18]. Как мы знаем, в ходе и в результате Великой французской революции старое слово *état* претерпело две трансформации: а) на первый план вышел исторический контекст его значений; б) оно превратилось в понятие благодаря тому, что синтезировало некую «новую» историческую структуру, обозначить которую каким-либо другим словом было невозможно [Koselleck 1979: 119]. Второе из этих преобразований — из слова *государство* в понятие *государство*, — ограничивает объект моей работы (понятие, а не слово), а также указывает на ее теоретические предпосылки и на методологические подходы к исследованию: я занимаюсь не традиционной историей слов, следующей за содержательной эволюцией обозначаемых ими идей, а *Begriffsgeschichte*, обоснованной современной герменевтикой (М. Хайдеггера, Г.-Г. Гадамера, П. Рикера). Слово *современное* (*moderne*) становится связанным с понятием *государство* (*Staat*) с того момента, как начинают оценивать изменения, вызванные Французской революцией. Или, говоря иначе, только после того, как слово *государство* становится основным понятием [Skalweit 1975: 13—14]. При этом следует иметь в виду, что *Begriffsgeschichte* и разрабатывалась применительно к «основным поня-

тиям» (Grundbegriffe). С тех пор понятие *государство* — современное нам по происхождению и содержанию — начинают использовать как категорию в историческом анализе. Это понятие определяется чертами, которые оно синтезирует: институционализацией власти, оказывающейся выше и правителей, и подданных, — абстрактного, обезличенного и обязательного представителя интересов коллектива. Эта власть утверждается как субъект истории, узаконенный суверенитетом народа, который, в свою очередь, выражает себя в политическом представительстве [Duso 2005: 167; Koselleck 1990: 25; Skalweit 1975: 16; Hamburg 1992: 101; Чичерин 1877, IV: 573—609; Skinner 2002].

Современный смысл понятия «государство» и формулы «современное государство» (Moderne Staat), будучи примененным к петровской эпохе (к «режиму Петра» в том широком смысле слова *режим*, в котором говорят: Ancien Régime)<sup>7</sup>, вызывает два вопроса. Что позволяет нам описывать самодержавный режим Петра как «современное государство»?<sup>8</sup> И допустимо ли некритически использовать слово *государство*, встречаемое в источниках, в качестве современной категории исторического анализа, то есть как термин, предполагающий современное содержание понятия *государство*? Значение этого вопроса выходит за пределы России. Этот вопрос уже был однажды сформулирован — и сформулирован очень точно: «можно ли воспринимать древние структуры власти и господства в категориях и понятиях современного права?». На этот вопрос дан отрицательный ответ [Vittinger 1969: 16]. В случае России временная инаковость, образующая кроме всего прочего смысловую дистанцию, сопровождается еще и исторической инаковостью: понятие *государство* родилось на Западе и стало категорией анализа именно западной истории<sup>9</sup>.

Эти вопросы образуют концептуальный контекст предмета настоящей статьи. Моя цель в этом контексте более скромная — историографическая. Две упомянутые выше проблемы (отсутствие каких-либо ссылок на источники, доказывающие существование отдельной при-

<sup>7</sup> Например, по критериям легитимности власти и образа жизни: обычаев и убеждений, подтверждающих нормы, которые зачастую не выражены явно и определяют представления о справедливом и несправедливом, хорошем и плохом, желаемом и нежелательном [Lefort 1986: 8—9].

<sup>8</sup> Применимость этой формулы к Западной Европе сегодня упорно ставят под сомнение. См. [Clavero 1986; 1987; Abadía 1986; Hespanha 1989; 2002; Schaub 1966; 1995; 2005].

<sup>9</sup> Я пользуюсь этим словом по соображениям удобства, но постоянно имею в виду разнородность политических конструкций в Европе и в других местах.

сяги, и спонтанное использование понятий *современное государство* или *государство* при толковании слова *государство*, встречаемого в источниках петровского времени), делают необходимым переосмысление Полтавской речи Петра I и текстов присяг, с тем чтобы лучше понять, верности кому и чему требовал Петр? Мы должны дать ответы на три вопроса. Существовала ли отдельная присяга на верность государству? Было ли принесение такой присяги правилом? Относилась ли верность, которой требовал Петр, к государству или к иной форме организации и представления правления? В последнем вопросе нет никаких претензий на номинализм. Я не стану пытаться давать определение государства для того, чтобы затем противопоставлять политику Петра такому определению и тем самым проверять, соответствовала ли эта политика сконструированному мной определению. В мой вопрос заложена иная логика. Поскольку существует мощная историографическая традиция, в которой на Полтавскую речь Петра и присяги на верность указывают как на эмблематические признаки появления в России «абстрактного и обезличенного государства», характеризуемого также как «современное», — нам необходимо установить: изоморфны ли, с одной стороны, идея власти и политики, выраженная в Полтавской речи Петра и в присягах на верность и, с другой стороны, смысл, который та же самая историография вкладывает в понятие *современное государство*, или же они разнородны.

## 2. Полтавская речь: ЦАРСТВО, ГОСУДАРСТВА (СЛОВО), НО НЕ ГОСУДАРСТВО (ПОНЯТИЕ)<sup>10</sup>

Принято считать, что вечером накануне Полтавской битвы 1709 г. царь сказал своим солдатам:

И не помышляли бы вооруженных и поставленных себя быть за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой, за народ все-российский [ПнБ, 9/1: 226]<sup>11</sup>.

Эти слова приписаны Петру Феофаном Прокоповичем (1681—1736), лично не бывшим под Полтавой, в биографии Петра, опубликованной

<sup>10</sup> Полтавскую речь часто комментируют. Помимо указанных выше работ [Racff 1983: 207; Mitonov 2000, II: 14] см. три недавних примера: [Cracraft 1994: 227; Kharkhordin 2005: 12; Каменский 2006: 72].

<sup>11</sup> Крейкграфт интерпретировал *государство* как «владение» и в этой фразе перевел это слово как *realm*; но чаще всего в западной литературе встречается слово *state* [Cracraft 1994: 227].

в 1773 г.<sup>12</sup> Однако оригинального текста или записи, сделанной непосредственным свидетелем речи Петра накануне Полтавской битвы, не существует. Впрочем, есть другие источники, которые могут прояснить сказанное Петром<sup>13</sup>. Барон Генрих Гуйссен (1666—1739)<sup>14</sup> записал ответ царя на просьбу генералов не появляться на поле брани:

Ведаю, что для исправления вашей должности образца моего вам не потребно, обаче, понеже зависит спасение государств и подданных моих, то Я буду делать надлежащее мне так, как полковник от лейб-гвардии и как царь, охранитель и оборонитель стран, которые бог мне вручил [ПиБ, 9/2: 982].

В свидетельстве Гуйссена, слова *страна* и *государство* использованы во множественном числе, и с одинаковым смыслом. Множественное число слова *государство* понимается как «страны», но также и как «часть страны», отдельный регион, провинция Российской империи. Например, обычным было выражение *Сибирское государство* [ПиБ, 9/1: 291]<sup>15</sup>. Далее, после длинного перечисления всех территорий, над которыми монарх был самодержцем, Царем и Великим князем, его официальный титул включает слова «другие государства и владения», «наследником», «государем»<sup>16</sup> и владете-

<sup>12</sup> Редакторы «Писем и бумаг Петра Великого» [ПиБ, 9/2: 983] указывают, что эти слова не являются частью приказа, как полагали историки XIX в. Вероятно, Прокопович воспроизводит главные мысли, высказанные Петром во время различных инспекций войск.

<sup>13</sup> Например: «...они поставленные теперь вооруженные не за Петра, но за государство, Петру врученное, за род свой и за народ Российской» [Ригельман 1847: 81].

<sup>14</sup> О карьере этого человека в России см. [Petschauer 1978].

<sup>15</sup> См. также: «Бог дал нам... на все государства Российского царствия государем, царем и великим князем всей Руси...» — грамота, объявляющая об избрании Михаила Романова (цит. по [Поздсеева 1996: 48]). Другие примеры можно найти в [ПСЗ, I: №. 114, 308; Живов 2004: 82, примеч. 5].

<sup>16</sup> С XIV века и в дальнейшем термин *государь* приобрел политическую и юридическую силу (суверен), но источники подтверждают, что этот титул мог также пониматься буквально, в смысле «господин рабов». В 1477—1478 гг. элита Новгорода напомнила Ивану III, Великому князю Московскому, притязавшему на такие же права по отношению к их городу, какими он обладал в Москве, его семейном поместье, разницу между словом *господин* (господин свободных слуг), которое новгородская элита принимала, и словами *государь* или *господарь* (господин несвободных слуг), которые новгородская элита отказывалась употреблять. Различие между этими словами стало источником конфликта в самой Москве после смерти Василия III в 1533 г., когда два брата покойного отказались назвать его сына, будущего царя Ивана IV, «государем», предпочитая вместо это-



лем<sup>17</sup> которых он был. В этом смысле перевод слова *государства* как *states* правилен<sup>18</sup>. В записи Гуйссена Петр упоминает *государства* как территории, находящиеся в его владении, а именно земли, которым угрожали шведские завоеватели. «Государства» составляли части Царства, владений Царя<sup>19</sup>, над которыми он осуществлял свое «государствование»<sup>20</sup>. Таким образом, рассмотренные формулы не содержат ни одного элемента, предполагающего существование иди «институционального» государства, тем более «абстрактного» и «безличного» государства.

В изложении Прокоповича слово *государство* употребляется в единственном числе. Следует, впрочем, отметить, что в письме, написанном ближайшим окружением Петра от имени царя его брату, появляется идентичная формулировка, только слово *государство* заменяет слово *царствие*: «нашим обоим особам Богом врученное нам царствие править самим» [ПИБ, I: 14]. Собственно говоря, в XVIII в., по-видимому, первым значением слова *государство* в его общем смысле была империя или царство<sup>21</sup>. Наконец, когда Петр энергич-

---

го использовать слово *господин*. См.: [Szeftel 1979: 63; Хорошкевич 1982: 19, примеч. 17; 1980: 29; Кобрин 1985: 51; Zoltán 1987: 14—50; Vodoff 1981, I: 10, 15—20, 28—35; 5: 276—279; 7: 94; 12: 53, 55; Илешева 1984: 81].

<sup>17</sup> См., например [ПИБ, 9/1: 291].

<sup>18</sup> Согласно источникам Петр по-французски упомянул *mes états* [Lentin 1996: 285, note 28]. Использование множественного числа *государства* (*états*) для обозначения частей царства характерно не только для русского языка. Фридрих Кристиан Вебер, уроженец Ганновера, проживавший в Санкт-Петербурге, писал об учрежденной Петром новой полиции «la police du ses états et pour humanizer son peuples (sic)» [Bushkovitch 2001: 427]. Прусский кодекс (1794) носил такое название: «Allgemeines Landrecht für die preussischen Staaten». Слово *государства* (*Staaten*) имеет множественное число. Было также принято говорить о «короле Пруссии и его государствах» или «его провинциях».

<sup>19</sup> Присягая на верность Алексею Михайловичу 31 августа 1651 г., люди клялись: «А где велит Государь мне быти на своей Государевой службе, и мне будучи на его Государевой службе, Ему Государю служити и с недруги Его с Крымскими, и с Нагайскими, и с Литовскими, и с Немецкими людьми битися за него Государя... ни в которые государства не отъехать... за их [Царицы и Государских детей Государства] битися до смерти» [ПСЗ, I: № 69, 255]. Можно заметить, что службу несли государю, а не государству.

<sup>20</sup> В 1709 г. Петр желает Августу II Польскому «счастливого государствования» [ПИБ, 9/1: 356]. См. *государствовать* как «царствовать» [СРЯ XVIII, 5: 199].

<sup>21</sup> Согласно тексту от 27 апреля 1747 г., клятва, которую должны были приносить иностранцы для того, чтобы стать подданными российского императора, подразумевала присягу на верность Его Царскому Величеству и на верность интересам Российского Государства. Присягающим иностранцам предлагали офици-

но подчеркивает, что предстоящая битва решит не только его судьбу, но и судьбу России, — его речь можно понять как попытку поднять боевой дух русских, продекларировав нечто противоположное укоренившемуся в общественном мнении и привычному как для XVII, так и XIX века представлению о войне как о конфликте монархов<sup>22</sup>.

Нам надо также учитывать, что слово «врученное» имеет не одно значение. Глагол «вручить» означает также действие, совершающееся в христианском браке. Подобно тому как Бог вручает невесту жениху, Он вручает (вверяет) царю царство как невесту [СРЯ XVIII, 4: 135]. Легитимация власти монарха посредством брака, в том числе кровосмесительного брака с Россией, — древнее представление [Ingerflom, Kondratieva 1993: 257—266]. Обходным путем, используя иной способ осмысления легитимности, получивший развитие во Франции с XIV века, можно лучше понять составные элементы русской идеологической конструкции, как неотъемлемые, так и отсутствующие. Супругой короля Франции выступало или «королевство», или, почти для всех юристов, «республика», но этот брак носил «гражданский», «моральный», «святой», «священный» и «политический» характер. Это соединение значений не предполагает смешения религиозных понятий с юридическими. Церемония увековечивает таинство, но его практические последствия вписаны в закон. Республика или королев-

---

альный перевод присяги на немецкий, который гласил: «Russischen Reiche führen» [ПСЗ, 12: № 9434, 749]. Сравните с манифестом от 7 ноября 1742 г. по случаю назначения Петра III наследником — в этом тексте слово *государство* не фигурирует. Вместо него использовано слово *Империя* [ПСЗ, 11: № 86586 712]. В те времена немцы использовали слово *Reich* для описания своей империи, состоявшей более чем из тысячи различных образований, то есть *Herrschaften* (эквивалент русского слова *государства*, обозначал образования с отдельными князьями) или *Reichsstädte* (обозначало независимые города-государства). Благодаря профессору Микаэля Штоллейса, который щедро поделился со мной этой информацией. См. также перевод должности *государственный секретарь* как *Imperial Secretary* в книге [LeDoppe 1991: 111].

<sup>22</sup> Например, в июне 1682 г. двое обвиненных в участии в восстании 15 мая, умоляя о прощении, вспомнили о своих воинских заслугах: «крозь свою проливашем и против ваших [Ивана и Петра] государских неприятелей бьемся». Кроме того, важно, что право, служба и финансовые средства принадлежат монарху, а не государству: «А когда по вашему государскому указу бываем мы, холопы ваши, посланы на ваши государские службы, к нам, хлопам вашим, для ваших государских служб дается на подъем ваше государское жалование денег» [Восстание 1682 года: 38]. Представление о войне как о конфликте между монархами все еще было широко распространенным во время наполеоновского вторжения [Квяталде 1972: 151—154].

ство — неотъемлемое приданое, которое не находится в распоряжении человека (король не может делать с приданным все, что заблагорассудится, оно по закону переходит к его старшему сыну): в основе публичного права лежит миф о приданом. Затем миф трансформируется в реальность и разыгрывается в политике: перед Советом 1572 г. подчеркивали, что король был избран сословиями (*États*) «управителем короны»; он выступал в роли «политического супруга Республики» [Descimon 1992: 1135—1136].

Отсутствие возможности при легитимации царской власти обратиться за помощью к какой-либо системе юридических понятий и правил (фундаментальному закону и другим положениям) означало: единственная (или почти единственная) легитимация была религиозной, что препятствовало становлению политики как полностью автономной сферы. Согласно одной широко распространенной интерпретации, Петр, совершив переход от средневековой к современной концепции самодержавной власти, «отбросил религиозные устои» [Whittaker 1992: 83]. Петр определенно подчинил церковь своей власти, но если провести различие между институциональной стороной религии и религиозностью в смысле религиозной концепции власти, обнаруживается, что Петр воспринимал взаимоотношения со с в о и м и государствами все же во вполне религиозной системе координат<sup>23</sup>. Формулой *врученное нам* широко пользовались в XVI и XVII веках для выражения мысли о том, что царство, скипетр и трон вверены царю Богом (или, в случае Лжедмитрия, Сатаной), и для подтверждения трансцендентной природы происхождения и легитимации власти<sup>24</sup>. Ассоциация глагола *вручить* с понятием *государство*, в сущности, вполне естественна: *вручить* означает также «вверить кому-либо держание чего-либо»,

---

<sup>23</sup> См. параллель между формулами *Богоданные Нам власти* и *Нам от Него вручено* в Регламенте или Уставе Духовной Коллегии (1721) [ПСЗ, 6: № 37186, 314—315].

<sup>24</sup> В 1581 г. Иван IV писал польскому королю Стефану Баторию: «извещаю тебе, каково нам бог поручил государство» и пишет об этом «государстве» как о своей вотчине. [Памятники... 1987: 216]. В одном из текстов, датированных 1620—1630 гг., князь Симсон Иванович Шаховской использует тот же оборот, говоря об Иване IV, а позднее о Борисе Годунове, тогда как Лже-Дмитрию царство вверил Сатана [Памятники конца XVI... 1987: 28, 76, 118, 120, 124]. Тот же глагол в XVIII веке использовали, например, в целях квалификации действий Божьих по отношению к царю Михаилу Федоровичу [СРЯ XVIII, 4: 135]. В письме, написанном членами клана Петра от его имени и посланном его единокровному брату во время кризиса, вызванного интригами Софьи, находим слова: «милостию Божиею вручен нам двум особам скипетр правления» [ПИБ, 1: 13].

это слово часто использовали в сочетании со словом *власть*. И в этом смысле оно приблизилось к термину *государство* в значении «власть государя, его п р а в л е н и е» [СРЯ XVIII, 4: 135; 5: 198—199; Шанский, III: 196]. Указанный глагол буквально заряжен религиозностью и может быть связан с понятием *Бог*: «богопорученный», как сказано о престоле, на который взошёл первый Романов<sup>25</sup>. Это слово ассоциировалось также с рукоположением в священный сан [Памятники конца XVI... 1987: 356; СДРЯ, II: 214, СЛРЯ XI—XVII, 3: 113].

Полтавская речь, какой бы из ее вариантов ни рассматривался, связана с такой концепцией власти и с таким пониманием ее источника, легитимности и отношения монарха к власти, которые не предполагают существования абстрактного, безличного, светского государства.

### 3. «Две отдельные присяги?»

При изучении разных комплексов источников сталкиваешься с рядом присяг, датированных 1710—1722 гг. Выстроив эти источники в хронологическом порядке, мы получаем возможность лучше интерпретировать их. Первое наблюдение: государство, упоминание о котором, как утверждает традиционная историография, появляется в Полтавской речи, вопиющим образом отсутствует в Инструкции и Артикулах военных Российскому флоту, написанных через несколько месяцев после Полтавской битвы [ПСЗ, 4: № 2267, 492, апрель 1710 г.]. В присяге, которую должны были приносить моряки, слово *государство* не встречается ни разу. Менее чем через год, 22 февраля 1711 г., Петр учредил сенат и назначил 9 его членов. В это время он готовится к Прутскому походу и осознает подстерегающие его опасности. Сенат призван управлять империей в отсутствие монарха. Итак, Петр разрабатывает присягу, которую предстоит принять сенаторам. Среди известных мне присяг петровского времени эта присяга — единственная, в которой содержится формула *верность государству*, но и здесь эта формула включена в то же предложение, в котором присягающие клянутся в верности монарху. Каждый сенатор клялся «в верности моему государю и всему государству», а также в верности тому, «чего государя моего и государства моего интересы требуют» [Законодательство 1986: 157; ПСЗ, 4: № 2329, 643]<sup>26</sup>. Кроме того, Петр в своей лич-

<sup>25</sup> Этот текст датирован 1617 г. [Памятники конца XVI... 1987: 356].

<sup>26</sup> Борис Миронов ссылается на этот источник и утверждает, что в 1711 г. Петр ввел новую форму присяги — на имя не только государя, как было прежде, но и

ной записной книжке выдает замысел этой присяги: она должна была вселить в сенаторов страх, чтобы удержать их от расхищения казны или от коррупции [Анисимов 1997: 30]. Тем не менее в течение первых шести лет существования сената из 9 сенаторов шестерых судили за серьезные преступления, причем оправдания удостоились двое из шестерых [Законодательство Петра 1997: 63]. В 1716 г. вступил в силу «Артикул воинский», который касался, по большей части, воинских преступлений. Каждый военный должен был клясться «служить всепресветлейшему нашему царю государю верно и послушно». В воинской присяге «государство» не упоминается (как не упоминается и «отечество»), но это понятие появляется позднее, в разделе об обязанностях каждого солдата: солдат должен

Его царского величества государства и земель его врагам, телом и кровью, в поле и крепостях... чинить противление... И ежели что вражеское и предосудительное против персоны его величества, или его войск, также его государства, людей или интересу государственного что услышу или увижу, то обещаюсь об оном по лучшей моей совести... извещать и ничего не утаить... А командирам моим, поставленным надо мною, во всем, где его царского величества войск, государства и людей благополучно и приращению касается, я караулах в работах и протчих случаях, должное чинить послушание [Законодательство 1986: 328].

В этом тексте, остававшемся неизменным в течение следующих 150 лет, снова и снова повторяется, что солдаты служат, прежде всего, императору, на верность которому и присягают. То же самое в 1720 г.: моряки клянутся

---

государства [Миронов 1999, I: 128]. Правда, в тексте присяги не оговорено, что присяга предназначена исключительно для сенаторов. Однако присяга датируется 2 марта, днем, когда сенаторы принесли присягу. Все дает основания предполагать, что эта присяга была предназначена не для общего использования, а только для сенаторов. У Миронова глагол *вел*, который побудил английских переводчиков писать «отныне», предполагает, что присяга стала нормой после 1711 г. И все же, насколько я знаю, эту присягу никогда более не использовали. Что касается формулы *польза государственная*, то уже было указано, что она была определена в рамках защиты «прав и преимуществ» самодержца [Плотников 2001: 63]. См. также: «Работая на общее благо, подданные должны демонстрировать свою "любовь к отечеству". Только правительство могло определять, что именно идет на благо отечеству и что приносит ему вред. В этом контексте интересы правителя и "подлинные" интересы отечества считались идентичными» [Schierle 2007: 289] (благодарю Виктора Живова, обратившего мое внимание на эту статью).

...верно служить Его Величеству Петру Великому... исполнять указы... сочиняемые от Его Величества и Его Государства... интерес Его Величества и Государства претергать и охранять... А неприятелям Его Величества и Его Государства... в пользу Его Величества и Его Государства [ПСЗ, 6: № 3485, 328].

Как указывает Е. В. Анисимов, отсутствие формулы *земли и государство Его Величества* в присяге, введенной в феврале 1720 г. Генеральным регламентом, который регулировал деятельность всех органов центрального управления империи вплоть до 1833 г., очевидно и вопиюще: каждый присягал быть «верным, добрым и послушным рабом»<sup>27</sup> и подданным, и все к высокому его царского величества самодержавству, силе и власти принадлежащие права и прерогативы (или преимущества) узаконенные», причем присягали как «государю», так и «государыне царице» ([Реформы... 1937: 109—110]; цит. по [Анисимов 1989: 31]). «Что касается какой-либо обязанности перед Отечеством или Россией, то, как мы видим, об этом нет ни слова» [Анисимов 1989: 31]. Согласно Уставу Главного Магистрата, магистраты (отвечающие за полицию, судопроизводство, развитие мануфактур и т. д.) иногда «рабы», иногда «слуги» или «подданные» монарха, которые должны вносить свой вклад в «пользу и благополучие Его». В этом тексте обнаруживается упоминание о «Государственной пользе», предшествующее новому и серьезному напоминанию об обязанности каждого быть «послушным рабом и подданным» (эта формула повторяется несколько раз), трудящимся ради «Его Царского Величества верной службы и пользы», и обличающим все, что могло причинить вред «Его Царского Величества интересу»<sup>28</sup>. В том же 1721 г. императорским манифестом

<sup>27</sup> Е. Н. Марасникова показала, что в то время слово *раб* переводили как «шакей, прислужник» (цит. по [Каменский 2006: 76]). Виктор Живов напоминает, что указ 1720 г., который заставляет каждого, лишущего Царю, определить себя как «нижайшего раба» (слово *раб* взято из церковнославянского, заменяет слово *хотю*), вписывается в тенденцию замены русских слов церковнославянскими. Такая замена усиливала сакрализацию монарха. Эти два слова, *хотю* и *раб*, были вообще взаимозаменяемы. Второе слово обозначало также издревле раба в церковных текстах, т. е. определяло положение каждого перед Богом (раб Божий). Формула могла потом расширить свою сферу применения, чтобы обозначать зависимость в земном мире [Живов 1988: 45, 53, 59, 107]. Существуют разные варианты этимологии слова *раб*: а) *раб* происходит от старонемецкого *roup* — *rouhs* (военная добыча) и ранненемецкого *rouh-vere*, превращенного в *rauben* [Яковлев 1943: 294]; б) слова *раб*, *ребенок*, близкие к латинскому слову *orbus* — сирота [Фасмер, III: 427].

<sup>28</sup> Ср.: «пользу и благополучие Его», «Государственная польза», «послушным рабом и подданным», «Его Царского Величества верной службе и пользе... О ущербе Его Величества интереса, вред и убытке» [ПСЗ, 6: № 37086, 291—292].

каждому пленному шведу было даровано право селиться, жениться и работать в России в обмен на клятву быть послушным, верным и преданным подданным и слугой Петру, его жене и их наследникам, во «благо Его Величества Царя и его Государства», а также не вступать в контакты с врагами царя «как внутри, так и вне границ Российского Государства» [ПСЗ, 6: № 3778, 386]. Присяга из Инструкции Московскому обер-полицмейстеру от 1722 г. не содержит слова *государство* [Там же: № 4047, 726—727]. Наконец, в том же году Петр принял одно из решений, имевших наиболее значительные и многочисленные последствия: царь объявил о праве монарха избирать своего преемника. И даже в этом тексте, датированном 5 февраля 1722 г. (по словам В. О. Ключевского, «в истории русского законодательства это первый закон с характером основного»), не только опущено имя будущего монарха, поскольку он еще не был определен, но и отсутствует слово *государство* [Lentin 1996: 132—133; Ключевский, IV: 193].

Всякий раз, когда в других присягах упоминают о службе интересам «государства», эти упоминания следуют за клятвами верности «государю». Алексей Плотников указывает на тенденцию, прослеживающуюся в присягах петровского времени: в годы его царствования слово *государство* встречалось в присягах все реже и, наконец, исчезло в Генеральном Регламенте 1720 г., ставшем образцом для присяг, приносимых Екатерине I, Петру II, Анне Иоанновне и другим монархам [Плотников 2001: 63].

#### 4. Совместимы ли самодержавность государя с самодержавностью государства?

Чтобы лучше определить политическое значение присяг эпохи Петра I, полезно вспомнить их сущностные отличия от присяги, предложенной Верховным тайным советом, который в 1730 г. возводил на престол Анну Иоанновну. Текст этой присяги гласил: «общим желанием и согласием всего Российского народа, на Российский Императорский Престол избрана [...] Анна Иоанновна» (манифест от 4 февраля 1730 г. [ПСЗ, 8: № 5499, 246—247; РИО, 101: 447—448]). Термин *самодержавие* и производные от него не фигурируют в присяге 18 февраля 1730 г. В этой присяге Анну называют только «Великой Государыней Императрицей». Слова *отечество* и *государство* появляются в присяге неоднократно — и всегда в связи с терминами «Ее Величество», к которому присоединены союзом *и*. Жители России были подданными «императрицы *и* государства» [РИО, 101:

447—448]»<sup>29</sup>. Через неделю, получив мощную поддержку дворянства, Анна Иоанновна отказалась от уступок и распустила Верховный тайный совет. Она отменила присягу «императрице и государству», заменив ее присягой на верность только «самодержавной императрице». В манифесте императрицы от 24 февраля 1730 г. объясняется, что клятва на верность государству была отменена в связи с решением Анны Иоанновны вернуться к «самодержавной» традиции [ПСЗ. 8: № 5509, 253]. В присяге, предложенной Верховным тайным советом, слово «государство» подразумевает, прежде всего и преимущественно, Империю. Далее, тот факт, что Верховный тайный совет определял людей как подданных Государства, даже если его целью было учреждение аристократического режима, мог означать, что Совет придавал этому Государству статус субъекта истории, наделенного некоторой долей робкой суверенности (самодержавностью) [Ransel 1989: 51, 57]. Предпринятое Анной изменение формулы присяги демонстрирует противоречие между даже таким робким суверенитетом и самодержавием императрицы. Или, говоря по-русски, самодержавность г о с у д а р я несовместима с самодержавностью г о с у д а р с т в а.

Напомним два из вопросов, поставленных в начале статьи: существовала ли отдельная присяга государству? И была ли эта присяга правилом? Обобщим наши ответы. На основании изучения девяти обнаруженных мною присяг на верность, относящихся к царствованию Петра I, можно утверждать следующее: 1. Никакой отдельной присяги на верность Государству не существовало. 2. Единственная присяга на «верность государству» встречается на клятве сенаторов 1711 г., но они присягали на верность государю и государству одновременно и в одном и том же предложении. 3. Во всех присягах клялись в верности Государю. 4. В четырех присягах, датированных 1710—1722 гг., слово «государство» не упомина-

<sup>29</sup> Алексей Плотников отмечает, что манифест от 4 февраля, подписанный Советом, и присяга, предложенная позднее, 18 февраля, явно отличаются от подобных текстов, изданных как ранее, так и [Плотников 2001: 63]. Восшествие на престол Екатерины I в 1725 г. (манифест датирован 28 января, хотя Екатерина была коронована еще в 1724 г.) не было представлено как результат выбора: люди обещали верно служить императрице и самодержице всех россиян. В текстах 1740—1760 гг. (в манифестах от 9 ноября 1740 г. об отстранении от власти Бирона, от 25 и 28 ноября 1741 г. по случаю восшествия на престол Елизаветы и от 28 июня и 6 июля 1762 г. по случаю восшествия на престол Екатерины II) мнение подданных упоминали, но это мнение было выражением требований, которые, естественно, совпадали с волей монарха, сохранявшего в этих текстах свою активную роль.



ется<sup>30</sup>. 5. Четыре других присяги, датируемые периодом с 1716 по 1721 г., упоминают обязанность сражаться с врагами «земель и государства его Величества Царя» и службу в интересах государства *после* обязанности быть верным монарху<sup>31</sup>. 6. Включение в присяги клятвы на верность государству имеет совершенно несистематический характер.

### 5. Какого рода связь видел ПЕТР между собой и «своим» ГОСУДАРСТВОМ?<sup>32</sup>

Сам этот вопрос и ответ, уже полученный на него в литературе<sup>33</sup>, позволяют нам поднять третий и самый бескомпромиссный вопрос, сформулированный во введении к данной статье: свидетельствует ли верность, заповеданная Петром своим подданным, о существовании

<sup>30</sup> Присягу моряков военного флота см. [ПСЗ, 4: № 2267, 492]. Присягу Генеральной администрации см. [Реформы... 1937: 109—110]. Текст присяги в Инструкции Московскому обер-полициймейстеру см. [ПСЗ 6: № 4047, 726—727]. Манифест о престолонаследии см. [Lentin 1996: 132—133].

<sup>31</sup> Артикул воинский см. [Законодательство 1986: 328]. Присягу магистратов см. [ПСЗ, 6: № 3708, 291—292]. Присягу моряков военного флота см. [ПСЗ, 4: № 2267, 492]. Клятву шведских пленных, желавших поселиться в России, см. [ПСЗ, 6: № 3778, 386].

<sup>32</sup> Российский монарх не одинок в том, что касается использования притяжательного местоимения в отношении своего царства. Эти же местоимения можно найти и в дискурсе западных монархов. Как следует интерпретировать эти лингвистические совпадения? Историки могут попасть в ловушку и увидеть здесь политические параллели. Так, обращаясь в Парижскому парламенту, 7 февраля 1599 г. Генрих IV сказал: «Я восстановил Государство. Бог избрал меня, чтобы поставить меня в королевстве, которое мое по наследству и по приобретению» [Cosandey, Descimon 2002: 62]. Однако контекст не позволяет нам сделать вывод о каком-либо сходстве с царизмом в этом употреблении местоимения *мое*. Дело не только в том, что Генрих IV обращался к Парламенту, институту, которого в России не было, но и прежде всего — в том, что это происходило в рамках юридического обсуждения. Когда в 1590 г. король отказался включить свои наследственные владения (Наварру, Беарн и т. д.) во владения короны, Парижский парламент под руководством прокурора Жака де Ла Гэля выступил с возражениями против такого отказа. Парламенты Бордо и Тулузы приняли волю короля, и Генрих IV победил, но ненадолго. Эдикт 1607 г., вероятно, принятый по инициативе все того же Ла Гэля, означал победу позиции Парламента и вызвал определенное изменение в доктрине доменов [Descimon 1995: 79—81].

<sup>33</sup> Например: Петр «правил Россией как своей частной собственностью... Пример подобного взгляда можно найти в законе о престолонаследии, опубликованном в 1722 г.» [Cherniavsky 1961: 89].

некоей новой политической структуры — государства, — или же эта верность принадлежит иной репрезентации и организации правления? Традиционно ученые, стремящиеся выявить новые элементы, которые были внесены Петром в восприятие государства, указывают на введенное им различие между государем и государством. По мнению В. О. Ключевского, в том же роде, в каком юридически «домохозяин сливается со своим домом», до Петра «в ходячем политическом сознании народа идея государства сливалась с ликом государя». Петр «разделил эти понятия» [Ключевский, IV: 193]. Важно ли это различие для обсуждения концепции Государства? В какой мере историографическая формула *Царь есть само государство* [Кавелин 1897: 637] имеет значение для определения коллективных представлений о том и о другом, бытовавших в допетровские времена? Если это различие касается государства в смысле «царствования», упомянутая формула оправдана. Но если принять во внимание другие значения данного термина, придется вообразить, что москвиты XVII века вообще не видели никакой разницы между Царем и Царством (вспомним о Смутном времени)<sup>34</sup>. Это будет столь же затруднительно, как предположить, что при Петре и после него семантическая связь между «государем» (он же и «государствует») и «государством» полностью исчезла из коллективных представлений. Напротив, эта связь сохраняла силу даже в XX веке<sup>35</sup>.

Если, отстранившись на мгновение от того факта, что присяга 1711 г. («на верность моему государю и всему государству») не превратилась в правило или обязывающий прецедент и что формулы *дело государственное* и *чего государя моего и государства сего интересы требуют* [Законодательство 1986: 157] и слово *государство* иногда присутствуют в текстах присяг, а иногда отсутствуют, — мы спросим самих себя, какой смысл придаст слову *государство* политический контекст, мы вынуждены давать ответ не на вопрос, в чем отличаются друг от друга царь и государство, а скорее на вопрос, какого рода связь существовала между царем и государством.

<sup>34</sup> Сашалми, опираясь на красноречивые примеры, настаивает на существовании различий между *государь* и *государство* в XVII в. [Sashalmi 2005: 177—182].

<sup>35</sup> В марте 1917 г. многие солдаты разных полков оправдывали свой отказ присягать на верность государству, как того требовало Временное правительство, говоря: «Нет государя, нет и государства» [Wildman I: 241—242, 244; Колоницкий 1998: 104].

Существенный момент в приведенном выше фрагменте из сочинений В. О. Ключевского — параллель между монархом и домохозяином. Как мы знаем, эта тема восходит к Аристотелю и вновь обрела звучание в Европе в раннее Новое время. Это было одним из направлений исследований русских историков, современных Ключевскому [Забелин 1873: 40, 53]. В своем сравнении присяг, принесенных сенаторами в 1711 г., военными в 1715 г. и Генерального Регламента 1720 г., Плотников отметил тенденцию к усилению патримониальной концепции государства у Петра. Плотников отмечает, что в первом из перечисленных текстов *государь* и *государство* связаны союзом *и*, что позволяет читать этот текст так, словно в нем государству придана некая автономность. В дальнейшем, связь понятий *государь* и *государство* обеспечивает притяжательное прилагательное. Наконец, в тексте 1720 г. слово *государство* исчезает вообще [Плотников 2001: 63].

Другие источники подтверждают, что у Петра была патримониальная концепция государства. На обеде по случаю рождения у него второго сына в 1715 г. Петр имел частную беседу с послом Дании Г. Г. Вестфаленом о проблеме престолонаследия. Согласно отчету Вестфалена, Петр сказал, что как монарх он обязан «*de choisir un [heritier] au milieu de ses sujets... pour conserver et sauver son Estat*» («выбрать [наследника] среди своих подданных... чтобы сохранять и спасать свое государство»). Посол отметил, что теперь понимает закон, принятый Петром годом ранее. В соответствии с этим законом (Указ о единонаследии) вся собственность семьи должна была переходить к одному из сыновей, притом отец сохранял «*l'autorité absolue de choisir son heritier universel*» («полную власть в выборе своего единственного наследника»)¹⁶. Для Вестфалена было очевидным, что Петр считал «*Estat*» своей личной собственностью. Тремя годами позже монарх необычным образом доказал, что Вестфален был прав. В главе 16-й манифеста от 3 февраля 1718 г., которым Петр заранее лишил своего сына Алексея короны, говорилось:

...властью отеческою, по которой по правам Государства Нашего и каждой подданшой Наш сына своего наследства лишить, и другому сыну, которому хочет, оное определить волею, и яко Самодержавной Государь для пользы Государственной, лишаем его, сына Своего Алексея, за те вины и преступления, наследства по Нам престола Нашего

¹⁶ Оригинал отчета на французском см. [Bushkovitch 2001: 347—349].

Всероссийского, хотяб ни единой персоны Нашей фамилии по Нас не осталось [ПСЗ, 5: № 3151, 538]<sup>35</sup>.

Как известно, Петр назначил наследником младшего сына. В приведенном выше фрагменте монарх ссылается на процитированный Вестфаленем Указ о единонаследии 1714 г., чтобы выбрать себе наследника, к которому перейдет корона, и, таким образом, занимает по отношению к своему государству такое же положение, какое занимает собственник по отношению к своему имуществу<sup>36</sup>. Трудно утверждать, что Петр не считал государство своей вотчиной. Поэтому странно читать, что, «хотя Петр и был патерналистски мыслящим человеком, он не пользовался патриархально-вотчинной концепцией в отношении Московитского царства» [Whittaker 1992: 84].

В 1722 г. Петр издал Указ о престолонаследии, в котором напомнил о том, что его единственный сын (младший сын тем временем умер) имел право на корону, но это право было отменено в 1718 г., и объявлял, что отныне правящий суверен имеет право свободно назначать своего преемника. Это право Петр оправдывал тремя ссылками. Первая ссылка была библейской: Авессалом, восставший на отца своего, Давида (2 Цар 15), и утрата старшим братом Исавом первородства, перешедшего к младшему брату и младшему сыну Исаака — Иакову (Быт 25). Эти два образа встраивают дискурс Петра в московскую традицию библейской легитимации действий монарха. Вторая ссылка — историческая. В конце XV в. Иван Васильевич короновал своего внука Дмитрия, но позднее лишил его «наследия» в пользу собственного сына, Василия. Третья ссылка — ссылка на российское право, точнее, на Указ 1714 г. о единонаследии, который, как писал Петр в Указе о престолонаследии 1722 г., позволяет отцу назначать наследником наиболее достойного из сыновей — того, «который бы не расточил наследства». Все эти образы и цитаты стоят за словами Петра:

<sup>35</sup> Текст на русском и английском см. [Lentin 1996: 310—313].

<sup>36</sup> В 1720 г. Феофан Прокопович писал, что Пятая заповедь касается не только биологических родителей, но и всех, кто ведет себя как отец и мать по отношению к нам, и к царю прежде всего. Россия «родилась заново», и отцом ее является Петр. Ср.: [Hughes 1998: 94—96]. Оправдание власти Петра *patria potestas* (властью главы семьи) и законов 1718—1722 гг. и 1714 г., с которыми в 1715 г. ознакомился посол Вестфален, часто упоминается историками. См., например [Racff 1996: 132].

Колми же паче должны мы иметь попечение о целости всего нашего государства... Чего для за благо разсудили мы сей Устав учинить, дабы сие было всегда в воли правительствующего государя, кому оный хочет, тому определит наследство [Lentin 1996: 128—132].

Как заметил В. О. Ключевский, решение Петра согласовывалось с традиционной концепцией отношения между государем и его властью над его территорией, то есть с концепцией перехода короны по личному волеизъявлению [Ключевский, IV: 194]. Однако Петр не только действует в соответствии с исторической традицией, но и сознательно укрепляет ее<sup>39</sup>. Как пишет Саймон Диксон, Указ 1722 г. о престолонаследии

...показал, что царь по-прежнему считал государство своей личной собственностью, которой он мог распоряжаться так, как считал должным, точно так же, как он обошелся с Алексеем. Трудно представить более сильный контраст с «фундаментальным законом», который предполагал гарантированный порядок престолонаследия во многих западных государствах [Dixon 1999: 1314].

Вывод Диксона подтверждается, например, источниками, говорящими о неотчуждаемости французской короны<sup>40</sup>. Это «записанное в законе право передачи [возвращение] по наследству», которое историки недавно называли «фундаментальным законом фундаментальных законов», было юридическим конструктом, старательно выстроенным на основе нескольких источников: божественного права как основания легитимности династии (но не каждого из монархов в отдельности), обретаемого через миропомазание; феодалного права, даруемого правом первородства; обычая, предполагающего автоматическое наследование, над которым предшественник не имеет

---

<sup>39</sup> Этот домашний аспект власти предшествовал по времени Петру и сохранился после него. Это не только неформальная метафорическая репрезентация, но также и указание на институционализацию, представленную инструкцией 1764 г., которая называет губернатора хозяином его губернии [LeDonne 1984: 41].

<sup>40</sup> «В начале XV столетия, когда Карл VI хотел лишить дофина прав на корону в пользу короля Англии (договор в Труа 1420 г.), юристы того времени определили законодательный принцип: корона — не дар, который можно завещать и которым король может распоряжаться посредством актов и по своей воле. Корона — возвращается в соответствии с особым законом общественного порядка. Дофин не наследует королю, а пользуется неотчуждаемым правом с момента своего рождения. "В сущности, корона не наследуется" (Шарль Мулен)» [Richet 1973: 47].

законной власти; неюридической концепции — мифа крови, относящегося к основателю династии и т. д. [Cosandey, Descimon 2002: 60—61].

Собственно говоря, в зависимости от исторического контекста, параллель между монархом и главой семьи может привести к двум результатам, политически диаметрально противоположным друг другу. Это часто не учитывают, когда соседство двух похожих дискурсов принимают за совпадение ситуаций. Изменения, внесенные Петром в наследование собственности, а именно предоставление собственнику права выбирать сына, который будет его наследником, были отходом от феодального права в том виде, в каком оно существовало на Западе (от закона первородства), в направлении приватизации, римское происхождение которой хорошо известно<sup>41</sup>. Но если во Франции феодальные права всем своим весом давили на фундаментальные права и имели тенденцию гарантировать непрерывность политического мифа, постепенно формируя *политическую абстракцию* власти, то в случае носителя российской короны, обретение им права отца избирать наследника, напротив, накладывало на царскую власть печать персонификации, тем более что царь более не был ограничен в своем выборе одним из своих потомков<sup>42</sup>. Здесь мы снова сталкиваемся с вопросом, поставленным в начале этой статьи: верности кому требовал Петр?

<sup>41</sup> Присвоив отцовскую власть, Петр ассоциировался с тенденцией (мы уже видели, что он ссылаясь на Ивана III), которая была противоположна той, что возобладала во Франции. В 1419 юрист Жан де Терревермей написал свой знаменитый труд *Tractatus*, в котором, «чтобы доказать, что Карл VI не имел права лишить дофина наследства, обратился к *dominium* [(праву) собственности] королевства. Его рассуждение было основано на сравнении сына в домохозяйстве и дофина в королевстве. Таким образом, Терревермей толковал *dominium* дофина в соответствии с моделью *heres suus* [наследника], исключая *patria potestas* [отцовскую власть]... Очевидно, что *administratio* или *regimen regni* вытекает из *dominium* а право дофина, второго государя, сосуществует с правом короля и не может быть отменено последним. Несмотря на различия в формах должностования, и частный *dominium*, и королевский *dominium* регулировались наследственным детерминизмом» [Descimon, Guery 2000: 302—303].

<sup>42</sup> О фундаментальном воздействии феодального и обычного права во Франции, ограничивавшем «всякое применение к королевству римской нормы *patria potestas* и права “выбора” наследника», см. [Descimon, Guery 2000: 283].

## 6. Выводы

Верность, которой, между строк, требовал Петр в Полтавской речи, а также верность, в которой клялись в различных присягах, была адресована не государству. Такая верность свидетельствовала скорее об отсутствии государства, а также о сильной персонификации власти. Ответы на два первых вопроса, сформулированных во введении, столь же четки, как и сами вопросы: а) я не нашел ни одной отдельной присяги, в которой бы клялись в верности государству; б) соответственно, присяга государству не стала правилом. На современном этапе исследований и с учетом того, что ученые пока не смогли обнаружить отдельных и *повторяющихся* присяг на верность государству при Петре, утверждения о существовании «отдельных присяг, ставших при Петре правилом», — не более чем необоснованная историографическая конструкция.

Ответ на вопрос, присутствует ли в Полтавской речи и в ряде присяг на верность идея «современного государства», понимаемого сторонниками приведенного выше тезиса как орган абстрактной власти, деперсонифицированной и свободной от религиозной обусловленности и связей с патримониальной теорией, — также отрицателен. Дискурс как Полтавской речи, так и присяг отмечен и религиозностью, и патримониальностью, и таким пониманием власти, при котором власть, прежде всего, воспринимается как имеющая по самой своей природе личный характер. Все эти представления — не исчезающие рудименты. Напротив, они становятся составными элементами самодержавного режима — политического института иного порядка, чем государство.

Впрочем, здесь следует проявить сугубую осторожность: мы попадаем в сферу, благоприятную для внеакадемической логики. Позволю себе последнее уточнение. Сделанный мной вывод не предполагает и тени оценочного подхода в суждении о России, поскольку я не возвожу построение государства в ранг цели исторического процесса или модели, которой обязаны следовать все народы. Смысл моего вывода, скорее, предполагает необходимость всерьез принимать во внимание язык субъектов или — что, в сущности, то же самое — историчность используемых ими понятий. Мой вывод также предполагает, что нам следует уважать инаковость, не просто декларируя это уважение как принцип. Уважать в исследовательской практике, а затем принимать всерьез последствия такого уважения, то есть избегать рассуждений на основе моделей, будь то Запад или Россия, — что бесконечно усложняет задачу интерпретации.

## ЛИТЕРАТУРА

- Анисимов 1989 — *Анисимов Е. В.* Время петровских реформ. Л., 1989.
- Анисимов 1997 — *Анисимов Е. В.* Государственные преобразования и самодержавие Петра Великого в первой четверти XVIII века. СПб., 1997.
- Восстание 1872 года — Восстание в Москве 1682 года: Сборник документов / Под ред. В. И. Буганова. М., 1976.
- Живов 1988 — *Живов В. М.* История русского права как лингво-семиотическая проблема // *M. Halle, K. Pomorska, E. Semeka-Pankratov; B. Uspenskij* (eds.), *Semiotics and the History of Culture: In Honor of Jurij Lotman*. Columbus (Ohio): Slavica Publishers, 1988.
- Живов 2004 — *Живов В. М.* Из церковной истории времен Петра Великого. М., 2004.
- Забелин 1873 — *Забелин И. Е.* Размышления о современных задачах русской истории и древностей (1860) // *Забелин И. Е.* Опыты изучения русских древностей и истории. М., 1873.
- Законодательство 1986 — Законодательство периода становления абсолютизма / Под ред. А. Г. Манькова. М., 1986. (Российское законодательство X—XX веков / Под ред. О. И. Чистякова. Т. 4.)
- Законодательство Петра 1997 — Законодательство Петра I / Под ред. А. А. Пресображенского, Т. Е. Новицкой. М., 1997.
- Илиева 1984 — *Илиева И.* Владетельский титул Московских великих князей (с середины XV до первой четверти XVI века) // *Bulgarian Historical Review*. 1984. 2. P. 75—87.
- Кавелин 1897 — *Кавелин К. Д.* Взгляд на юридический быт древней России (1846) // *Кавелин К. Д.* Собрание сочинений: В 4 т. Т. 1. СПб., 1897.
- Кавтарадзе 1972 — *Кавтарадзе Г. А.* Крестьянский мир и царская власть в сознании помещичьих крестьян (конец XVII века — 1861 г.): Дис. ... докт. ист. наук. Л., 1972.
- Каменский 2006 — *Каменский А. Б.* Подданство, лояльность, патриотизм в имперском дискурсе России XVIII века: к постановке проблемы // *Ad Imperio*. 4. 2006. С. 59—99.
- Ключевский. I—IX — *Ключевский В. О.* Сочинения: В 9 т. М., 1989.
- Кобрин 1985 — *Кобрин В. Б.* Власть и собственность в средневековой России. М., 1985.
- Колоницкий 1998 — *Колоницкий Б. И.* «Democracy» in the Political Consciousness of the February Revolution // *Slavic Review*. 57. 1998. 1. P. 95—106.
- Миронов 1999 — *Миронов Б. Н.* Социальная история России. Т. I—II. СПб., 1999.



- Памятники... 1987 — Памятники литературы Древней Руси: Вторая половина XVI века / Под ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева. М., 1987.
- Памятники конца XVI... 1987 — Памятники литературы Древней Руси: Конец XVI — начало XVII веков / Под ред. Л. А. Дмитриева, Д. С. Лихачева. М., 1987.
- ПиБ — Письма и бумаги императора Петра Великого. Т. 1—13 — М., 1887—2003 — (издание продолжается).
- Плотников 2001 — *Плотников А. Б.* Ограничение самодержавия в России в 1730 г.: идеи и формы // Вопросы истории. 2001. № 1. С. 60—69.
- Поздеева 1996 — *Поздеева И. В.* Первые Романовы и царистская идея (XVII век) // Вопросы истории. 1996. № 1.
- ПСЗ — Полное собрание законов Российской империи. Собрание первое с 1649 по 12 декабря 1825 г. 45 томов. СПб., 1830.
- Реформы... 1937 — Реформы Петра I / Под ред. В. И. Лебедева. М., 1937.
- Ригельман 1847 — *Ригельман А.* Летописное повествование о Малой России, ся народе и козаках вообще. Ч. III (рукопись 1785—1786 гг.). М., 1847.
- РИО, 1—148 — Сборник Императорского Русского исторического общества. Вып. 1—148 и спецвыпуск. СПб., 1867—1916.
- СДРЯ, I—VIII — Словарь древнерусского языка (XI—XIV вв.). Т. I—VIII — М., 1989—2011 — (издание продолжается).
- СлРЯ XI—XVII, 1—28 — Словарь русского языка XI—XVII вв. Вып. 1—28 — М., 1975—2011 — (издание продолжается).
- СРЯ XVIII, 1—17 — Словарь русского языка XVIII века. Вып. 1—17 — М./СПб., 1984—2011 — (издание продолжается).
- Толстиков 2002 — *Толстиков А. В.* Представления о Государе и Государстве в России второй половины XVI — второй половины XVII века // Одиссей: Человек в истории. М., 2002.
- Фасмер, I—IV — *Фасмер М.* Этимологический словарь русского языка. Т. I—IV. М.: Прогресс, 1987.
- Хорошкевич 1980 — *Хорошкевич А. Л.* Из истории великокняжеской титулатуры в конце XV в. (На примере Московского княжества и Русского государства) // Русское централизованное государство: образование и эволюция. XV—XVII вв. М., 1980. С. 26—30.
- Хорошкевич 1982 — *Хорошкевич А. Л.* Исторические судьбы белорусских и украинских земель в XIV — начале XVI в. // Древнерусское наследие и исторические судьбы восточного славянства / Под ред. В. Т. Пашуто, Б. П. Флоря, А. Л. Хорошкевич. М., 1982.
- Чичерин 1877 — *Чичерин Б. Н.* История политических учений: В 4 т. М., 1877.

- Шанский, I—VIII — Этимологический словарь русского языка / Под ред. Н. М. Шанского. Т. I—VIII. М., 1960—1980.
- Яковлев 1943 — *Яковлев А. И.* Холопство и холопы в Московском государстве XVII в. Т. I. М.; Л., 1943.
- Abadia 1986 — *Abadia J. L.* España y la monarquía universal (en torno al concepto de «Estado moderno») // *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*. 1986. 15. P. 109—166.
- Bushkovitch 2001 — *Bushkovitch P.* Peter the Great: The Struggle for Power, 1671—1725. Cambridge, 2001.
- Bogatyrev 2000 — *Bogatyrev S.* The Sovereign and His Councillors: Ritualised Consultations in Muscovite Political Culture, 1350s—1570s. Helsinki, 2000.
- Brunner 1969 — *Brunner O.* Der Historiker und die Geschichte von Verfassung und Recht // *Historische Zeitschrift*. 209. 1969.
- Cherniavsky 1961 — *Cherniavsky M.* Tsar and People. Studies in Russian Myths. New Haven, 1961.
- Clavero 1986 — *Clavero B.* Tantas personas como estados: por una antropología política de la historia europea. Madrid, 1986.
- Clavero 1987 — *Clavero B.* De un estado, el de Osuna, y concepto, el de Estado // *Anuario de historia del derecho español*. 1987. 57. P. 945—964.
- Cosandey, Descimon 2002 — *Cosandey F., Descimon R.* L'Absolutisme en France. Paris, 2002.
- Cracraft 1994 — *Cracraft J.* Empire versus Nation: Russian Political Theory under Peter I // *Cracraft J.* (ed.). Major Problems in the History of Imperial Russia. Lexington (MA), 1994. P. 224—234.
- Cracraft 2003 — *Cracraft J.* The Revolution of Peter the Great. Cambridge (MA); London, 2003.
- Crummey 1989 — *Crummey R. O.* «Constitutional» Reform during the Time of Troubles // *Crummey R. O.* (ed.). Reform in Russia and the USSR. Urbana; Chicago, 1989. P. 28—44.
- Descimon 1992 — *Descimon R.* Les fonctions de la métaphore du mariage politique du roi et de la république en France, XV—XVIII siècles // *Annales*. 1992. 6. P. 1127—1147.
- Descimon 1995 — *Descimon R.* L'Union au domaine royal et le principe d'inaliénabilité. La construction d'une loi fondamentale aux XVIe et XVIIe siècles // *Droits: Revue française de théorie juridique*. 1995. 22. P. 79—90.
- Descimon, Guery 2000 — *Descimon R., Guery A.* Un État des temps modernes? // *Histoire de la France*. 4 vols. / Ed. A. Burguière, J. Revel. Paris, 2000 (1989). Vol. 4: La longue durée de l'État / Ed. J. Le Goff (ed.). P. 209—513, 521—534.

- Dixon 1999 — *Dixon S.* The Modernisation of Russia, 1666—1825. New York; Cambridge, 1999.
- Duso 2005 — *Duso G.* Il potere e la nascita dei concetti politici moderni // *Chignola S., Duso G.* (eds.). Sui concetti giuridici e politici della costituzione dell'Europa. Milano, 2005. P. 159—194.
- Dyson 1980 — *Dyson K.* The State Tradition in Western Europe: A Study of an Idea and Institution. New York, 1980.
- Hamburg 1992 — *Hamburg G. M.* Boris Chicherin and Early Russian Liberalism 1828—1866. Stanford, 1992.
- Hespanha 1989 — *Hespanha A. M.* Visperas del Leviatán: instituciones y poder político (Portugal, siglo XVII). Madrid, 1989.
- Hespanha 2002 — *Hespanha A. M.* Cultura jurídica europea: síntesis de un milenio. Madrid, 2002.
- Hughes 1998 — *Hughes L.* Russia in the Age of Peter the Great. New Haven; London, 1998.
- Ingerflom, Kondratieva 1993 — *Ingerflom C., Kondratieva T.* “Sans Tsar la Terre est veuve”: syncrétisme dans le *Vremennik* d'Ivan Timofeev // *Cahiers du monde russe et soviétique*. 34. 1993. 1—2. P. 257—266.
- Joukovskaïa-Lecerf 2006 — *Joukovskaïa-Lecerf A.* Hiérarchie et patronage: Les relations de travail dans l'administration russe au XVIIIe siècle // *Cahiers du monde russe*. 2006. 47. P. 551—580.
- Kharkhordin 2005 — *Kharkhordin O.* The State // *Kharkhordin O.* Main Concepts of Russian Politics. Lanham; Boulder; New York; Toronto; Oxford, 2005. P. 1—40.
- Kleimola 1979 — *Kleimola A. M.* Up Through Servitude: The Changing Condition of the Muscovite Elite in the Sixteenth and Seventeenth Centuries // *Russia History / Histoire Russe*. 1979. 6. P. 210—219.
- Kollman 1987 — *Kollman N. S.* Kinship and Politics: The Making of the Muscovite Political System, 1345—1547. Stanford, 1987.
- Koselleck 1979 — *Koselleck R.* Begriffsgeschichte und Sozialgeschichte // *Vergangene Zukunft. Zur Semantik geschichtlicher Zeiten*. Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1979.
- Koselleck 1990 — *Koselleck R.* ‘Staat’ im Zeitalter revolutionärer Bewegungen // *Brunner O., Conze W., Reinhart Koselleck R.* (Hrsg.). *Geschichtliche Grundbegriffe: Historisches Lexikon zur politisch-sozialen Sprache in Deutschland*. 9 vols. Vol. 6. Stuttgart, 1990. S. 25—64.
- LeDonne 1984 — *LeDonne J. P.* Ruling Russia: Politics and Administration in the Age of Absolutism 1762—1796. Princeton, 1984.
- LeDonne 1991 — *LeDonne J. P.* Absolutism and the Ruling Class: The Formation of the Russian Political Order, 1700—1825. Oxford, 1991.
- Lefort 1986 — *Lefort C.* Essais sur le politique, XIXe—XXe siècles. Paris, 1986.

- Lentin 1996 — *Lentin A.* Peter the Great. His Law on the Imperial Succession in Russia, 1722. The Official Commentary. Witney, 1996.
- Meehan-Waters 1982 — *Meehan-Waters B.* Autocracy and Aristocracy: The Russian Service Elite of 1730. New Jersey, 1982.
- Mironov 2000 — *Mironov B.* (with *Eklof B.*). The Social History of Imperial Russia, 1770—1917. 2 vols. Colorado, 2000.
- Petschauer 1978 — *Petschauer P.* In Search of Competent Aides: Heinrich van Huyssen and Peter the Great // *Jahrbücher für Geschichte Osteuropas*. 26. 1978. 4. S. 481—502.
- Raeff 1983 — *Raeff M.* The Well-Ordered Police State: Social and Institutional Change through Law in the Germanies and Russia, 1600—1800. New Haven; London, 1983.
- Raeff 1996 — *Raeff M.* Politique et culture en Russie 18e—20e siècles. Paris, 1996.
- Ransel 1989 — *Ransel D.* The Government Crisis of 1730 // *Crummey R. O.* (ed.). Reform in Russia and the USSR. Urbana; Chicago, 1989. P. 45—71.
- Richet 1973 — *Richet D.* La France moderne: l'esprit des institutions. Paris, 1973.
- Sashalmi 2005 — *Sashalmi E.* Some Remarks on «Proprietary Dynasticism» and the Development of the Concept of State in the 17<sup>th</sup> Century Russia // *Specimina Nova, Pars Prima Sectio Mediævallis III*. Pees, 2005.
- Schaub 1966 — *Schaub J.-F.* Le temps et l'Etat. Vers un nouveau régime historiographique de l'Ancien Régime français // *Quaderni Fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno*. 1966. 25. P. 127—181.
- Schaub 1995 — *Schaub J.-F.* La penisola iberica nei secoli XVI e XVII: la questione dello Stato // *Studi storici*. 1995. 36. P. 9—49.
- Schaub 2005 — *Schaub J.-F.* La notion d'État Moderne est-elle utile? Remarques sur les blocages de la démarche comparatiste en histoire // *Cahiers du monde russe*. 46. 2005. 1—2. P. 51—64.
- Schierle 2007 — *Schierle I.* «For the Benefit and Glory of the Fatherland»: The Concept of Otechestvo // *Barlett R., Lehmann-Carli G.* (eds.). Eighteenth-Century Russia: Society, Culture, Economy. Berlin, 2007.
- Shennan 1974 — *Shennan J. H.* The Origins of the Modern European State 1450—1725. London, 1974.
- Skalweit 1975 — *Skalweit S.* Der «moderne Staat»: ein historischer Begriff und seine Problematik. Opladen, 1975.
- Skinner 2002 — *Skinner Q.* From the State of Princes to the Person of the State // *Skinner Q.* Visions of Politics. 3 vols. Vol. 2. Cambridge, 2002. P. 368—413.
- Szefetel 1979 — *Szefetel M.* The Title of the Muscovite Monarch up to the End of the Seventeenth Century // *Canadian-Australian Slavic Studies*. 1979. 1—2. P. 59—81.

- Vodoff 1980 — *Vodoff W.* Princes et principautés russes, Xe—XVIIe siècles. Northhampton, 1981.
- Wildman, I—II — *Wildman A. K.* The End of the Russian Imperial Army. 2 vols. Princeton University Press, 1980—1987. P. 241—242, 244.
- Whittaker 1992 — *Whittaker C. H.* The Reforming Tsar: The Redefinition of Autocratic Duty in Eighteenth-Century Russia // *Slavic Review*. 51. 1992. I. P. 77—98.
- Zoltán 1987 — *Zoltán A.* Fejezetek az orosz szókines történetéből. Budapest, 1987.

## ДИАХРОННЫЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ *ОПЫТ* И СТАНОВЛЕНИЕ ЕСТЕСТВЕННЫХ НАУК В РОССИИ

В современном русском языке слово *опыт* используется для обозначения разных понятий. Это и научный опыт — испытание, проба, эксперимент; и жизненный опыт — переживание, искушение; и литературный опыт — проба пера, эссе. В европейских языках эти же понятия обозначаются разными словами. В английском — *experiment, experience, essay*; во французском — *expérimentation, l'expérience, essai*; в немецком — *Experiment / Versuch, Erfahrung / Erlebnis, Essai*. Интересно также отметить, что русское слово *испытание* (имеющее тот же корень *пыт-*) тоже многозначно. Передаваемые им значения — это проверка на наличие / отсутствие какого-либо качества, проверка знаний / способностей или переживание. В зависимости от контекста в европейских языках оно переводится по-разному: *test (exam), proof / épreuve, probe, trial*. Мы видим, что термин *испытание* имеет схожее с «опытом» значение «проверки». Что же касается значения переживания, то «испытание» — это сам процесс переживания, а «опыт» — извлеченное из переживания знание.

С практикой «опыта» мы чаще сталкиваемся в научной среде, в то время как термин *испытание* употребляется, в большей степени, для описания технологических процессов и технических устройств (например, испытание ракетных установок или радиоактивных материалов) или экспериментов — процедур-проверок, результат которых заранее непредсказуем (например, испытание медицинских препаратов)<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Вот примеры такого описания в прессе. В данном случае очень показательны примеры заголовков, которые появлялись в прессе об испытании вакцины против вируса птичьего гриппа. «НИИ гриппа ищет добровольцев для испытания вакцины против гриппа H1N1» (<http://medici.ru/news/3486.html> от 13.05.2009); «Начались клинические испытания вакцины против вируса "птичьего" гриппа» (<http://>

Тем не менее в практике «испытания» сильнее выражен морально-нравственный аспект<sup>2</sup>. До XVIII в. этот термин часто использовался при описании практики духовного воспитания. Вот несколько примеров:

Отрывок из документа «Грамота благословенная в духовные отцы», написанного на рубеже XV—XVI вв.:

Сердца же приходящих к нему (*отцу духовному* (курсив мой. — Е. С.)) испытывать согрешения и помышления отговаривать по правилам, овы обличати, нны молити... [АЮБ 1857: 63].

В данной отрывке говорится о необходимости проверки добродетельности человека — «чистоты» его души и отсутствия «дурных» помыслов при посвящении в духовный сан.

Согласно текстам «Стоглава» — памятника истории церковного права, содержащего постановления церковно-земского собора, касающиеся социально-экономических политических и нравственно-религиозных вопросов истории России XVI в. — церковное воспитание являлось основой человеческого бытия.

Священникам подобает своих духовных детей поучати и наказывать прилежно, чтоб все православные крестьяне к церквам божим ходили... И о том о всем известно и достоверно протопопы и старосты испытывают священников и добрых людей и твердо о всем возвещают святителям митрополиту и архиепископам [Российское законодательство, II: 133].

Известно также о переписке, которую в начале XVIII в. Иван Тихонович Посошков (1652—1726, сторонник преобразований Петра I) вел с митрополитом Стефаном Яворским. В ней он жалуется на невежество православных священников и их паствы и выступает за необходимость более тщательного церковного образования.

---

medici.ru/news/3486.html): «Прошла испытания вакцина против "птичьего гриппа"» («Время и деньги» № 177(3124) от 23.09.2009, <http://www.e-vid.ru/index-m-190-p-61-news-5274.htm>). В промышленном контексте значение «испытание» часто передается термином «опробовать». Так, на сайте владельца Саяно-Шушенской ГЭС, ОАО «РусГидро», говорится, что «разбитый страшным ударом воды гидроагрегат № 2 ремонтировали с января по март 2009 года. 12 марта — в ходе испытаний — были проведены "сбросы активной мощности", то есть оборудование опробовали на прочность. Тогда оно выдержало» («Известия» № 151 от 20.08.2009).

<sup>2</sup> Ему сопутствует определенное внутреннее состояние: «испытывать» терпение / жалость / радость / страх. В английском языке эти же фразы выражаются при помощи других глаголов, например: *to hold pleasure, to show patience*.

И буде в чем явитца не исправен, то б отложя иные всякие нужды и церковные службы, того б священника исправил и на вся стези правыя направил: и о всем его утвердя, запретил бы запрещение великим, дабы он о сих предложенных статиях на исповеди детей своих духовных с прилежанием поучал и на путь спасения наставлял... исповедывал, токмо бы *со всяким испытанием и наказанием* [Сборник 1900: 10]<sup>3</sup>.

Хорошей иллюстрацией разницы между *испытати* — *опытати* — *пытати* является отрывок из Сказания о седьмой тысящи, 1492 г.

И наки подобно сему и святыи апостол Петр глаголет: «Приидет же день господень, яко тать в пощи». К великому же Иоанну богослову сам глаголет в откровении: «Се грядю яко тать». И великий апостол Лука глаголет в деяниях: «Ови же убо съшедшеся вопрошаху его, глаголюще: Господи, аще в лето се устраеши царствие Израилево? Он же рече к ним: несть ваше разумети времена и лета, сже отец положи своєю областью». Аще убо апостолом не повеле о сем испытывати, к ним же сам рече: «Вы есте миру и божественаго духа исполнь суще», колми паче нам, иже многих страстей исполнь сущем и всегда богови согрешающим, не подобает пытати, их же бог не повеле. И многа такова в божественном писании обрящени о сем, яко богу съпротивно есть и отпудь отречению, сже божия судьбы опытывати [Казакова, Лурье 1955: 89].

Смысл этого текста такой: Иоанн богослов говорит апостолам, что то, что сделано по воле Господа, «отец положи своєю областью», не подлежит постижению, пониманию, как например, вопрос о создании «царствия Израилева». Апостолам (церковным людям) не велено (не разрешено) разузнать (испытывать) про то, что сделано по воле Господа. Тем более об этом не следует расспрашивать (пытати) тех, кто исполнен страстей, «богови согрешающих», т. е. не церковных людей. В божественном писании есть много такого, что у Господа вызывает осуждение, если к нему относиться без должного внимания, проверять и оценивать его действия («божия судьбы опытывати»).

Иногда значение «проверки» в церковных контекстах также передавалось глаголами *опробовать* / *апробовать*, выступающими аналогами термина *искус*. Для того чтобы правильно понять место Новгородской практики избрания епископов на вече в системе восточно-христианского канонического права, необходимо учесть, что замещение вакантной кафедры состоит из четырех последовательных моментов:

<sup>3</sup> Текст взят с сайта: <http://www.pushkinskiydom.ru/Default.aspx?tabid=842>.



избрание (наречение, *electio*), искус (*agrobatio*), поставление (хиротония, *ordinatio*) и восприятие ставленника церковной общиной (*receptio*) [Мусин 2004: 20].

После выдвижения будущий митрополит должен был встретиться с церковными иерархами, изложить им свою программу, ответить на их вопросы и получить их одобрение, т. е. пройти определенную проверку.

В слове о «Бельцах и монашестве», поставлении иноку, собирающемуся принять монашескую схиму, говорится:

И ты, в бельцах и в иночестве Богу угодивши и душеполезно поживши, беря на себя схимническое бремя, все прошлое, подобно апостолам, забудь и к предстоящему устремляйся. Земную печаль вмени за безделицу и о небесной жизни всегда неси по правилу твоего обета. Не так, как Лют, позабыть в пьянстве стремишь печали, но Христову житию со вниманием подражай. Господь ведь, давши обет о себе всем апостолам, исполнил его, а ты всей братии обещаеши, выполни же это, общий будет тогда тебе с ними Бог: общая любовь, общее воздаяние, общие венцы, и сотворишь во многих телах едину душу, и ради всех награду примешь [Еремин 1956: 349].

Соответственно, возникает следующий вопрос: почему термин *испытание*, который до XVIII в. употреблялся в церковном контексте в значении «проверки» (выяснения «чистоты») души, знания церковных текстов, обладания такими качествами, как благотворительность и богопочитание), стал в эпоху Нового времени употребляться для обозначения практик научно-практической экспертизы?<sup>4</sup>

Становление экспериментальной науки в России сопровождалось заимствованием иноязычной терминологии. В первых, переведенных на русский язык научных трактатах употреблялись латинизмы *натура*, *феномена*, *обсервация*, *экспериментация* и *эксперимент*. Три первых понятия очень скоро в обиходе научной среды стали обозначаться русскими словами *природа*, *явление* и *наблюдение*. *Экспериментация* вообще вышло из употребления, а вот последнее понятие *эксперимент* активно используется в современном научном дискурсе.

Исходя из вышесказанного, в данном тексте я хочу обратить внимание на два основных момента. Почему в русском языке «опыт» как *experience* и «опыт» как *experience* выражаются одним словом? Почему, несмотря на распространенность заимствований иноязычной

---

<sup>4</sup> Этот вопрос я оставляю открытым для последующей дискуссии, в данном докладе сосредоточусь на других аспектах.

терминологии в научном контексте, начиная с XVIII в. и до сих пор, наряду с экспериментом широко используется и опыт?

Как правило, изучение истории терминов и понятий происходит в русле исследования «языковых картин мира» и истории формирования лексического состава. Так, работа русского лингвиста Сергея Ивановича Коткова «Сказки о русском слове» посвящена семантической эволюции некоторых русских понятий. В частности, обсуждается и история термина «опыт». Историческое значение и употребление слов рассматривается в сравнении с их современным значением и употреблением. Автор задается вопросом: «Можно ли обмолачивать то, что называют “опытом”?» [Котков 1967].

Другой филолог, Лидия Леонтьевна Кутина, занималась вопросом формирования русской научной терминологии в таких областях знания, как физика, астрономия, география и математика. В работах «Формирование языка русской науки» и «Формирование терминологии физики» она изучала лексические вариации и смены, описывала «терминологическую сетку», и то, как она «представлена различными книгами разных авторов» [Кутина 1964; 1966].

В данной работе мы предлагаем посмотреть на способы обращения с понятием *опыт* в письменных документах русской истории. Одной из наших задач является установление преемственности между древней практикой допроса, обозначаемой словом *опытати*, опытом-экспертизой, распространившейся в сельском хозяйстве и промышленности начиная с XVI в., и возникшим в XVIII в. научным опытом.

Приведенные ниже примеры демонстрируют изменение значений понятия *опыт* в разных контекстах его употребления, начиная от эпохи Ивана III (пачало формирования единого централизованного государства) до сер. XVIII в., когда опыт стал неотъемлемым элементом экспериментальной науки.

Литературный опыт (рессе) и жизненный опыт (эксперенция) останутся за рамками доклада, они были упомянуты лишь для обозначения общей постановки задачи.

Примеры словоупотреблений мы брали из разных источников: из церковных памятников, из юридических документов, деловой переписки, торгово-промышленных актов и текстов, посвященных становлению и развитию естественных наук.

Слово *опыт* в русском языке появляется в XVI в. из глагола *опытати*. Термин *опытати* в значении «проверка» существовал в двух основных формах: «опытати кого-то» и «опытати про что-то».

А на кого тать возмолвит, ино того опытати: будет прирочной человек с доводом, ино его пытати в гатьбе; а не будет на него прирока с доводом в какове деле прежнем... дати его на поруки до обыску [Российское законодательство, II: 77].

В данном примере мы имеем дело с практикой «опытати» в юридическом контексте, когда речь идет о процедуре расследования. Согласно статье 14 Судебника 1497, показание обвиняемого, изобличающее другое лицо в преступлении, со стороны татя (вора) подлежало проверке. Если оговоренный татем был прирочный человек с доводом (уликами), т. е. рецидивист — тот, кто уже совершил преступление, то он подвергался пытке. В противном случае оговоренный отдавался на поруки до выяснения результатов обыска. Обыск, в данном случае, означал процедуру расследования — опрос добрых (благонадежных) людей с целью определения репутации подсудимого.

Или другой пример из «Софийской второй летописи» — одного из важнейших летописных сводов времени централизованного Русского государства, созданных в первой половине XVI в., чей текст отражает большое количество летописных памятников предшествующего времени, составлявшихся при дворе московских митрополитов и светских правителей.

С Дмитриева же дни стала зима, и реки все стали, и мразы велики, яко не мощи зрети. Тогда царь убояся и с татары побежа прочь... Бяху бо татарове наги и босы ободралися и проеде Серенск и Мценск. И слыша князь велики посла опытати [ПСРЛ, VI: 215].

В данном случае речь идет об историческом факте — «стоянии на реке Угре» (1480 г.), которое завершилось падением на Русь монголо-татарского ига. В этом отрывке повествуется о нападении войска ордынского хана Ахмата на Русь.

Того же лета, злоименный царь Ахмат... поиде на православное хрестиянство, на Русь, на святые церкви и на великого князя, похваляся разорити святые церкви и все православие пленити и самого великого князя, яко же при Батый беше.

Это нападение было спровоцировано тем, что Иван III прекратил уплату дани хану Большой Орды, а в 1480 году отказался признать зависимость Руси от нее. 8 октября 1480 года войска Ахмата попытались форсировать р. Угру, недалеко от города Калуги, но его атака была отбита силами Ивана Молодого — сына Ивана III.

В эти же дни 15—20 октября Иван III получает послание от архиепископа Вассияна Ростовского (отрывок из которого был приведен выше), в котором он призывал последовать примеру прежде бывших князей

...которые не только обороняли Русскую землю от *поганых* (т. е. не христиан, курсив мой. — Е. С.), но и иные страны подчиняли... Только мужайся и крепись, духовный сын мой, как добрый воин Христов по великому слову Господа нашего в Евангелии: «Ты пастырь добрый. Пастырь полагает жизнь свою за овец».

С приближением зимы монголо-татарское войско стало не только испытывать проблемы с продовольствием, но также становится понятно, что их военное снаряжение не предназначено для суровых русских холодов и поэтому в конце октября — начале ноября ими было принято решение отправиться обратно в Орду, о чем и повествуется в вышеприведенном послании. В итоге обе армии повернули вспять, так и не доведя дело до сражения. «Стояние» положило конец монголо-татарскому игу, а Московское государство стало суверенным не только фактически, но и формально.

Параллельно с процедурой «опытати кого-то» существовала практика «опытати про что-то». Вот отрывок из исторического документа: «Указ великого князя Василия Ивановича о назначении прибыть в город Серенск, к Юрьеву дню внешнему, великокняжеским боярским детям и боярскому сыну князя Дмитрия Ивановича, для совместного суда по случаю грабежа многих церквей и самовольном забрани рухляди (имущества. — Е. С.) у Мещовских жителей» (1520):

А что искал поп Никольской из Бышкова на Чюносе на Потрясове... и на иных детях боярских, что его мучили и церковь грабили, да и Савин про ту церковь опытывал... и того попа Никольского воспросити, что у него из церкви взято и кто имел [РИБ, II: 37].

В следующем примере из исторического документа «Список с грамот царя Иоанна IV Васильевича к Шведскому королю» (1573) мы сталкиваемся с очень интересным оборотом для выражения процесса проверки «пытать опытом».

Коли при отце при твоём, при Густаве приезжали наши торговые люди с салом и с воском, и отец твой сам, в рукавицы нарядясь, сала и воску за простого человека место опытом пытал... И то государское ли дело? Коли бы отец твой был не мужичий сын, и он бы так не делал [РИБ, XXII: 42].

В данном случае «опыт» употребляется в торговой сфере, когда речь идет о проверке качества товаров. Иван IV обвиняет шведского короля Юхана III в неблагородном происхождении, т. к. его отец собственноручно проводил экспертизу российских товаров. А не царское это дело — мять воск или щупать сало. Это послание написано в качестве ответного письма, а вся переписка построена на взаимных обвинениях в неблаговидном поведении.

В XVI в. «опыт» обозначает как материал, взятый для проверки, так и сам процесс проверки. В сельском хозяйстве «опытом» называлось определенное количество снопов, взятое для исследования того, каким будет урожай зерна. «Опыт» молотили и замечали, сколько из него получится зерна. Зерно, получаемое в результате «опытапия», именовали также «опытом». В результате подсчитывались валовые сборы зерна. Рудознатцы в разных местах России находили полезные ископаемые. В Москву доставляли «опыты» железа, меди, олова, свинца, соли, селигры и т. п.

Вот отрывок из челобитной Ефима Быкова о назначении его воеводою в Белев за его службу.

Я же был послан... в Кромский уезд для сыску селитряной земли. И я сыскав в Кромах селитряную землю, опыт учинил и прислал тот опыт к тебе, государю, к Москве [АМГ, II: 246].

В XVII в. опыт приобретает значение образца, контрольной пробы, о чем свидетельствует текст письма, посланного «От царя и великого князя Михаила Федоровича всеа Руси, в Сибирь, на Верхотурье, воеводе нашему Максиму Федоровичу Стрешневу да подъячему Максиму Лихачеву» (1645):

Максим Стрешнев посылал... для сыску медные руды, детей своих... и дети наши в разных местах медную руду и тое руды опытывали... Та медь... в Приказе Большие Казны осматривана... и в тех опытах меди не объявилось. И мы указали в Верхотурском уезде доискиваться медныя руды против образца, каков прислан... Велели учинити другой опыт, да что в том опыте объявится и о том отписать и тот опыт и рудные жилы... прислать к нам, к Москве [АИ, IV: 403].

В данном примере мы имеем дело с «опытати» со значением процедуры проверки и «опытом» со значением образца, использующегося в промышленности при исследовании качеств руды. Приведенный отрывок текста содержит инструкцию уральским рудознатцам, которая вменяет им в обязанность на месте проводить пробную плавку

найденной медной руды («учинить опыт», «опытать руду»). Результаты такого опытования — выплавленная медь (опыт) и образцы руды посылались в Москву государю, для удостоверения.

В XVIII в. «опытати» как процедура проверки, и «опыт» как образец начинает употребляться для проверки военного снаряжения. Важным в этой проверке становится опытное (то есть достоверное) свидетельство (1701).

А принимать бы всякое ружье с опыту и за верным свидетельством. И кой дозорщик кое ружье будет досматривать, и на том бы ружье положил он свое дозорное клеймо, чтоб знать было, коего ружья кой дозорщик достоверивал... И если б, государь, зимнюю порою, то мочно б их здесь и опытать, и по свидетельству опытному мочно б иноземца и спросить, для чего он такие негодные кирки велел делать [Посошков 1951: 261].

В данном тексте Иван Тихонович Посошков высказывает мысль о том, что в индустрии, связанной с производством пороха, пушек и промышленных инструментов, должны работать русские люди, такое стратегически важное дело в руки иностранцев отдавать опасно, потому что те вещи, которые они производят, могут быть недостаточно хорошего качества.

С начала XVIII в. «опыт» в значении образца сохраняется, но параллельно в промышленном контексте начинает употребляться латинизм *проба*. Вот отрывок из письма Федора Матвеевича Апраксина, главы Адмиралтейского приказа — центрального государственного учреждения России, в ведении которого находились вопросы, связанные со строительством, вооружением и содержанием флота — Петру Великому (1705).

На железные государь заводы ездил пробовать пушек, и пробовал осьмифунтовых двадцать: из тех не вытерпели пробы только две [ЛБП, III: 76].

1752 год:

И велено... присланные руды через искусных людей в лаборатории при Академии... опробовать окурратно на приличные по их виду металлы... и сколько из которого сорту по пробе окажется какого металла, о том сообщить в Кабинет Ея И. Величества [Биларский 1865: 164].

В данном отрывке наблюдается важная инновация в описании промышленных практик с теми, которые существовали сто лет назад

(ср. с ранее приведенным примером 1645 г.). Процедура «опытания» замещается на опробование, а «опыт» (как образец руды) замещается на «пробу». В тексте дается указание присланные образцы руды передать в лабораторию Академии опытным — искусным, обладающим определенным мастерством, специалистам для точного определения содержания в них разных металлов. О результатах доложить государю.

В это же время «опыт» в значении «проверка», «исследование свойств / качеств» переходит в контексты, описывающие научные испытания над природными явлениями. Процедура опыта становится искусством «вопрошания природы».

Когда посредством опытов естество показывает нам многие такие дела, которых бы мы без того не ведали, то нельзя лучше и яснее представить себе *Опытная Физики*, как под данным ей от Лейбница названием Искусства *вопрошания природы* [Начертание 1779: 6].

Идея о том, что «опыт» подразумевает постановку вопроса, на который исследуемый объект своим «поведением» дает ответ, видно еще из одного определения. «Наблюдатель читает природу, тот же, кто является экспериментатором — спрашивает» (*Roucher-Debatte. Leçons sur l'art d'observer. Paris, 1807. Цит. по [Фуко 1998: 167]*).

Данное определение свидетельствует о разных способах / методах познания.

В работе «Краткое начертание физики» Крафт следующим образом определяет средства, «кои употребляются в исследовании свойств естественных тел» [Краткое начертание 1787: 6—7]:

— наблюдение — это «когда физик устремляет внимание свое на какое-нибудь естественное тело или явление, не изменяя ничего в состоянии оного»;

— опыт — это «когда физик делает нарочно в состоянии тела и явления какую-нибудь перемену, дабы или рассмотреть самому, или показать другим, происходящая от насильствия сего во природу действия».

Цель такого опыта — воспроизвести какое-либо явление в искусственно созданных условиях.

Правда, что есть свидетельства людей вероятности достойных, которые утверждают, что многочисленным плавлением серебро превратить можно в золото. Сии и другие им подобные опыты насильно бы принудили согласиться сему мнению; ежели бы оныя удобным способом показать можно было [Ломоносов 1778: 341].

Важными характеристиками научного опыта становятся публичность, повторяемость, тиражирование результатов.

В XVIII в. в научно-практической сфере помимо «опыт» и «испытание» использовались также «искус», «искушение», «искусство» в значении «проверки» и «практики», требующей особого навыка. То есть семантические поля этих слов перекрывались.

Через искус познаваем, что после ударения тело D поживает, а тело A движется такою скоростию, как прежде ударения неслоь тело D [Краткое описание 1728: 21];

Требуется весьма искусный химик не такой, который только из одного чтения книг понял сию науку, но который собственным искусством в ней прилежно упражнялся: который великое множество опытов делал [Ломоносов 1794: 10];

Самая погрешности предшественников... суть драгоценныя приобретения... без которых во многих случаях не смели бы мы приступить к искушению природы, не подвергая себя опасности заблуждений [Панкевич 1800: 47].

Процесс формирования научной терминологии отразился и в том, что на страницах одного и того же документа можно встретить употребление слов *опыт* и *искус* с одинаковым значением.

В кабинете любопытных вещей Манфреда Септалы каноника в Мсиладе видели кошелек из Азбестового полотна, который от поманутого Манфреда Септалы сделан. Когда ученые люди из иных земель приезжали оного кошелька смотреть, тогда он часто сей опыт делал: положи в тот кошелек несколько манет, потом его в огонь бросал, где те манеты от великого жара разтопились, а оный кошелек невредим остался [Примечания 1728: 52]<sup>5</sup>;

О незгарании полотна тоежде сказать надлежит, что и выше по некоторым искусам о незгарании самого камня упомянул. Положив некоторую часть онаго полотна в огонь, от которого медь гаяла, такую же пробу учинил усмотрел, что... знатная часть чажелины онаго полотна утратилась [Там же: 49].

«Искусство» как вид практической деятельности иногда обозначалось и термином *художество*.

Учением приобретенные познания разделяются на науки и художства. Науки подают ясное о вещах понятие и открывают потаенныя

---

<sup>5</sup> «Примечания на Ведомости» (1728—1742) — первый русский научный журнал.



действий и свойств причины Художества к приумножению человеческой пользы оные употребляют [Слово 1751: 6—7].

В современном русском языке «искус» сохранил значение «жизненного испытания» и церковного обряда, необходимого для пострига в монашество, но (в отличие от слова *испытание*) полностью исчез из сферы науки, а «искусство» сохранило значение мастерства, навыка в каком-либо практическом деле, утратив значение исследовательской практики.

Мы оставляем за рамками данного доклада «искусство» как вид художественного творчества, но не можем не остановиться на термине *искусственный* — рукотворный, созданный для какой-либо специальной цели, поскольку именно такие искусственные условия — неперенный атрибут научного опыта.

Те, кто приобрел определенный навык, мастерство в процессе длительной практической деятельности или «искусства» — это искусные или искусенные люди.

Вот, что пишет М. Ломоносов в письме к И. Шувалову, 1 ноября 1761 г.:

Выбрать хорошия книжки о повивальном искусстве и, самую лучшую положив за основанис, сочинить наставление на российском языке, к чему необходимо должно присовокупить добрые приемы российских повивальных искусных бабок; для сего, созвав выборных, долговременным искусством дело знающих, спросить каждую особливо и всех вообще и, что за благо принято будет, вместить в оную книжку [Письмо 1871: 76].

В этом послании Ломоносов дает распоряжение Ивану Шувалову — фавориту Елизаветы, покровителю искусств и наук о разработке первого русского учебника по акушерству для развития сферы практической медицины.

Итак, приведем некоторые выводы:

XV—XVI вв. «Опытати» — дискурсивная практика проверки. Физическое насилие, вероятно, при этом применяемое, не выделялось в отдельную процедуру. Из этой практики выделились допрос, пытка, искус.

XVI в. В торгово-промышленной сфере появляется практика «опытания» вещей и «опыт», обозначающий как пробу-образец, так и сам процесс проверки-удостоверения.

XVII—XVIII вв. Усложнение и формализация процедуры проверки военного снаряжения и промышленных инструментов привели к возникновению опыта-испытания, предполагающего составление опытного свидетельства, письменную регистрацию полученных результатов.

В XVIII в. термин *опыт* из судебного, торгово-промышленного контекстов переносится в естественно-научный контекст как:

- общая практика познания природы;
- русский вариант *experiment* (опыт-экспертиза) для обозначения процедуры удостоверения знания.

Если в торгово-промышленном опыте, для того чтобы удостовериться, достаточно одного «эксперта», который проверяет качество товара, то научный опыт — процедура публичная, засвидетельствовать которую должен не один человек, а несколько коллег-экспертов, которые в будущем смогут повторить наблюдаемые ими эксперименты. Формируется профессиональная группа экспертов-испытателей, «искусных людей», обладающих особым опытом (*experience*).

Современные словари выводят опыт-эксперимент от лат. *experimentum* и говорят о схожести (если не полной идентичности) практик, обозначаемых этими словами.

В «Словаре современного русского литературного языка» мы читаем следующее определение: «Эксперимент — научно поставленный опыт. Опыт — проверка научных знаний лабораторным путем» [ССРЛЯ 1959: 986; 1965: 1775]. «Словарь русского языка» рассматривает эти термины как полностью взаимозаменимые: «Эксперимент / опыт — воспроизведение какого-л. явления или наблюдение нового явления в определенных условиях с целью изучения, исследования; опыт / эксперимент» [СРЯ 1999: 635].

Особенно ярко сосуществование «опыта» и «эксперимента» выражено в сфере естественных наук. Однако если обратиться к реальной нарративной практике, сложившейся в научной среде, можно заметить определенные нюансы.

Устойчивые словосочетания со словами *опыт* и *эксперимент*  
(на примере сообщества физиков)

А. Когда за каким-то экспериментально установленным открытием закрепляется имя его автора, то это всегда «опыт». Например, «опыты Торричелли» (исследование феномена вакуума, атмосферного давления), или «опыты Павлова» (изучение условно-рефлекторной деятельности), опыты Майкельсона об измерении зависимости скорости света от движения Земли.

А. Разделы физики, как правило, делятся на теоретическую науку и экспериментальную. Во времена Ломоносова говорили «опытная физика», но теперь это анахронизм (в «Словаре церковнославянского и русского языка» 1847 г. уже читаем «экспериментальная физика»).

## Продолжение таблицы

<p>В. Опыт — это действие с предсказуемым, спланированным результатом. Он либо что-то подтверждает, либо опровергает; поэтому, проводят цепочку/серию опытов. Например, в учебниках описывают опыты, во время лекции показывают опыты; рассказы об опытах в таких работах приводятся согласно трюичной схеме: приготовление — осуществление — объяснение (интерпретация).</p>	<p>В. Эксперимент — это действие с непредсказуемым результатом.</p>
---	---

Можно сказать, что опыт — это специально подготовленная демонстрация явления и полученные из нее выводы. Это практика, подразумевающая строго определенную, повторяемую процедуру. Эксперимент — это процедура, связанная с поиском неизвестного.

Отталкиваясь от этого современного утверждения, окунемся в историческую перспективу. Понятие *опыт* занимало философов с давних пор. С первыми размышлениями на эту тему мы сталкиваемся в древнегреческой философии. Для Аристотеля опыт обозначал привычку, позволяющую человеку действовать в схожих ситуациях, т. е. в тех, о которых у него уже есть схожие воспоминания, полученные на основе чувств. Такие чувственные восприятия рожают память, из которой рождается опыт (*empeiria*). Из опыта возникает принцип искусства (мастерства) *techné*, и принцип науки *epistémé*. Науки, когда речь идет о том, что это такое, искусства, когда дело касается его производства [Butler 2003: 332, 347].

В XIII в. на тему различий между *experience* и *experiment* рассуждал францисканский монах Роджер Бэкон. В его трактовке понятие *опыт* носит двоякий характер. Он различает опыт внутренний, верхние ступени которого направлены к вершинам духовной жизни и мистики, и опыт внешний, приобретаемый посредством чувств. Именно последний лежит в основе всех истинных научных познаний и, в частности, в основе экспериментальной науки.

Выражение *экспериментальная наука* (*scientia experimentalis*) впервые в истории общественной мысли вышло из-под его пера в труде «Opus Majus»<sup>6</sup>. Согласно Бэкону, над всеми остальными видами

<sup>6</sup> Отрывки из трактата Роджера Бэкона Opus Majus взяты на сайте <http://www.biblicalstudies.ru/Books/Jilson3-9.html>.

знания ее возвышают три прерогативы. Первая состоит в том, что она дает уверенность в истинности. Любые науки, используя метод дедукции, исходят из опытов, рассматриваемых как принципы, или начала, и путем рассуждений выводят из них свои заключения. Но если они хотят иметь полное и конкретное доказательство своих заключений, то вынуждены обращаться за этим к экспериментальной науке.

Вторая прерогатива экспериментальной науки заключается в том, что она может утвердиться в той точке, где заканчивается любая другая наука, и доказать истины, которых другие науки не могли бы достичь собственными средствами. Третья прерогатива, не связанная с другими науками, состоит в могуществе самой экспериментальной науки, позволяющем ей раскрывать тайны природы и получать такие результаты, которые помогут ей утвердить власть тех, кто ею обладает.

«Opus Majus» не является целостным изложением новой науки, поскольку этой наукой люди еще не обладают, ее только предстоит создать. Бэкон лишь призывает к экспериментальным исследованиям, в особенности, к практике научного опыта. К этой теме он возвращается неустанно: рассуждения ничего не доказывают, все зависит от опыта («Nullus sermo in his potest certificare, totum enim dependet ab experientia»).

Позже призыв Р. Бэкона был подхвачен Ф. Бэконом (1561—1626), создателем «естественной науки на опытах», получившей широкое распространение начиная с XVI в. Френсис Бэкон рассматривал «естественную науку на опыте» как главную науку в корпусе всех философских наук, которая включает в себя всю совокупность объяснительных наук, выделяя в качестве основных характеристик такой «экспериментальной философии» эмпиризм и методизм. Вот как он описывал проект развития такой новой науки:

Производя какой-нибудь тонкий и новый эксперимент, следует сообщать и методику, применявшуюся в нем, чтобы люди могли свободно судить об истинности или ложности информации, даваемой этим экспериментом, и чтобы побудить их к поискам, если это возможно, более точной методики [Бэкон 1978: 226].

Выступая за индуктивный метод, он подчеркивал важность систематической и непрерывной программы исследования, выполненной сообществом ученых.

«Дом Соломона», который Ф. Бэкон описал в работе «Новая Атлантида» (1627 г.), стал моделью для создания открытых научных об-

ществ, начало чему было положено Лондонским Королевским Обществом (1660 г.). В «Новом Органоне» Ф. Бэкон не просто сравнивал ученых с муравьями, которые «коллекционируют вещи», но размышлял о методе, который бы заставил природу обнажить свои секреты и законы функционирования за счет использования более достоверного метода, чем простое наблюдение.

В Новое время все более явным становится направленность процесса познания на получение практического результата. Новая наука уходит от созерцания и основывается на «делании» вместо «размышления» (*doing than mere reasoning*). Результатом такой научно-практической деятельности становится новое знание о внешнем мире.

Т. е. в экспериментальном опыте соединяется опыт как принцип (*experientia*) и опыт как наглядность (*experimentum*).

Итак, как мы видели исторически в русском контексте понятие *опыт* означало:

- процедуру исследования (проверку);
- объект исследования (образец / пробу);
- результат исследования (вынесенное из него знание).

В современном русском языке «опыт» как образец вышел из употребления. За «опытом» сохранилось значение процесса проверки и результата исследований. Опыт — специально подготовленная демонстрация явления и полученные из нее выводы. Эксперимент — это процедура, связанная с поиском неизведанного. Знание, полученное в результате опыта-*experiment*, увеличивает опыт-*experience* («опытность»). Именно этот факт и обуславливает то, что жизненный и научный опыт обозначаются одним словом.

Такая многозначность (совмещение в слове *опыт* и значения научной процедуры и приобретенных навыков и переживаний) способствовало возвышению этого термина до философской категории («опыт — критерий истины»).

## ЛИТЕРАТУРА

- АИ — Акты Исторические, собранные и изданные Археографическою комиссией. СПб., 1842. Т. IV (1645—1676 гг.).
- АМГ — Акты Московского Государства. СПб., 1894. Т. II (1635—1659).
- АЮБ — Акты, относящиеся до юридического быта Древней России. Т. I. СПб., 1857.

- Биларский 1865 — *Биларский П. С.* Пробы Оренбургских руд // Материалы для биографии Ломоносова. СПб., 1865.
- Бэкон 1978 — *Бэкон Ф.* Приготовление к естественной и экспериментальной истории // *Бэкон Ф.* Сочинения в 2 т. Т. 2. М. Мысль. 1978.
- Еремин 1956 — *Еремин И. П.* Литературное наследие Кирилла Туровского: Труды отдела древнерусской литературы. Т. XII. М.; Л., 1956.
- Казакова, Лурье 1955 — *Казакова Н. А., Лурье И. С.* Антифеодалные еретические движения на Руси XIV — начала XVI в. М.; Л., 1955.
- Котков 1967 — *Котков С. И.* Сказки о русском слове. М., 1967.
- Краткое начертание 1787 — Краткое начертание физики. О Физике вообще, о всеобщих свойствах естественных тел, о свойствах воздуха, воды, огня, света, магнита и электрической силы. Перевел с фр. рукописи гос. Крафта Гав. Широкой. 1787.
- Краткое описание 1728 — Краткое описание Комментариусов АН. Ч. I. 1728.
- Кутина 1964 — *Кутина Л. Л.* Формирование языка русской науки. Терминология математики, астрономии, географии в первой трети XVIII в. М.; Л., 1964.
- Кутина 1966 — *Кутина Л. Л.* Формирование терминологии физики в России: первая треть XVIII в. М.; Л., 1966.
- Ломоносов 1778 — *Ломоносов М. В.* Слово о рождении металлов от трясения земли // *Ломоносов М. В.* Собрание разных сочинений в стихах и прозе. Кн. 3. М., 1778.
- Ломоносов 1794 — *Ломоносов М. В.* Слово о пользе химии // Полное собрание сочинений М. В. Ломоносова в 6-ти ч. Ч. III. СПб., 1794.
- Мусин 2004 — *Мусин А.* «Вечно ли избрание на вече? // Челов. Альманах. Великий Новгород. 2004. № 3.
- Начертание 1779 — Начертание открытого прохождения опытная физики преподаваемая при Императорской Санктпетербургской Академии Наук в пользу ее любителей. Перев. с фр. рукописи г. акад. Крафтом. Ч. I. 1779.
- Панкевич 1800 — *Михаил Панкевич.* Слово об отличительных свойствах, источниках и средствах просвещения. 1800.
- ПБП — Письма и бумаги императора Петра Великого. СПб./Пг., 1893. Т. III (1704—1705).
- Письмо 1871 — Письмо М. В. Ломоносова к Ивану Шувалову // Беседы в Обществе любителей Российской словесности. Вып. 3. М., 1871.
- Посошков 1951 — *Посошков И.* О ратном поведении // Книга о скудости и богатстве. М., 1951.
- Примечания 1728 — Об азбесте // Примечания на Ведомости. СПб., 1728—1742.

- ПСРЛ — Полное собрание русских летописей. Софийская вторая летопись // ПСРЛ. СПб., 1853. Т. VI. Вып. 2.
- РИБ — Русская историческая библиотека, изданная Археографической комиссией. Т. II. СПб., 1875. Т. XXII. СПб., 1908.
- Российское законодательство, I—IX — Российское законодательство X—XX веков: В 9 т. / Отв. ред. А. Д. Горский. М., 1985.
- Сборник 1900 — Сборник писем И. Т. Посошкова к митрополиту Стефану Яворскому. Сообщил В. И. Срезневский. СПб., 1900.
- Слово 1751 — Слово о пользе химии // Ломоносов М. Собрание разных сочинений в стихах и в прозе господина коллежского советника и профессора Михаила Ломоносова. Кн. I—II. М., 1757—1759.
- СРЯ — Словарь русского языка в 4 т. Т. II. М.: Русский язык, 1999.
- ССРЛЯ — Словарь современного русского литературного языка в 17 т. Т. VIII. М.; Л., 1959. Т. XVII. М.; Л., 1965.
- Фуко 1998 — Фуко М. Рождение клиники / Пер. с фр., науч. ред., предисл. А. М. Тхостов. М.: Смысл, 1998.
- Butler 2003 — Butler T. Empeiria in Aristotle. Southern Journal of Philosophy. 2003. 41 (3).

И. Б. ДЯГИЛЕВА

## «ИДЕОЛОГИЯ ГОМЕОПАТИИ»: К ИСТОРИИ ОДНОГО ПОНЯТИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ XIX ВЕКА

Многое из мира вещей, окружающих нас сегодня, было создано в «золотом» веке — телеграф, телефон, радио, фотоаппарат и даже велосипед. XIX век — век открытия электрического тока (и создания первой электрической лампочки), учения об эволюции живой природы и наследственности, революционных изменений в медицине (открыты бактерии и рентгеновские лучи, применены впервые анестезия и дезинфекция). Вследствие стремительного развития научных знаний в языке появлялось множество новых слов, часть из которых заимствовались из других языков.

В 1796 году немецкий врач, профессор Лейпцигского университета Самуил Ганеман впервые опубликовал материалы своих наблюдений, ставшие основой новой медицинской системы — гомеопатии. Новое слово было составлено Ганеманом из двух греческих слов — *homoiós* (подобный) и *pathos* (болезнь, страдание) — и отражало основной принцип нового учения: подобное лечится подобным, т. е. болезни излечиваются лекарствами, вызывающими в здоровом человеке те же симптомы, которые есть у больного. Как писали в журналах XIX века: «Сущность гомеопатии состоит в следующем простом положении: клин клином выгоняй» [Библиотека для чтения 1840: 165].

Новое слово *Homöopathie* быстро перешло из немецкого в европейские языки: *homéopathie* (франц., 1827), *homeopathy* (англ., 1827), *homeopatía* (исп.), *omeopatía* (итал.). В России появление гомеопатии было связано с именем доктора Карла Берхарда Триниуса (племянником Ганемана), который в 1809 году приехал в Санкт-Петербург в качестве врача герцогини Вюртембергской, а в 1824 году был назначен лейб-медиком Царской Семьи [Бутенин 2004: 14]. По всей видимости, широкое обсуждение новой «врачебной науки» началось на страницах журналов и газет в 1827 году «Врачебными записками»



д-ра Маркуса [Московский Телеграф 1827], и уже в 1830 году новое слово фиксируется в словаре Евстафия Ольдскопа [Евстафий Ольдскоп 1830: 170].

Основные принципы гомеопатии — подобия и очень малого количества лекарственного вещества — противоречили «старой медицине», были необъяснимы и непонятны, что приводило к восприятию гомеопатии «на веру». Широко употреблялись словосочетания *верить в гомеопатию, вера в гомеопатию, верен гомеопатии*. Как писал В. И. Даль, сам прошедший путь от полного отрицания нового метода до его самостоятельного активного использования:

Капля камень долбит; гомеопатия исподволь пробилась во все слои общества и равнодушных к ней, или печных, найдется немного; одни за, другие против [Даль 1861: 216].

У отрицающих научный характер гомеопатической медицины слово *гомеопатия* регулярно употреблялось в одном ряду с такими словами, как *спиритизм, магнетизм, мистицизм, шарлатанизм, френология*, а *гомеопат* — со словами *магнетизер, мистик, шарлатан*. Отрицательно относились к гомеопатии и некоторые знаменитые русские писатели, например И. С. Лесков, А. П. Чехов, Л. Н. Толстой, что находило свое отражение в их произведениях. Так, один из героев А. П. Чехова, помещик Котлович, «ничего не делал, ничего не умел, был какой-то кволий, точно из пареной репы; лечил мужиков гомеопатией и занимался спиритизмом», и, как и другие «умственно не свободные люди», отличался «путаницей понятий» [Чехов 1984: 15].

В 1835 году А. А. Плюшар приступил к изданию «Энциклопедического лексикона» под редакцией Н. И. Греча и О. И. Сенковского, заявленного как «национальное литературное предприятие» [Библиотека для чтения 1834: 31]. Свою задачу редакторы обозначили следующим образом:

В изложении какой-либо отдельной науки, не нужно входить во все ее подробности: довольно, если мы незнающим и непосвященным в ее тайны растолкуем существо предмета, его отличительные свойства, и укажем пути к дальнейшему усовершенствованию [Там же: 33].

Каким же образом авторитетное энциклопедическое издание излагает сущность гомеопатии? Прежде всего, обращает на себя внимание объем словарной статьи — почти семь страниц, а также большое число оценочных высказываний, которые обычно не встречаются на страницах энциклопедий:

Эта *эскулапическая ересь* подверглась множеству строгих критик [Библиотека для чтения 1834: 432];

В этом сочинении он (Ганеман) лучше определил свои *патологические* правила [Там же];

Ганеман *защел стиликом далеко*, чтоб не сказать — *завертелся* [Там же];

Эти бесконечно малые приемы лекарств, относительно своих действий на больные тела, совершенно для нас непонятны. Многие врачи справедливо *насмехались* над ними [Там же: 434];

Этими *фантастическими* воззрениями и *ложными* началами он (Ганеман) *убивает*, в неосторожном враче, всякое *рассуждение* [Там же: 437].

Однако автор словарной статьи — Эдуард Иванович Эйхвальд, доктор медицины, доктор философии, выдающийся палеонтолог, будучи истинным ученым, не может не отметить объективно ряд достижений гомеопатии для всей медицины в целом.

Споры с гомеопатами и возбужденное ими соревнование оказали то *спасительное влияние*, что теперь все вообще врачи стали менее щедры на сильные аптечные пособия и более строги относительно диеты, главной двигательницы и опоры здоровья [Там же: 436];

Есть случаи, где можно употребить ее (гомеопатию) с *большими успехами*. Например, когда врач не может узнать существа какой-нибудь болезни [Там же];

*Заслуживает* также *внимания* в учении гомеопатов простой способ приготовления их лекарств [Там же].

Несмотря на двойственность оценки, автор энциклопедической статьи понятийно определяет гомеопатию как «новую медицинскую систему» [ЭЛ, XIV: 431]. Отнесение гомеопатии к категории систем в ряде научных изданий (ср.: «врачебная система» [Клюшников 1878: 469], «система лечения болезней» [Грот 1891: 853]) соседствовало с пониманием гомеопатии и просто как нового способа лечения (ср.: «врачебный способ Ганемана» [Толль 1863: 699], «особый способ лечения» [Бр. 1893: 151]).

Медицину, существовавшую до появления гомеопатии, стали называть *классической*, *старой*, *научной*, *обыкновенной*, *аллопатической* или *аллопатией*. Новый термин был введен также Ганеманом — от греческого *allos* (иной, другой) и *pathos* (болезнь, страдание) — и отражал основное отличие старой системы от новой, состоявшее в лечении противоположного противоположным, а не подобного подобным. Гомеопатия действительно представляла собой

новую систему в медицине со своими законами (например, закон «малых доз») и теорией происхождения всех болезней. На практике больной рассматривался как единое целое с функциональной точки зрения, лекарство подбиралось одно по принципу подобия и должно было устранять прежде всего причину болезни, а не только ее внешние проявления.

В русском языке XIX века слово *гомеопатия*, как и ряд производных от него, существовало в двух фонематических вариантах: *гомеопатия* — *омеопатия*, *гомеопат* — *омеопат*, *гомеопатический* — *омеопатический*, *гомеопатически* — *омеопатически*. Ср.:

Медицина омеопатическая не заметила, что в ее симптоматике недостает болезненных симптомов от меда и что при этом недостатке, по основным же правилам омеопатии, успешное лечение золотушной болезни (самой обыкновенной и самой важной в России) совершенно невозможно [Хомяков 1846].

В статьях В. Г. Белинского встречается словообразовательный вариант слова *гомеопатия* — *гомеопатизм*, не закрепившийся, однако, в русском языке. Ср.:

Чему приписать эту доверенность, которую со дня на день более и более приобретает *гомеопатизм*? Неужели мода? [Белинский 1953: 256].

Значение слова *гомеопатия* можно сформулировать следующим образом.

Гомеопатия — это система лечения болезней, основанная на применении малых доз тех лекарств, которые в больших дозах вызывают у здорового человека признаки подобного болезненного состояния. В устойчивых сочетаниях *лечить гомеопатией*, *перехватить гомеопатией* в слове начинает развиваться значение ‘гомеопатическое лекарство’, сформировавшееся к началу XX века. Ср.:

Глаза мои в исправности, но когда настанут холодные ветра и сырость, *гомеопатия* понадобится [Игнатьев 1877];

Сколько я ни убеждал Сидора, что туг никакого наговора нет, что это просто *гомеопатические лекарства*, которые можно купить и давать, когда кто заболест, что *гомеопатией* все *лечат*, потому что это не трудно, не требует никаких знаний, — он все-таки остается при своем [Энгельгардт 1873].

Почти одновременно с существительным *гомеопатия* в русском языке зафиксированы однокоренные образования: *гомеопат*, *гомео-*

*патка, гомеопатический, гомеопатически.* Слово *гомеопат* употреблялось для обозначения как врачей, лечащих гомеопатией, так и вообще людей, лечащихся или готовых лечиться гомеопатически, приверженцев гомеопатии. Ср.:

Почти все *омеопаты* были некогда аллопатами, учились по-крайней-мере Иппократовой медицине; но ни один аллопат не был *омеопатом* [Даль 1838: 47];

Но ты, кажется, не *гомеопат*, Стеллиньский, не хочешь ждать, чтоб природа подала тебе бутылку и вместо капельных приемов гратишь столько вина зараз, что им бы, по методу Ганемана, можно было напонтъ допьяна всех рыб Финского залива на пятьдесят лет, не считая этого [Бестужев-Марлинский 1833].

Соответственно те же значения прослеживаются и в слове *гомеопатка* — ж. к *гомеопат*. Ср.:

В Париже занимается с большим успехом гомеопатиею молоденькая жена доктора Ганемана, которая совершенно переняла методу лечения своего мужа и очень счастливо лечит многих молодых людей, которые может быть, из любви к прелестной *гомеопатке* прикидываются больными» [Отечественные записки 1841: 105];

Икота была излечена совершенно. На заявление пациентки, строго правдивой женщины, можно было положиться вполне. Она уже давно *гомеопатка* и в течение последних трех лет лечилась у меня от хронической горловой боли [Гомеопатический вестник 1889: 111].

Прилагательное *гомеопатический* употреблялось в следующих значениях.

1. Основанный на гомеопатии. *Гомеопатическое лечение, гомеопатическая терапия, гомеопатическая практика.*
2. Применяемый в гомеопатии. *Гомеопатические лекарства, средства, медикаменты; 2. капли, крупинки, порошки; гомеопатическая доза. Гомеопатическая аптечка* — о наборе гомеопатических лекарственных средств.
3. Относящийся к гомеопатии. *Гомеопатический врач, доктор. Гомеопатическая литература; гомеопатический журнал, лечебник, книга. Гомеопатическая академия, институт; 2. общество. Гомеопатическая полемика, поговорка; Гомеопатическая больница, лечебница* — о больнице, где лечат больных только гомеопатическими средствами. *Гомеопатическая аптека* — об аптеке, в которой продаются гомеопатические лекарства.

4. Микроскопически малый. *Гомеопатическая доза, гомеопатическая порция, гомеопатический прием. Гомеопатический завтрак, гомеопатическое письмо.*

Употребление прилагательного *гомеопатический* в переносном значении подтверждает положение Ю. С. Сорокина о перенесении специальных терминов медицины на общелитературную почву с 30—40-х гг. XIX в. и процессе их образного переосмысления [Сорокин 1965: 411]. Интересно отметить, что не только само прилагательное *гомеопатический* встречалось в образном употреблении, но и целый ряд словосочетаний, в которые оно входило: *гомеопатическая крупинка, гомеопатическая доза, гомеопатический прием*, при этом высказывание могло выражать как крайне негативную оценку чего-либо, так и в высшей степени положительную. Ср.:

В другую карету вспрыгнула Мариорица, окруженная услугами молодых и старых кавалеров. Только что мелькнула ее *гомеопатическая* ножка, обутая в красный сафьянный сапожок, — и за княжнюю полезла ее подруга, озабоченная своим роброном [Лажечников 1835];

Как могу я изобразить эту необыкновенную и благопристойную смесь красоты, блеска, приличия, веселости, любезной солидности и солидной любезности, резвости, радости, все эти игры и смехи всех этих чиновных дам, более похожих на фей, чем на дам, — говоря в выгодном для них отношении, — с их лилейно-розовыми плечами и личиками, с их воздушными станами, с их резво-игривыми, *гомеопатическими*, говоря высоким слогом, ножками? [Достоевский 1846];

Сербия будет рано или поздно захвачена Австро-Венгриєю, лучше ей совсем не трогаться и сидеть смирно, нежели опоздать и нам наделять лишь хлопот уже тогда, когда трактовать будем о мире. Катарджи отправился в Белград. Посмотрим, что выйдет. Ты видишь, добрейшая жинка, что я не отстаю от прежней своей политической деятельности, хотя в самой *гомеопатической дозе* [Игнатьев 1877].

Характерным явлением для прилагательного *гомеопатический* стало его употребление в образных контекстах. Ср.:

Как пришлось прощаться с Колушкой, так мелкая душа ее (Ульяны Степановны) сжалась в *гомеопатическую* крупинку [Новинская 1861: 743].

Не менее яркие словоупотребления встречаются и с наречием *гомеопатически*, которое помимо своего основного значения — ‘гомсепатическим способом’ (например, *лечить гомеопатически*), может приобретать значение ‘в малой степени, немного’. Ср.:

Я очень люблю татар, и это не удивительно: в моих жилах хотя *гомеопатически*, но все течет капля их крови [Фукс 1840: 171].

В следующей цитате наречие *гомеопатически* употреблено в образном контексте, образность в котором достигается аналогией с приготовлением гомеопатических лекарств, разводимых многократно в воде. Ср.:

Какой прозаический, песнопный французский этот язык! Особливо в переводе гна Цурикова, поэзия Пушкина разведена *гомеопатически* — в ведрах, в бочках воды... Читать досадно! [Сын Отечества 1839: 43]

В словарях русского языка остаются не зафиксированными относящиеся к гомеопатии термины: *гомеопатичный*, *гомеопатичность*, вошедшие в употребление к концу XIX века. Это связано, по всей видимости, с тем, что они имели узкое медицинское значение, в основном использовались в специальной литературе. Ср.:

Для излечения данного болезненного состояния организма необходимо, следовательно, найти подобно-действующее средство, или лекарство *гомеопатичное* этому состоянию [Врач-гомеопат 1898: 421];

Лекарство, для того чтобы излечивать болезнь, должно быть ей *гомеопатично* [Вестник гомеопатической медицины 1900: 320];

«Сабадилла такое средство, пользоваться которым учит скорее опыт, а не априорное знакомство с ее действиями. Впрочем, руководствуясь ее *гомеопатичностью* к известному болезненному состоянию, можно прибегать к ней с полным доверием» [Юз 1901: 735].

Значение слова *гомеопатичный* можно определить как 'вызывающий симптомы, подобные, сходные картине болезни', а *гомеопатичность* — 'свойство вызывать симптомы, сходные, подобные картине болезни'.

Таким образом, в начале XIX века произошло заимствование понятия *гомеопатия* и параллельно термина, его определяющего. В языке семантический потенциал понятия реализовался на словообразовательном уровне в формировании гнезда: *гомеопат*, *гомеопатка*, *гомеопатический*, *гомеопатически*, *гомеопатичный*, *гомеопатичность*. На основе разившегося переносного значения прилагательное *гомеопатический* приобрело новое качественное значение ('микроскопически малый') и заняло свое место в парадигматическом ряду синонимов: *маленький*, *крохотный*, *крошечный*, *микроскопический*, *миниатюрный*, *мизерный*, *гомеопатический*, *лилипутский*. Для обозначения отделения новой медицинской системы от старой про-

изошло параллельное заимствование термина аллопатия, и соответствующее развитие получил словообразовательный ряд слов: *аллопат, аллопатический, аллопатически*. С появлением понятия о *гомеопатии* в языке образовалась терминосистема, включившая целый ряд новых терминов: потенцирование, дециллионный, разведение (12-е, 30-е и др.), динамическая сила, тинктура и др.

## ЛИТЕРАТУРА

- Белинский 1953 — *Белинский В. Г.* Карманный гомеопатический лечебник Фр. Болявского // *Белинский В. Г.* Полн. собр. соч. Т. 1. М., 1953.
- Бестужев-Марлинский 1833 — *Бестужев-Марлинский А. А.* Фрегат «Надежда». 1833. ([ruscorgora.ru](http://ruscorgora.ru))
- Библиотека для чтения 1834 — Библиотека для чтения. Т. 7. СПб., 1834.
- Библиотека для чтения 1840 — Библиотека для чтения. Т. 39. СПб., 1840.
- Бр. 1893 — Энциклопедический словарь / Изд. Ф. А. Брокгауз, И. А. Ефрон. Т. IX. СПб., 1893.
- Бутенин 2004 — *Бутенин А. М.* Гомеопатия и православие. М., 2004.
- Вестник гомеопатической медицины 1900 — Вестник гомеопатической медицины. Т. 2. 1900.
- Врач-гомеопат 1898 — Врач-гомеопат. 1898. № 6.
- Гомеопатический вестник 1889 — Гомеопатический вестник. 1889. № 9.
- Грот 1891 — Словарь русского языка / Под ред. П. Я. Грота. Вып. 1. СПб., 1891.
- Даль 1838 — *Даль В. И.* Об омеопатии // Современник. Т. XII. 1838. С. 43—72.
- Даль 1861 — *Даль В. И.* Верующие и неверующие (из письма доктора В. И. Даля к больному приятелю) // Журнал гомеопатического лечения. 1861. № 1. С. 216—220.
- Достоевский 1846 — *Достоевский Ф. М.* Двойник. 1846. ([ruscorgora.ru](http://ruscorgora.ru))
- Евстафий Ольдекоп 1830 — *Евстафий Ольдекоп.* Карманный франко-русский и русско-французский словарь. Т. 1, ч. 2. СПб., 1830.
- Игнатъев 1877 — *И. П. Игнатъев.* Походные письма 1877 года. ([ruscorgora.ru](http://ruscorgora.ru))
- Клюшников 1878 — Всенаучный (энциклопедический) словарь / Под ред. В. Клюшникова. СПб., 1878. Ч. 1.
- Лажечников 1835 — *Лажечников И. И.* Ледяной дом. 1835. ([ruscorgora.ru](http://ruscorgora.ru))
- Московский Телеграф 1827 — Московский телеграф. 1827. № 24.

- Новинская 1861 — *Новинская*. Мачиха // Русский вестник. Т. 33. 1861.
- Отечественные записки 1841 — Отечественные записки. Т. XIX. 1841.
- Сорокин 1965 — *Сорокин Ю. С.* Развитие словарного состава русского литературного языка. 30—90-е годы XIX века. М., 1965.
- Сын Отечества 1839 — Очерк русской литературы за 1838—1839 г. // Сын Отечества. Т. 11. Вып. 3. 1839. С. 33—62.
- Толль 1863 — Настольный словарь для справок по всем отраслям знания / Под ред. Ф. Толя. Т. 1. СПб., 1863.
- Фукс 1840 — *Фукс А.* Записки о чувашах и черемисах Казанской губернии. Казань, 1840.
- Хомяков 1846 — *Хомяков А. С.* Мнение русских об иностранцах. 1846 // Карамзин: pro et contra. СПб., 2006.
- Чехов 1984 — *Чехов А. П.* Ариадна // *Чехов А. П.* Сочинения в четырех томах. Т. III. М., 1984.
- ЭЛ XIV — Энциклопедический лексикон / Изд. А. Плюшара. Т. 14. СПб., 1838.
- Энгельгардт 1873 — *Энгельгардт А. Н.* Письма из деревни (1872—1887 гг.). ([ruscorpora.ru](http://ruscorpora.ru))
- Юз 1901 — *Юз Р.* Руководство к фармакодинамике. СПб., 1901.



## РУССКИЙ ВЗГЛЯД НА «ЗАПАДНЫЕ» КОНЦЕПТЫ: ЯЗЫКОВЫЕ ДАННЫЕ

### ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Как известно, в каждом языке есть свои особые концептуальные конфигурации, которые закрепляются в значении языковых единиц и принимаются говорящими на данном языке как нечто само собой разумеющееся: совокупность представлений, соответствующих этим концептуальным конфигурациям, называется языковой картиной мира. Языковая картина мира формируется неявными компонентами значений языковых выражений, т. е. теми компонентами, которые не попадают в фокус внимания в процессе повседневной коммуникации, люди на них не обращают внимания и полагают, что таким образом и устроен мир, и только при знакомстве с другими языками иногда с удивлением обнаруживают, что их носители воспринимают мир иначе. В этом смысле изучение языковых контактов и трудностей, возникающих при межкультурной коммуникации, позволяет обнаружить такие особенности языковой концептуализации мира, которые изнутри одного языка скорее всего остались бы незамеченными. В частности, весьма показательны восприятие носителями языка иноязычных концептуальных конфигураций, отсутствующих в родном языке.

В нижеследующей заметке речь пойдет о языковых данных, свидетельствующих об особенностях рецепции концептов «западной» культуры русским языковым сознанием. В связи с этим сразу же необходимо сделать замечание. Сама постановка вопроса о рецепции «западной» культуры русским сознанием основана на стереотипном противопоставлении России и «Запада», ставшем почти общим местом во множестве сопоставительных культурологических публикаций. Как и многие стереотипы, данное противопоставление обобщает — пусть грубо и неточно — наблюдения над действительным положением вещей и заслуживает изучения. Кроме того, в течение долгих

лет этот стереотип мог быть основан на очевидном контрасте между Россией, находящейся под властью коммунистов, и свободным западным миром. Однако, как и всякий стереотип, это противопоставление не может использоваться как инструмент научного анализа. Оно не учитывает глубоких различий между разными «западными» культурами (скажем, финской и итальянской культурой), во многих случаях не меньшими, нежели различия между русской культурой и каждой из этих «западных» культур. Впрочем, механизмы рецепции «западных» концептов русским языковым сознанием могут рассматриваться в отвлечении от того, какой именно из «западных» культур принадлежит тот или иной концепт.

Отметим также, что сочетание «русское языковое сознание» также предполагает некоторую абстракцию (разумеется, не предполагается тождество сознания всех носителей русского языка). Это особенно важно подчеркнуть, поскольку, когда речь идет о сопоставлении русских языковых выражений с их иноязычными аналогами, часто различия оказываются довольно тонкими и трудноуловимыми, так что может обнаружиться, что внутриязыковые различия (напр., разное понимание одного и того же выражения носителями языка) более значительны, нежели различия между языками. Так, обсуждая отличия русского слова *друг* и его английского аналога *friend* (в американском варианте английского языка), следует иметь в виду, что расхождения индивидуальных представлений разных носителей языка в отношении того, какие требования предъявляются к *другу*, могут быть достаточно существенны [Шмелев 2003].

При этом полезно иметь в виду, что «наивные» носители языка, сталкиваясь с культурными различиями, не всегда ясно отдают себе отчет в том, идет ли речь о межязыковом семантическом различии или о культурном различии при семантическом тождестве выражения и его аналога. Приведем показательный отрывок из статьи «Дружба по-американски», опубликованной в газете «Известия» 16 октября 2003 г. Автор статьи, Ада Баскина, пишет:

Когда едва ли не каждый новый знакомый после второй-третьей встречи называл меня своим другом, я поняла, что, очевидно, современное употребление слова «friend» не совсем соответствует его традиционному словарному значению. Дружба в представлении американцев нечто весьма своеобразное, отличное от норм, принятых в других обществах. Вот как постальгически описывает дружбу по-русски знаменитый танцовщик Михаил Барышников: «В России вы делитесь своими проблемами с друзьями. Это узкий круг людей, которым вы

доверяете. И от которых получаете то же отношение. Беседа с друзьями становится вашей второй натурой. Потребностью. Скажем, ваш друг может прийти к вам в дом рано утром, без звонка, и вы встаете и ставите на огонь чайник». Позвольте, но разве у американцев это не так? Нет, не так...

Видно, что автор статьи колеблется между двумя способами говорить об отмеченном ею явлении: дело то ли в семантическом различии слов *друг* и *friend*, то ли в различном отношении к феномену дружбы и друзьям в русской и американской культуре.

Предлагаемый ниже анализ (по необходимости краткий и схематичный) основан на представлении, согласно которому языковым показателем наличия в культуре того или иного значимого для нее концепта является наличие в языке, обслуживающем данную культуру, языковой единицы, кодирующей данный концепт. Соответственно, предполагается, что если концепт отсутствует в русской культуре (хотя в ней могут иметься его более или менее близкие аналоги) и тем самым воспринимается как «западный», то в русском языке мы не находим языковой единицы, которая бы ему в точности соответствовала. Поэтому при необходимости говорить по-русски возникает проблема передачи нужного смысла средствами русского языка. Для такой передачи может использоваться заимствование из иностранного языка, обслуживающего культуру, которой принадлежит данный концепт, или же русский аналог иноязычного слова (подобно тому как для обозначения некоторой роли в футбольном матче может использоваться заимствованное слово *газкингер* или русский, а исторически церковнославянский аналог *вратарь*). При этом русский аналог может создаваться посредством морфологической или семантической кальки; особым случаем семантической кальки является вторичное заимствование, которое имеет место, когда для передачи смысла, порожденного рецепцией «западного» концепта, используется ранее заимствованное слово, которое прежде использовалось для передачи какого-то иного смысла (скажем слова *интерес* и *интересный*, первоначально заимствованные в значении выгоды, стали использоваться для заимствованной с Запада новой категории, связанной с чем-то занимательным). Однако во всех случаях имеет место появление в русской речи некоторой новой единицы: даже если используется план выражения единицы, уже существовавшей в языке, план содержания оказывается новым. При этом важно, что план содержания, как правило, более или менее отличается от значения соответствующего языкового выражения в языке-источнике. Он создается как результат восприятия

«западного» концепта носителями русской культуры и несет на себе черты адаптации этого концепта к особенностям русской языковой картины мира. Пути такой адаптации и рассматриваются далее.

Следует различать два основных способа такой адаптации: «ассимиляция» заимствуемого концепта, т. е. «встраивание» его в русскую языковую картину мира (при этом концепт подвергается более или менее существенной трансформации) и «усвоение» заимствуемого концепта (при этом более или менее существенной трансформации подвергается соответствующий фрагмент языковой картины мира). В целом можно сказать, что «ассимиляция» заимствуемого концепта чаще имеет место при заимствовании, тогда как «усвоение» происходит в тех случаях, когда используется русский аналог иноязычного выражения (возможно, ранее заимствованный); однако однозначной зависимости здесь нет.

Рассмотрим разновидности каждого из названных способов адаптации.

### «Ассимиляция» заимствуемого концепта

Часто оказывается, что «ассимиляция» происходит не сразу: сначала заимствуется не только фонетический облик иноязычного выражения (разумеется, с необходимой адаптацией), но и его семантика, а затем адаптации подвергается и значение. Так, заимствованное слово *деликатный* первоначально (в XVIII и в начале XIX в.) употреблялось в русском языке в соответствии со всем спектром значений, которое имеет исходное французское слово *délicat* 'нежный, тонкий; вкусный; хрупкий; щекотливый; впечатлительный; тактичный; прихотливый'. Особенно часто оно использовалось для характеристики изысканных кушаний (ср. сохранившееся до настоящего времени слово *деликатес*). Ср.:

Я нигде не видал деликатнее стола, как в нашем трактире (Д. Фонвизин);

...он заказал самый деликатный обед в лучшем из тамошних трактиров (В. Нарезный);

...обед ее всегда вкусен, деликатен... (И. Дурова);

Вы будете в большом, большом счастье, в золотом платье и ходить и деликатные разные супы кушать... (И. Гоголь).

Однако пристальное внимание к рафинированности, изысканности, утонченности вкуса, предполагаемое заимствованным концептом, не характерно для русской культуры. Не удивительно, что уже

ко второй половине XIX в. рассматриваемое прилагательное значительно сузило значение и стало употребляться преимущественно для оценки тактичного поведения в сфере человеческих отношений. Это соответствует особому вниманию к нюансам отношений между людьми, характерному для русской языковой картины мира и отраженному в целом ряде русских лингвоспецифичных языковых единиц (ср. [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005: 11]). *Деликатным* называют человека, который более всего заботится о том, чтобы не поставить другого в неловкое положение, не причинить ему душевный дискомфорт. Ср. отрывок из воспоминаний Константина Паустовского «Далекие годы», в котором объясняется сущность понятия *деликатности*:

Попутно Селиханович учил нас и неожиданным вещам — вежливости и даже деликатности. Иногда он задавал нам загадки. «Несколько человек сидят в комнате, — говорил он, — все кресла заняты. Входит женщина. Глаза у нее заплаканы. Что должен сделать вежливый человек?» Мы отвечали, что вежливый человек должен, конечно, тотчас уступить женщине кресло. «А что должен сделать не только человек вежливый, но и деликатный?» — спрашивал Селиханович. Мы не могли догадаться. «Уступить ей место спиной к свету, — отвечал Селиханович, — чтобы заплакавшие ее глаза не были заметны».

Паряду с этим прилагательное *деликатный* используется для характеристики ситуаций, разрешение которых требует *деликатного* отношения, напр. *деликатное дело, деликатный вопрос, деликатное поручение*. Прочие значения данного прилагательного почти полностью вышли из употребления (и, скажем, в словаре [Ожегов, Шведова 1992] вовсе не упоминаются). Тем самым «западный» концепт был переосмыслен и «встроен» в русскую языковую картину мира как обозначение одной из важных культурных ценностей<sup>1</sup>.

Любопытный семантический сдвиг претерпело французское слово *courage* 'храбрость, мужество, бодрость', которое при заимствовании в русский язык (в виде слова *кураж*) существенно изменило свое зна-

---

<sup>1</sup> В настоящее время прилагательное *деликатный* заново заимствуется из западных языков (при этом, скорее всего, не из французского, а из английского языка) и употребляется, напр., в таких сочетаниях, как *деликатная ткань* или *деликатная стирка*, снова «расширяя» свое значение. Такое вторичное заимствование расшатывает сложившийся фрагмент русской языковой картины мира, в котором понятие деликатности занимает весьма важное место и как бы сводит на нет долгую работу русского языка по «оттачиванию» значения этого слова [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2008: 125—126].

чение и, втянувшись в поле лингвоспецифичных слов *удаль*, *размах*, *загул*, отсылающих к сквозному мотиву «широты», в результате оказалось в числе трудно переводимых русских слов. Слово *кураж* по-русски означает не столько 'смелость' (и уж конечно не 'мужество'), сколько раскрепощенность, отсутствие тормозов; это то, что бывает нужно актерам, выступающим перед публикой, или спортсменам. В русской культуре существует представление, согласно которому такое состояние успешно достигается путем употребления алкогольных напитков (ср. *выпить для куража* или *для куражу*):

Сотрудник, оставшись один, налил себе еще для большего куража и независимости, выпил, закусил... (Ф. Достоевский);

Да она и не была пьяна, просто чуть выпила для куражу (Ю. Трифонов);

Берем с собой коньяк, выпьешь для куража, обратно твою машину поведу я (В. Смехов).

Ср. также примеры из «Национального корпуса русского языка» (далее — НКРЯ):

Было видно, что он к тому же еще и выпил для куража (С. Осипов. Страсти по Фоме. Книга первая. Изгой (1998));

В нэповские годы здесь пели под гитару хулиганские есенинские песни, задирали прохожих, пили для куражу, дрались, лущили семечки, соревновались в ухарстве и доблести и мечтали о романтике... (Г. Жженов. Прожитое (2002)).

Это приводит к тому, что *кураж* начинает устойчиво ассоциироваться с выпивкой — ср. выражение *пьяный кураж* (в который можно *впасть* или который можно *устроить*):

Да что об этом толковать в пьяный кураж внашему человеку (В. Астафьев);

А ведь тоже был пьяный. Крепко поругались в семье. Все на него: жена, дочка и сын. И тот же хмельной кураж: «Не уважаете...» (Б. Екимов).

Ср. примеры из НКРЯ:

Однажды я в пьяном кураже наставил на нее пистолет и прохрипел: «Щас пристрелю тебя, наскуду интеллигентскую!» (О. Володарский. Дневник самоубийцы (1997));

...трое жителей Набережных Челнов приехали к знакомому сгерю поохотиться и устроили пьяный кураж (Н. Олейников. Вот и поохотились... // «Вечерняя Казань», 2003.01.11);

...повод для пьяного куража и большой драки (Ю. Бунда. У кошки девять смертей // «Новый Мир», 2005).

Более того, слово *кураж* в первой половине XIX в. обозначало не только раскрепощенное поведение под воздействием алкогольных напитков, но и сами эти напитки и вызываемое ими опьянение (однако такое употребление не закрепилось в языке):

...он любил что-либо заказывать Петровичу тогда, когда последний был уже несколько под куражем, или, как выражалась жена его, «осадился сивухой, одноглазый черт» (Н. Гоголь);

Ноздрев захлебнув куражу в двух чашках чаю, конечно не без рома, ярал немилосердно (Он же).

Интересно, что состояние куража часто воспринимается как специфически «русское», находящееся в одном ряду с *тоской* и *надрывом*, как в следующих примерах из НКРЯ:

В далеком полутемном углу кто-то с тоской и куражом рвал гармошку и пададно пел что-то все... (Митьки. Зимняя муха (1992));

Ее низкий грудной голос нельзя назвать концертным, но в нем есть все, что так близко русской душе: и кураж, и свобода, и госка о чем-то безвозвратно ушедшем (В. Силицына. Муза и генерал (2002)).

Здесь, как и в случае *деликатности*, «западный» концепт при заимствовании был переосмыслен и стал «своим».

Но часто бывает так, что переосмысление «западного» концепта отражает отчужденное и, как правило, в той или иной степени искаженное восприятие соответствующей «западной» ценности. Так, в польском языке есть слово, обозначающее одну из важнейших ценностей польской культуры (и, соответственно, польской языковой картины мира), — *honor* (не вполне точный перевод — ‘честь’). Оно предполагает жертвенность и чувство собственного достоинства, не позволяющее унижаться и отступать от собственных принципов ради выгоды или избавления от опасностей. Хорошей иллюстрацией того, что в польской культуре стоит за этим концептом, может служить эпизод из киносценария Александра Солженицына «Знают истину танки» — когда восставшие заключенных давят при помощи танков, один лишь поляк Гавронский не теряет достоинства:

= Бьют, как попало, над головами! над самыми головами!! И кричат остервенело сами же:

— На землю!.. Ложи-сь!.. Все ложись!..

= Как ветер кладет хлеба — так положило волной заключенных. В пыль! на дорогу! (может, и убило кого?)

Все лежат!  
Нет! Стоит один!  
пальба беспорядочная.

= Лежат ничком. Плашмя. И скорчась. С-213. жириновский; смотрит зло из праха наверх — как продолжает стоять.

Р-863, Гавронский. Вскинутая голова! Грудь, подставленная под расстрел! Гонор — это честь и долг!

С презрительной улыбкой он оглядывает стреляющий конвой...

Но употребление заимствованного слова *гонор* в этом эпизоде не соответствует стандарту: Солженицын намеренно использует его в значении, почти в точности соответствующем значению слова *honor* в польском языке. В русском восприятии поведение, вытекающее из такой установки, очень часто представало как высокомерие, надменность, отсутствие подлинного смирения. Соответственно, в русском языке слово *гонор* вошло в ряд таких отрицательно окрашенных слов, как *спесь*, *кичливость*, *самоуверенность*, *самонадеянность*, *самомнение* и т. д., и проявление гонора никак не одобряется:

...каждый еще норовит свой гонор показать, и каждый из себе принца строит (В. Войнович).

Очень часто *гонор* упоминается в ряду других дурных качеств, страстей или даже грехов (примеры из НКРЯ):

преходящие страсти: честолюбие, гонор, жажда власти, денег, успеха или фантастическая вера в идею (О. Куваев. Территория (1970—1975));

не терпели гонора, фальши, лукавства (Ю. Нагибин. Другая жизнь (1990—1995));

Сколько прегрешений, совершенных и несовершенных было за мою жизнь, тут и гордыня, и гонор, и кошунства, и грех уныния, глупость, и запутанность в мелочевке... (А. Вознесенский. На виртуальном ветру (1998)).

Даже Вавилонское столпотворение может связываться с *гонорами* строителей:

Я почему-то подумал о том, как дорого обходятся человечеству гонор и запесочность предков. Следовало бы высечь тех олухов, которые когда-то затеяли строить Вавилонскую башню, а в результате все мы говорим на разных языках (В. Концкий. Начало конца комедии (1978)).

При этом сохраняется понимание *гонора* как специфически польского качества, и это подпитывает стереотип *кичливого ляха*, *шляхетского гонора*:



...поляк, уже совершенно чисто говоривший по-русски, одетый джентльменом, хотя все-таки смахивавший на лакея, с огромными усами и с гонором (Ф. Достоевский);

Пан запыхтел от гонора... (Он же);

Да-с, это был полячок настоящий, с гонором и с душой! (А. Ф. Писемский. Массоны (1880));

...в нем было много этакое шляхетского гонора (А. Рыбаков).

То же самое неодобрение высокой самооценки привело к тому, что отрицательная оценка появилась у слов *амбиция* и *амбициозный*, которые стали указывать на необоснованное самомнение и тщеславие, а также погоню за выгодой (что традиционно не одобряется в русской культуре). Напр.:

...был спесив, горд и амбициозен до крайности (Ф. Достоевский).

Характерно толкование «Малого академического словаря», отражающее эту отрицательную оценку: *амбициозный* (с поместой *устар.*) значит 'чрезмерно, обостренно самолюбивый'. Напомним также неодобрительное выражение *удариться в амбицию*. Отрицательная оценка хорошо видна в следующих примерах из ПКРЯ<sup>2</sup>:

...амбициозный и бездарный интриган (Л. Троцкий. Моя жизнь (1929—1933));

...громкие амбиции пустых людей, которые и привели наше кино к упадку (Г. Бурков. Хроника сердца (1953—1990));

...оставляя меня один на один со сворой рвущихся к власти и деньгам амбициозных проходимцев (Б. Левин. Иностранное тело (1965—1994));

...человек — главная ценность в этой жизни, но его преступно превращают в винтик политической машины и преступно используют как пушечное мясо в войнах, развязываемых амбициозными государственными лидерами (С. Алексиевич. Цинковые мальчики (1984—1994));

...чем непрофессиональнее человек, тем больше у него амбиций (Т. Тарасова, В. Мелик-Карамов. Красавица и чудовище (1984—2001));

Эти люди проявляют свои амбиции, корысть и начальственное самолюбие (Э. Гусева. «Кто совершает поступки, идет до конца» // «Работница», 1989);

...из-за нескончаемой грызни людей, получивших вместе с разумом амбиции и подлость (Вяч. Рыбаков. Вечер пятницы (1990)).

<sup>2</sup> Заметим, что в настоящее время слова *амбиция* и *амбициозный* утрачивают отрицательную окраску и начинают употребляться как обозначения положительно оцениваемых качеств. Это связано со сдвигом в языковой картине мира, о котором речь пойдет в следующем разделе.

Реже приспособление заимствованного концепта к русской языковой концептуализации мира происходит в тех случаях, когда средством выражения концепта служит русский аналог иноязычного слова (в первую очередь — при семантическом калькировании). Тем не менее это тоже не исключено. Так, выражение *на всякий случай* вошло в русский язык как калька французского выражения *à tout hasard* и было, по-видимому, введено в оборот приятелем Пушкина Нащокиным [Виноградов 1994]. Однако с течением времени его значение и функции стали несколько иными по сравнению с французским прототипом. Выражение *на всякий случай* в русском языке выражает особое, характерное именно для русского восприятия мира мироощущение: 'произойти может все что угодно; всего все равно не предусмотреть; могут пригодиться любые ресурсы, которыми человеку посчастливилось располагать'. В этом отношении *на всякий случай* сближается с пресловутым «русским» *авось*: человек *на всякий случай* запасается некоторым ресурсом — *авось* пригодится [Шмелев 2001]. Любопытно, что и 'соборность', часто признаваемая одним из самых своеобразных понятий, выработанных русской культурой, выражается словом, которое было образовано для передачи важного общехристианского понятия: *соборный* — это просто перевод греческого *katholikos*. Будучи лингвоспецифичным по форме (важность «собираения» в русской концептуализации мира обсуждается, напр., в [Шмелев 2002]), слова *соборный* и *соборность* выражают концепт, который нередко воспринимается как специфически русский, и слово *соборность* в русских текстах часто даже принимает определение *русская* или *российская*:

Русский «коллективизм» и русская «соборность» почитались великим преимуществом русского народа, возносящим его над народами Европы (Н. Бердяев);

...идея личности, вроде бы западная, показана у Бахтина на творчестве русского писателя Достоевского, а идея соборности, вроде бы русская — на творчестве западного писателя Рабле (С. Аверинцев).

Ср. также примеры из НКРЯ:

«Соборность есть русская идея», — с должным основанием заявлял ее теоретик Николай Бердяев (Русская идея: национальное и общероссийское (2002) // «Жизнь национальностей», 2002.06.05);

Ассоциация по комплексному изучению русской нации (АКИРН) проводит традиционные ежегодные конференции, посвященные анализу русской и славянской идей, русской нации, соборности, русскому государству, русской цивилизации (Русская идея: национальное и общероссийское (2002) // «Жизнь национальностей», 2002.06.05);

...именно соборность определяет русский народный дух (менталитет)... (В. Андреев. Национальные модели экономики (2004) // «Наш современник», 2004.07.15);

...наша неизбывная российская соборность, генетически заложенное в нас стремление жить и выживать сообща, миром (И. А. Архипова. Музыка жизни (1996)).

Похожим примером является третий член знаменитой уваровской «триединой формулы» (*православие, самодержавие, народность*): по-видимому, само слово *народность* было конструировано графом Уваровым для передачи французского слова *nationalité*, однако очень скоро стало восприниматься как передающее специфически русскую ценность.

От семантических сдвигов, связанных с «встраиванием» иноязычного концепта в русскую языковую картину мира, следует отличать случаи, когда такой сдвиг навязывается идеологами. В связи с этим необходимо критически подходить к отражению таких слов в толковых словарях, тем более что место таких слов в языковом сознании носителей русского языка и отношение носителей языка к их действительной или мнимой семантической эволюции меняется с течением времени, а иногда различается у разных носителей.

Сказанное может быть иллюстрировано на примере слова *культуртрегер*. Многие лингвисты, анализирующие современную речь, отмечали, что целый ряд слов утратил в ней сему отрицательной оценки, напр. *коммерсант, бизнесмен, амбициозный, карьера, индивидуалист* и даже *карьерист* и *эгоист*. Общим для всех этих изменений является одно: принятие установки на достижение успеха и личное процветание, вытесняющее внимание к нюансам отношений между людьми. Понятно, почему эти языковые новации коробят людей, ориентированных на традиционные российские ценности, и могут восприниматься ими как «порча языка». Если ориентироваться только на словарные толкования, то может показаться, что со словом *культуртрегер* произошел сходный сдвиг. В словарях ему с давних пор приписывалась отрицательная оценка. Характерно толкование словаря под редакцией Д. Н. Ушакова: «Империалист-колонизатор, порабащивший отсталые народы под прикрытием насаждения культуры» [Ушаков, I]. Сходные толкования, лишь незначительно смягченные указанием на иронию, давались и в более поздних словарях: «Носитель культуры (ироническое обозначение империалистов-колонизаторов, эксплуатирующих население порабощенных стран под видом насаждения культуры)» [Евгеньева, II]; «Ироническое

название человека (обычно колонизатора), прикрывающего свои корыстные захватнические цели маской распространения культуры, просвещения» [Словарь 1981]. Постсоветские словари в общем сохранили указание на иронию и неодобрительную оценку, лишь устранив прямолинейную отсылку к «колонизаторству». Так, в «Толковом словаре иноязычных слов» Л. И. Крысина говорится: «Ироническое название человека, скрывающего свои истинные цели под маской распространения культуры, просвещения» [Крысин 1998]; в «Новом словаре иностранных слов» читаем: «Ироническое название человека, распространяющего культуру с излишним усердием либо скрывающего под распространением культуры свои корыстные интересы» [Захаренко, Комарова, Нечасва 2008].

Однако в современных текстах слово *культуртрегер* нередко употребляется без всякого неодобрения и даже без иронии. Вот характерный пример из НКРЯ:

На наших глазах происходит коллапс мира печатного слова. При цене дельной книги (вузовского учебника, справочника, словаря), равной примерно одной минимальной заработной плате, покупка книг становится экстравагантным поведением, которое может себе позволить незначительное меньшинство относительно хорошо обеспеченных людей. Те профессиональные группы, которые выполняли в обществе роль культуртрегеров (прежде всего учителя), никогда больше не вернутся к коллекционированию книг, не придут в традиционные библиотеки, не обратятся к интеллектуальным удовольствиям эпохи «толстых журналов». Сегодня информационные технологии (и в первую очередь Интернет) не дополняют, а компенсируют последствия отчуждения общества от корпуса текстов (М. Арапов. Когда текст обретает смысл // «Знание — сила». 2003. № 1).

Значит ли это, что слово *культуртрегер* попадает в тот же ряд слов, утративших отрицательную оценку, что и упомянутые выше слова *коммерсант*, *бизнесмен*, *индивидуалист*, *карьерист*, *эгоист*? Такой вывод был бы слишком поверхностным. Дело в том, что и ранее это слово часто использовалось с положительными коннотациями (иногда с легкой иронией). Так Юлий Даниэль, описывая свою жизнь в лагере, называл *культуртрегером* самого себя, а Венедикт Ерофеев в одном из интервью, отвечая на вопрос о том, кто ему нравится из современных прозаиков, говорил: «В прозе мне нравятся наши культуртрегеры типа Михаила Гаспарова, Сергея Аверинцева». Поэтому неточно было бы говорить, что в современной речи слово утратило сему отрицательной оценки: эта оценка не была ему ингерентно при-

суша и раньше. Примечательно, что в дореволюционных словарях его толкование могло вовсе не включать оценочного компонента или ограничиваться указанием на возможность иронического употребления. Напр.: «носитель культуры, распространитель просвещения, и способствующий духовному развитию, умственному и нравственному совершенствованию» [Попов 1907]; «носитель и распространитель образования, иногда употребляется в ироническом смысле» [Чудинов 1910]. Напомним, что М. И. Шапир обратил внимание на то, что и в первом издании толкового словаря под редакцией Д. Н. Ушакова, еще не подвергнувшись жесткой идеологической обработке, толкование было довольно нейтральным: «распространитель культуры, образованности» с пометой «книжн., чаще ирон.» [Шапир 2006: 488].

Можно было бы сказать, что толкования советских словарей (и следующих им постсоветских изданий) изготовлены под идеологическим давлением и не только не отражают, но и никогда не отражали языковой реальности. Однако такое утверждение было бы излишним упрощением. Указание на то, что слово *культуртрегер* часто употребляется иронически или неодобрительно вовсе не было измышлением советских идеологов: такое употребление было весьма характерно для многих авторов, в том числе и ни в коей мере не разделявших советскую идеологию. Ср., напр., использование этого слова Н. С. Трубецким, который пишет это слово через дефис со словом *эксплуататор* и прямо упоминает *колониальную политику*:

При советской власти Россия впервые заговорила с азиатами как с равными, как с товарищами по несчастью, и отбросила ту совершенно ей не идущую роль высокомерного культуртрегера-эксплуататора, роль, которая прежде ставила Россию в глазах азиатов на одну доску с теми романо-германскими хищниками-поработителями, которых Азия всегда боялась, но также всегда и ненавидела:

Романо-германские миссионеры сами на себя смотрят прежде всего как на культуртрегеров. Вся их миссионерская деятельность связана со «сферами слияния», с колонизацией, европеизацией, с концессиями, факториями, плантациями и т. п. Миссионеры являются не посланными от Бога проповедниками богооткровенных истин, а агентами колониальной политики или представителями «интересов» той или иной державы.

В следующем примере показательно то, что Н. С. Трубецкой ставит это слово в кавычки, подчеркивая иронию:

...мы преднамеренно не касались некоторых отрицательных сторон европеизации, которые часто признаются с сожалением самими

европейцами: пороки и привычки, вредные для здоровья, особые болезни, приносимые европейскими «культуртрегерами», милитаризм, лишенная эстетики беспокойная промышленная жизнь.

Ингерентная ориентированность рассматриваемого слова на ироническое употребление ясно видна при сопоставлении этого слова со словом *просветитель*. Самая престижная премия за лучшую научно-популярную книгу в современной России называется «Просветитель»; едва ли слово *культуртрегер* могло бы служить названием такой премии.

### «УСВОЕНИЕ» ЗАИМСТВУЕМОГО КОНЦЕПТА

С другой стороны, бывает (особенно массовый характер это приобрело начиная с 1990-х гг.), что «западный» концепт усваивается практически без ассимиляции. В этом случае русская языковая картина мира оказывается под влиянием семантической системы языка-источника. Особенно часто это происходит при семантическом калькировании, когда слово, уже существующее в языке (иногда ранее заимствованное и ассимилированное), приобретает производное значение под влиянием аналогичного производного значения у слова с тем же исходным значением в другом языке. Многие примеры такого рода были разобраны в нашей статье [Зализняк, Левонтина, Шмелев 2008], и здесь я ограничусь краткими иллюстрациями.

Целый ряд заимствований и семантических калек связан с распространением в современном российском обществе идеологии жизненного успеха, потребления и наслаждения. Традиционно в русской культуре *удовольствие* и жизненный успех не рассматривались как основополагающие жизненные ценности. При этом нередко высокий аксиологический статус жизненного успеха, богатства и возможности получать удовольствие приписывается «западной» культуре. В премиальной речи на церемонии вручения Литературной премии Александра Солженицына в 2007 г. акад. Зализняк охарактеризовал поговорку «Если ты умный, почему же ты бедный?» как «западную формулу» (а говоря о рекламном щите, на котором громадными буквами написано «Всё можно купить!», назвал это «прицельным залпом по традиционным для России моральным ценностям»).

В полном соответствии с этим представлением Наум Коржавин в стихах, написанных вскоре после эмиграции, отчужденно транскрибирует английские слова, соответствующие представлениям об удовольствии и успехе, поскольку он не может принять этих ценно-

стей американской культуры. В стихотворении 1978 г. «Реминисценция» он пишет: «И вот живу за краем света, / В тот мир беспечный занесен, / Где редко требует поэта / К священной жизни Аполлон. / / Где жизнь — “инджой”», — и к слову *инджой* даст сноску: «Инджой — enjoy — получать удовольствие, наслаждаться (англ.)». В поэме «Сплетения» он использует совсем экзотическую транскрипцию *саксесифузмэн*, в сноске к которому поясняет: *успешливый человек*. Знаменательно, что он использует редкое слово *успешливый*, содержащее к тому же некоторую легкую отрицательную оценку: в то время казалось невозможным сочетание *успешный человек*. То же самое слово *успешливый* (и с той же отрицательной окраской) использует и Александр Солженицын, характеризуя Юрия Нагибина как весьма *успешливого* советского прозаика.

Подозрительное отношение к жизненному успеху еще более наглядно иллюстрирует глагол *преуспевать* (и образованные от него слова *преуспевание* и *преуспевающий*). Приведем примеры употребления субстантивированного причастия *преуспевающий* (эти примеры показывают, что отрицательная окраска не утрачена данным словом до настоящего времени):

Нашей социальной средой теперь стали диссиденты и люди, вообще настроенные критически или не интегрировавшиеся в слой преуспевающих карьеристов (А. Зиновьев);

Стоило Галичу запеть, то есть стоило ему позволить себе быть самим собой, как из преуспевающего, вполне приемлемого для бюрократии драмодела он превратился в нежелательную личность (Е. Евтушенко);

...преуспевающие дельцы из «новых русских», рэкетеры и гости из южных республик, занятых братоубийственной войной дома и рыночной колонизацией Москвы (А. Городницкий);

Он был трусливый, преуспевающий, хлипкий московский барчонок, орущий на секретарей и швыряющий об пол дорожные ручки (Т. Устинова. Подруга особого назначения (2003));

Не беда, что свысока смотрят на офицеров их преуспевающие сверстники, поставившие себя на службу преступникам или олигархам (что, в сущности, одно и то же) («Серые дьяволы» // «Солдат удачу», 2004).

Необходимо подчеркнуть, что отрицательная оценка относится не к успеху как таковому (скажем, такой окраски нет, когда кому-то *желают успеха*), а к общей жизненной установке на *преуспевание*, на то, чтобы достичь успеха в жизни любой ценой.

В настоящее время положение дел изменилось: героем нашего времени становится человек, достигший жизненного успеха, или, как его теперь называют, *успешный человек* — тот самый «саксесыфулмен» из поэмы Наума Коржавина. Множество рекламных объявлений адресуется именно *успешным людям* (прежде сочетания *успешный человек, успешные люди* были для русского языка немыслимыми). Аналогичное изменение значения наблюдается у слова *эффективный*, которое ранее не могло применяться к человеку, а в современном языке используется в таких сочетаниях, как, напр., *эффективный менеджер*<sup>3</sup> (в значительной степени под влиянием английского *efficient*). Целый ряд слов под влиянием своих иноязычных аналогов утратил сему отрицательной оценки, например: *коммерсант, бизнесмен, амбициозный, карьера*. Общим для всех этих изменений является одно: принятие установки на достижение *успеха*, вытесняющее внимание к нюансам отношений между людьми. Понятно, почему эти языковые новации коробят людей, ориентированных на традиционные российские ценности, и могут восприниматься ими как «порча языка».

Ярким примером использования для обозначения концепта, пришедшего с «Запада», уже существующего в языке слова (хотя и ранее заимствованного) служит история слова *проблема*, описанная в статье [Зализняк 2006]. Схематично эта история может быть представлена следующим образом. Слово *проблема* пришло в русский язык из Западной Европы в XVIII в. как «ученое» слово, и указывало, как и в западных языках, «трудный вопрос, требующий разрешения». В дальнейшем оно постепенно вошло в повседневную речь, и в какой-то момент появилось новое значение — «практическая цель, которую трудно достичь». Существенно позже (уже во второй половине XX в.) соответствующие слова западноевропейских языков приобрели новое значение и стали употребляться в значении «обстоятельство, мешающее гладкому, нормальному, беззаботному ходу вещей»<sup>4</sup>; вскоре и

---

<sup>3</sup> Ср. резкий протест против ценностной установки, выраженной в этом словосочетании, в статье Дмитрия Быкова в журнале «Русская жизнь», номер от 30 апреля 2007 г.

<sup>4</sup> Показательно, что в последнем романе Агаты Кристи «Postern of Fate», написанном в 1973 г., такое употребление слова *problem* воспринимается пожилыми персонажами как языковая новация. В главе, которая так и называется *Problems*, мы обнаруживаем примечательный диалог:

“Oh dear”, said Tommy. “Problems again.” “It’s Beatrice”, said Tuppence. “What’s Beatrice?” “Who introduced problems. Really, it’s Elizabeth. The cleaning help we had before Beatrice. She was always coming to me and saying,



в русском языке слово *проблема* приобрело аналогичное новое значение в результате семантического калькирования. Новое значение слова *проблема* прочно вошло в русский язык, в котором в настоящее время имеется также множество клишированных выражений с этим словом<sup>5</sup>: *нет проблем*; *это твои проблемы*; *создавать себе проблемы*. Все эти выражения предполагают картину мира, в которой нормой является беспрепятственное и беззаботное движение по жизни.

Во всех рассмотренных случаях русское слово (возможно, ранее заимствованное, но адаптированное к системе ценностей русской языковой картины мира) изменило свое значение под влиянием «западного» аналога (имела место своего рода семантическая калька), и это привело к некоторому изменению соответствующего фрагмента русской языковой картины мира. Реже заимствование «западного» концепта происходит путем заимствования внешней оболочки слова, ранее отсутствовавшего в обиходном русском языке. Примером такого заимствования может служить слово *эмпатия*, о котором недавно писала Анна Гладкова в статье, посвященной сопоставлению русского слова *сопереживание* и английского *empathy* [Gladkova 2007]. Общий вывод А. Гладковой — сочетания со словом *эмпатия* в русских текстах зеркально отражают английские сочетания со словом *empathy*, и она задается вопросом: если слово *эмпатия* войдет в общее употребление, не приведет ли это к перестройке русских эмоциональных скриптов? Иными словами, заимствование слова, если стоящий за ним концепт не подвергается ассимиляции, также приводит к изменению соответствующего фрагмента языковой картины мира.

---

'Oh, madam, could I speak to you a minute? You see, I've got a problem.' and then Beatrice began coming on Thursdays and she must have caught it, I suppose. So she has problems, too. It's just a way of saying something — but you always call it a problem."

В русском переводе (В. Салье) последнее предложение передано еще показательнее: *Речь идет о тех или иных неприятностях, только теперь их модно называть проблемами*. Любопытно, что в следующей главе слово *problems* толкуется как 'затруднения' (*difficulties*) и в английском оригинале.

<sup>5</sup> Примечательно, что использование слова *проблема* в рассматриваемом значении Солженицыным по отношению к России конца XIX — начала XX вв. (в «Этюре о монархе») Лидия Чуковская, в целом положительно оценившая этот отрывок из «Красного колеса», восприняла как своего рода анахронизм: «Он не знает языка того времени; пишет "исключительно"; или "У России свои проблемы" (совсем уж "Голос Америки")...»

## ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ

Итак, рецепция «западного» концепта русской культурой может приводить к тому, что концепт будет ассимилирован, приспособлен к особенностям русской языковой картины мира, так и к тому, что концепт заимствуется в «непереваренном» виде, что влечет за собою перестройку соответствующего фрагмента языковой картины мира. Такая перестройка воспринимается блюстителями строгой языковой нормы как «порча» языка. Но для лингвиста обе разновидности рецепции иноязычного концепта представляют значительную ценность. Проследившая конфликт систем ценностей, воплощенных в разных языках, и пути разрешения этого конфликта при заимствовании, лингвист может выявить особенности каждой из взаимодействующих языковых картин мира. В частности, наблюдая способы рецепции «западных» концептов русским языковым сознанием, мы проникаем в те специфические особенности русской языковой картины мира, которые в противном случае могли бы остаться незамеченными.

## ЛИТЕРАТУРА

- Виноградов 1994 — *Виноградов В. В.* История слов. М., 1994.
- Евгеньева, I—IV — *Евгеньева А. И.* (ред.). Словарь русского языка в 4-х т. Т. I—IV. М.: Русский язык, 1981—1984.
- Зализняк 2006 — *Зализняк Анна А.* Русские культурные концепты в европейской лингвистической перспективе: слово *проблема* // Лауфер И. И., Нариньяни А. С., Селегей В. П. (ред.). Компьютерная лингвистика и интеллектуальные технологии: Труды междунар. конф. «Диалог 2006» (Бсакасово, 31 мая — 4 июня 2006 г.). М.: Изд-во РГГУ, 2006.
- Зализняк, Левонтина, Шмелев 2005 — *Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.* Ключевые идеи русской языковой картины мира. М.: Языки славянской культуры, 2005.
- Зализняк, Левонтина, Шмелев 2008 — *Зализняк Анна А., Левонтина И. Б., Шмелев А. Д.* Эволюция ключевых концептов русского языка в XX веке: аспекты изучения // Вестник РГНФ. № 50 (1). 2008.
- Захаренко, Комарова, Нечаева 2008 — *Захаренко Е. Н., Комарова Л. Н., Нечаева И. В.* Новый словарь иностранных слов. М.: Азбуковник, 2008.
- Крысин 1998 — *Крысин Л. П.* Толковый словарь иноязычных слов. М.: Русский язык, 1998.

- Ожегов, Шведова 1992 — *Ожегов С. И., Шведова Н. Ю.* Толковый словарь русского языка. М.: Азъ Ltd., 1992.
- Попов 1907 — *Попов М.* Полный словарь иностранных слов, вошедших в употребление в русском языке. 3-е изд., доп. и испр. М.: Т-во И. Д. Сытина, 1907.
- Словарь 1981 — Словарь иностранных слов. М.: Русский язык, 1981.
- Ушаков, I—IV — *Ушаков Д. Н.* (ред.). Толковый словарь русского языка. Т. I—IV. М.: ОГИЗ, 1935—1940.
- Чудинов 1910 — Словарь иностранных слов, вошедших в состав русского языка / Сост. под ред. А. Н. Чудинова. Материалы для лексической разработки заимствованных слов в русской литературной речи. 3-е изд., тшчат. испр. и значит. доп. (более 5000 новых слов) преимуществ. соц.-полит. терминами, вошедшими в жизнь в последние годы. СПб.: В. И. Губинский, б. г. (1910).
- Шапир 2006 — *Шапир М. И.* *Донос: социолингвистический аспект (Игра словами как средство языковой политики)* // Логический анализ языка. Концептуальные поля игры. М., 2006. С. 483—492.
- Шмелев 2001 — *Шмелев А. Д.* Некоторые тенденции семантического развития русских дискурсивных слов (*на всякий случай, если что, вдруг*) // Русский язык: пересекая границы. Дубна, 2001. С. 266—279.
- Шмелев 2002 — *Шмелев А. Д.* Русская языковая модель мира. Материалы к словарю. М.: Языки славянской культуры, 2002.
- Шмелев 2003 — *Шмелев А. Д.* *Дружба* в русской языковой картине мира // Сокровенные смыслы. М., 2003.
- Gladkova 2007 — *Gladkova A.* New and traditional emotion terms in Russian. Semantics and culture // Transcultural Studies: A Series in Interdisciplinary Research. Vol. 2—3 (2006—2007). Special double issue on Discourses of Aesthetics, Ethics and Power in Old and Emerging Societies.

# **ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЙ В СВЕТЕ ИСТОРИИ РУССКОЙ КУЛЬТУРЫ**

**Издатель А. Кошелев**

**Корректор Г. Эрли**

**Оператор Е. Зуева**

**Оригинал-макет подготовлен Е. Морозовой**

**Художественное оформление переплета С. Жигалкина**

**Подписано в печать 18.04.2012. Формат 60×90 <sup>1</sup>/<sub>16</sub>.  
Бумага офсетная № 1, печать офсетная. Гарнитура Times.  
Усл. печ. л. 20,5. Тираж 500. Заказ №**

**Издательство «Языки славянских культур».**

**ОГРН № 1037789030641.**

**Тел.: 95-95-260. E-mail: [lrc.phouse@gmail.com](mailto:lrc.phouse@gmail.com)**

**Site: <http://www.lrc-press.ru>, <http://www.lrc-lib.ru>**

**Оптовая и розничная реализация — магазин «Гнозис».**

**Тел. 8-499-793-57-01, e-mail: [gnosis@pochta.ru](mailto:gnosis@pochta.ru)**

**Костюшин Павел Юрьевич (с 10 до 18 ч.).**

**Адрес: г. Москва, ул. Бутлерова, д. 17 "Б" офис 313**